

АРТИКЛЪ

Израильский литературный журнал

АРТИКЛЪ



№ 9

Общественный фонд культурных связей
“Израиль - Россия”

Тель-Авив
2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Катя Капович. Нас не спросили.....	3
Татьяна Манова. Фотография.....	12
Ольга Сирота. Большой Крыс.....	21
Давид Маркиш. Одинокий Саша Люблин.....	28
Давид Шехтер. Один день депутата Кнессета.....	38
Григорий Подольский. Дневник резервиста.....	67
Исаак (Игорь) Шихман. Не возвращайся в прошлое.....	77
Яков Шехтер. Тайны супружеской жизни.....	149

ПОЭЗИЯ

Ирина Маулер. Нужны остановки.....	185
Дина Березовская. Любовь-мерзавка.....	192
Танда (Татьяна) Луговская. Мастер чайной церемонии.....	197
Михаил Сипер. Жизнь на перегоне.....	202
Павел Лукаш. Про эту гребаную жизнь.....	209
Андрей Торопов. Провинциальное качество жизни.....	217
Ингвар Донсков. Уездный город.....	220
Александр Царовцев. Еврейская шпана.....	225
Дмитрий Рябоконт. Я удалиться вас прошу.....	228
Валерий Скобло. Меняю квартиру.....	230
Ехизель Фишзон. Азнавур облаков.....	232
Наталья Новохатняя. Ключи к придуманному раю.....	238

НОН-ФИКШН

Алексей Сальников. Пьеры Ришары.....	241
Илья Корман. Время третьего брегета.....	243
Александр Крюков. «Волшебница...».....	252
Ирина Маулер и Михаил Юдсон беседуют с Александром Крюковым. Третье пришествие «Ве-шаву баним ли-гвулам...».....	260
Даниэль Клугер. "Что в имени тебе моем?".....	269
Марк Найдорф. Изобретение интонации.....	297
Яков Нелькин. Призраки.....	302
Эдуард Бормашенко. Еврейско-русский воздух.....	309
Нина Липовецкая-Прейгерзон. Ивритский писатель, советский ученый.....	318
Михаил Юдсон. Доверие к переводу.....	326
ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	
Роман Кацман. Иное существование.....	329
Андрей Зоилов. Две книги для избранного народа.....	332
СТИХИ И СТРУНЫ. О песнях Ирины Левинзон.....	336
<i>На первой странице</i> – обложка книги Якова Шехтера "Самоучитель кабалы".	
На стр. 150 – картина Александра Канчика "Тайны супружеской жизни".	

ПРОЗА

Катя Капович

НАС НЕ СПРОСИЛИ

Если не дорожить опытом жизни, то и не стоило рождаться в этот мир.

Встречаю в кафе Майкла Кремера, он говорит:

– Слушай, я все знаю – заходил к тебе в книжный магазин, мне сказали, что тебя уволили. Я как раз собирался тебе позвонить.

– Не уволили, а сократили, – отвечаю я.

– Неважно. У нас в писательском фонде открылась позиция – как раз для тебя!

– Поэта-лауреата?

– Немного пониже.

– Жаль. Что входит в обязанности?

– Приходишь к семи, расставляешь стулья, включаешь кофейную машину. В восемь начинают приходиться писатели. Им всегда что-то нужно. Там ерунда всякая – разберешься на месте.

– Сколько платят?

– Двенадцать долларов в час.

– Я подумаю.

– Пока ты будешь думать, место уплывет! Лучше напиши заявление, я прямо сейчас занесу директору.

– У меня бумаги нет.

– Я понимаю. Напиши на чем-нибудь, я перепечатаю.

– А подпись?

– Воспроизведу.

Свой человек, думаю. Он и был своим человеком: Миша Кремер из Черновцов.

Я написала на куске оберточной бумаги: «Ввиду трудной экономической ситуации, я хотела бы работать в писательском фонде N в качестве...» И замялась.

– Как все-таки называется эта низкая должность?

– Работа хорошая, зря ты капризничаешь, – говорит Майкл обиженно.

– Ну, так как же?

– Хозяйка дома.

Я закрываю глаза: о, Боже! А ведь я могла бы приносить пользу!

Когда я однажды зашла к Майклу на работу, писатели спялись по газону, поглядывали на дорогу. Пустые шезлонги на террасе образовывали замкнутый круг, в одном из них лежало недоеденное овсяное печенье. Секретарша меня остановила, попросила показать удостоверение. Когда она склонилась над столом, чтоб записать номер паспорта, я заметила, что у нее испачкан лоб. Сказала ей об этом. В ответ она сузила глаза и стянула рот в куриную гузку: «Это не грязь, а крест. Сегодня пепельная среда». Если меня примут на работу, эту секретаршу надо будет обходить стороной. От нее исходит какая-то вибрация, как от застрявшей между стеклами осы.

Майкл механически исправляет ошибку в названии фонда и тут же комкает бумагу и бросает ее в мусорное ведро:

– Как при чем? А зачем бы я стала работать?

С этим он не спорит.

– Ладно, я за тебя напишу. Дошлешь резюме.

– У меня нет.

Он уже собирался уходить, но тут снова сел.

– Что ты за человек такой? Тебе деньги нужны или нет?

– Ну, нужны.

– Тогда составь резюме, перечисли места работы, добавь публикации, или что там у тебя?

– У меня книжки, поэтические сборники. Семь штук, – говорю с раненой гордостью. Как всякому неизвестному поэту мне кажется, что все меня читали.

– Вот-вот, вставь сборники.

Я видела, как работает его мысль: пишет стихи, другой работы не найдет. Майкл похлопал меня по плечу и побежал. Майкл всегда куда-то бежит.

Через два дня встречаемся в том же кафе.

– Заявление я отдал. Где резюме?

– Сделаем.

– Слушай, а как насчет няни для моих детей? Никого на примете?

– Пока нет. Извини.

У Майкла трое детей, все девочки. Жена – не то геолог, не то географ, что-то связанное с неорганическим миром.

– Может, ты тогда попробуешь? – спрашивает он вкрадчиво.

– Мне ведь нужно только изредка. Посидишь с девочками?

– Я не могу.

– Деньги хорошие... И не забывай, что я тебя на работу устроил.

– Еще не устроил.

– Считай, что ты уже работаешь. Я там второй человек после директора. Так как?

– Мне с детьми работать нельзя.

– Что такое? Не понимаю.

– Я их теряю. Твоим сколько?

– Два, четыре и семь. А, может, попробуешь разок, у нас на вторник билеты в Симфонический зал.

– Ну, разве что разок.

– Ты мне жизнь спасла! А что за история, кстати?

– Долго рассказывать, ты ж торопишься...

– Да, точно! Ладно, потом обязательно расскажешь. Я люблю твои истории.

Он уходит, а я остаюсь сидеть в кафе и смотреть в широкое окно.

Когда меня уволили из книжного магазина, я неделю переживала, а потом спохватилась: ведь у меня теперь уйма свободного времени и пособие, на которое можно будет сносно жить еще полгода, год. Собиралась много читать, думать, может, написать что-нибудь новое, серьезное. Если же нет, то

хотя бы понять, наметить план. Год прошел, как ни бывало, по-
собие кончилось, а я так ничего и не сделала.

В полдень кафе начинает жить своей обычной каждоднев-
ной жизнью, общаются студенты, попискивают дети в ногах у
двух мамаш. Почему лишь мне не живется? Я поменяла две
страны и два языка, а что изменилось в моем мироощущении?
Мне все так же неуютно в мире. Я смотрю на детей, заставляю
себя улыбнуться – они не виноваты в моем мироощущении. А
кстати, с няней у меня вышло следующее.

Я тогда только приехала в Израиль, и моя родственница по-
рекомендовала меня своей подруге. В смысле детей у подруги
был противоположный Майклу вариант: три мальчика: четыре,
шесть и девять. Две недели работаю и, вроде, нормально, дети
меня слушаются. Пусть я не Мэри Поппинс, думаю, но я тоже
могу их чему-то научить. Но вот как-то приходим с детьми в го-
родской парк. Хороший летний вечер, только что спала жара,
под деревьями большая арабская семья расположилась для
пикника. Проходим мимо, смотрю, на скамейке возле детской
площадки пируют два знакомых поэта, пьют анисовую водку,
закусывают питой с хумусом. Здороваемся. Поэт Танасов гово-
рит:

– Главные имена кто? Айги, Мнацаканова и я.

Менделев качает головой:

– Ты – да, все остальные – фуфлю. Русская поэзия в метро-
полии умерла. Пойми, Вова, их нет. Нету-у.

– Айги есть. Не спорь, Миша.

– Ты их видишь, Вова? Только честно.

– Допустим.

– А я не вижу!

Я хотела потихоньку уйти, неудобно, со мной дети... Тана-
сов меня не хотел отпустить. «Детям тоже нальем», – говорит
он. Я, кстати, не была уверена, что он шутил.

Потом у них разгорелся спор по поводу какого-то Дорфмана.
Прозаик он или не прозаик. Танасов считал, что да, прозаик.
Менделев не соглашался:

– Это – не литература, это – кашки. Также мне, Плиний
младший.

Выпили еще. Стемнело. Короче, когда хватились, оказалось, что детей на детской площадке нет. Танасов сходу предположил, что детей украли арабы. Они ему с самого начала показались подозрительными. Менделев категорически отрицал: «На черта арабам чужие дети. У них своих кормить нечем». Мы обошли в темноте все закоулки парка, ворошили кусты, на всякий случай бегали узнавать в магазин на углу, не заходили ли дети туда. Часов в девять мы сдались. Танасов прямо из горлышка допил вторую бутылку «анисовки»:

– Скорей всего детей уже вывезли в Восточный Иерусалим! – сказал он, икая.

После этого они поехали допивать к Дорфману, а я отправилась к матери пропавших детей. Я решила не думать о том, что ей скажу. Я давно уже заметила, что когда я виновата, лучше всего срабатывает экспромт. В Израиле на полную катушку шла интифада. Пропадали не то что дети, пропадали взрослые вооруженные мужчины, а за неделю до моих злоключений пропал целый дом, который палестинские рабочие разобрали и вывезли на грузовиках в сторону поселений. Короче, я пришла к матери детей и все ей выложила начистоту. Она кивнула и стала куда-то звонить. «В полицию звонит...» – подумала я.

– Все в порядке. Они у моей подруги. Сейчас она их приведет, – сказала Эйнат, повесив трубку. – Воды со льдом не хочешь?

Бывает такое состояние, когда вода застревает в горле. Короче, я ей перезвонила на следующее утро и попросила подыскать мне замену.

Возвращаюсь домой и сажусь к компьютеру. В конце концов, говорю я себе: ты же писатель. Что тебе стоит сочинить какое-то резюме?

Майкл звонит в полдень:

– Ну что, готово?

– Почти.

– Когда закончишь, пришли факсом.

– Что за срочность? Столько ждало, может подождать пару дней!

– Директор на месте. Удачный день, у нас праздничная пятница, гулянка перед Пасхой.

– А у меня уже шабес!

– Ха-ха. Пожалуйста, присылай и побыстрей!

Я села за стол и писала до полуночи, потом перечитала. Американская часть получилась короткой, но ясной, зато в русской проступала туманно-романтическая чертовщина. За номером первым шла запись: землекоп, село Данчены, Молдавия. Я работала в археологической экспедиции три сезона. Теперь там, думаю, все поросло кукурузой. Потом была контрабандисткой, возила с границы овечьи шкуры. Я написала, что работала в торговом кооперативе. В восемьдесят четвертом устроилась машинисткой в сельхозинститут. Об этом и вспоминать не хочется. За этим следовало: референт Президента Академии наук МССР.

Меж нами говоря, это была обычная секретарская работа: я носила чай и отвечала на телефонные звонки. Мне велено было говорить, что начальник занят. Это была неправда. Мой начальник не был занят. Он спал. Когда-то он был серьезным алгебраистом. В то время, когда я устроилась на работу, ему уже было восемьдесят лет. Выпив в полдень чаю с лимоном, он садился спать за большой конференц-стол. По мере расслабления мышц тело его съезжало в кожаном президентском кресте под стол, так что, заходя отпроситься на обед, я заставляла на столе только голову. Человек он был добродушный и рассеянный. Меня он называл не иначе как Маечкой. Потом я узнала, что Маечкой звали его первую секретаршу, когда он только получил «академика». С тех пор у него работали Танечка, Леночка, Людочка и Лилечка. Последняя, уходя в декрет и собирая вещи в коробку, шепнула мне: «президент – душка, но немного того». Я полюбила старика. Казалось бы, на пост Президента Академии наук не могли избрать кого-то порядочного. Он же был исключительно порядочным и даже смелым человеком. В мою бытность он дважды отказывался уволить сотрудников, подавших в ОВИР заявления на выезд. Когда я об этом узнала, я стала смотреть на него другими глазами. Может, он не уходил на пенсию, потому что боялся, что

на его место посадят негодяя. Рыжий пушок светился на его круглой голове. На «Маечку» я не обижалась. Кем бы он меня ни считал, он не загружал меня работой и не ограничивал в общении. Ко мне, конечно же, забредали друзья. Как-то у одного ротозея в фойе из-под куртки выпала принесенная бутылка вина. Пол в фойе Академии наук был из светло-серого гранита. Достигнув последней ступеньки, бутылка не просто раскололась, а разорвалась, как противотанковый фугас. Стекла брызнули во все стороны. Может быть, дело удалось бы замять, но, к сожалению, в эту самую минуту в Академию входила делегация ученых из Вьетнама. Главный делегат лег на пол и прикрыл голову папкой для конференции. Он был ветераном войны.

С утра я позвонила Майклу. У меня возникли сомнения насчет последней записи.

– Кем-кем, не понял?

– Калибратором шестого разряда.

– А ассенизатором ты не работала, случайно?

– Калибратор это не ассенизатор, – говорю я с обидой. – Калибратор...

Он мне не дал досказать:

– Ты с ума сошла! Что ты там такое пишешь? Напиши, что преподавала литературу в школе. И все. И не надо никаких калибраторов.

– Но я не преподавала в школе. Меня даже няней в детский сад не брали.

– Не надо ничего объяснять, у меня жена на второй линии!

Я повесила трубку и снова уставилась в экран. Вот так всю жизнь. Всякое действие с моей стороны встречает противодействие со стороны вещей. То, что у всех нормальных людей занимает час времени, у меня занимает месяц. Заявление на получение гражданства я заполняла два года. В полдень я все еще сидела перед компьютером. В нем по кругу плавали цветные рыбы. Заплывали за правый край экрана и возвращались с другой стороны. Иногда экран гас, и я видела в нем свое парализованное задумчивостью лицо.

Есть в этом какой-то парадокс: чем безнадежней было в жизни, тем приятней вспоминать.

Калибратор шестого разряда. Я сижу на резиновом коврикe перед горлышком двадцатитонного подземного резервуара. В одной руке у меня шланг, в другой – ведро. Заливаю в резервуар по три ведра, опускаю вниз металлический шест с делениями. Потом вытягиваю шест и нахожу глазами ватерлинию. Когда мы закончим, воду из резервуара выкачают и зальют в него масло или бензин. Я пожаловалась начальнику нефтебазы: вода успевает просохнуть, точности нет. Он посмотрел на меня неприятно ясными от перепоя глазами и сказал опустить точность. Я опустила точность – стало легче работать. Но и одновременно труднее, потому что слегка абсурдная доселе работа утратила последний смысл. На соседнем резервуаре работал мой напарник Жора Рошка. Он был баптистом. Я спросила его, в чем отличие баптистов от православных, и он объяснил, что у баптистов нет посредника между Богом и человеком. После этого я тоже решила обходиться без посредника, которым являлось неустойчивое оцинкованное ведро, и стала просто заливать воду из шланга. На нашу беду, на нефтебазу заехал министр нефтегазовой промышленности Молдавии. Нас о его приезде не уведомили, как и его не уведомили о том, что мы у него работаем. Когда он вышел из машины, на одном резервуаре сидел обросший волосами баптист с молитвенником, на левом, под чахлой акацией, я с ардисовской книжкой Набокова в руках. Вода лилась из шланга прямо в резервуар. Нас с Жорой уволили через неделю. Через неделю, потому что командировочные выдавались авансом на месяц.

А вот где я действительно преподавала литературу, так это в Америке. Меня взяли на временную ставку, потому что в одном университете в середине семестра умер профессор-русист. Вот так мне повезло. Мои занятия по вторникам и четвергам шли последними в расписании. Студенты являлись уставшими и садились подальше, чтобы можно было спать. В общем, у меня оказалось двенадцать спящих учеников. Как у Христа в Гефсиманском саду. Особенно отсыпался один рыжий парень, он даже иногда похрапывал. Литература не была у него

основным предметом, он учился в «бизнес-скул». Ходил он в потертой куртке, джинсах и разношенных кедах без шнурков. Его рюкзак вечно оказывался у меня под ногами. Я прочла его экзаменационное эссе о Ницше и Достоевском и поразились. Это было дельное эссе, плагиат исключался. После экзамена мы с ним ждали трамвай на конечной остановке. Я поинтересовалась:

– Что ж ты на бизнесмена пошел? С такими мыслями тебе бы философией заниматься...

Он устало посмотрел на меня:

– Я с тринадцати лет жил в интернате. В Олбани есть одно такое заведение, страшное дело, теперь вот брат там.

– А как же свобода воли?

Он развел руками:

– Есть теоретически, но не всем по карману. Нас не спросили, послали и – все. А тут я поучусь четыре года, смекну, что к чему, открою свой бизнес. Надо ж брата вызволять.

– Ты уже все смекнул, займись чем-то, что тебе по душе!

Он помялся.

– Не выйдет. Отец за меня платить не будет, если я еще раз чего натворю.

Я, естественно, его спросила, что он уже натворил.

Он проверил, не стоит ли рядом кто-нибудь из настоящих профессоров:

– Когда я учился в «бординг-скул», моя девушка спросила, нельзя ли привязать ее к кровати. Мне было четырнадцать, ей шестнадцать. У нас в Олбани было жесткое правило: в любой момент на полу должно быть четыре ноги. Нас застукал дежурный по общежитию.

Пришел трамвай, и мы сели. По дороге он опять заснул. Его рыжая голова кивала, склонялась и наконец легла мне на плечо.

Про работу в России я написала просто: с 1983-1990 гг. преподавала литературу в Кишиневской школе... Подумала и добавила: двести сорок девять. У нас и школы такой не было.

Татьяна Манова

ФОТОГРАФИЯ

Утро занималось вяло. Болезненный восход проступал на обложенном небе. Под окнами зло бубнила бабка-дворничиха. В свете кухонной лампы Вера, морщась, разглядывала рваный порез наискосок через костяшки правой руки. Ладонь припухла, и желтые пятна от йода напоминали старые синяки. Придется наложить повязку побольше и сказать, что растянула запястье. Поди объясни такой порез.

Полчаса спустя, допив кофе, она осторожно вдела забинтованную ладонь в рукав желтого свитерка и нехотя вошла в комнату. Небольшая белая рамка валялась на полу, усыпанном осколками. Осторожно стряхнув стеклянное крошево, Вера взгляделась в фотографию. Сердце скакнуло к горлу: порвалась! Ногтем поддела и сняла длинную деревянную щепку, отколовшуюся от рамки: нет, цела.

Бабка ушла, и на улице раздавались теперь шарканье, кашель, редкие раздраженные «алло!» Вереницы понурых людей втягивались в воронку метро. Луч солнца прорвался сквозь облака и упал на фотографию: очень худая девушка в желтом свитере стояла вполоборота к окну, поникнув и зябко обняв себя за плечи. Бинт выглядел из-под широкого правого рукава.

Скандал начался в одиннадцать. Секретарь Афанасьева не отослала клиенту смету. И не просто клиенту, а брату зятя хозяина. А Вера-то здесь при чем, ее чертежи были готовы еще три дня назад! Но Афанасьева подняла крик: ничего не получила, разгильдяйство, снова техники подводят, и вот она, Капитонова, конкретно и виновата!

Вера ненавидела секретаршу. Ей омерзительна была пористая кожа на круглом, как непропеченный блин, лице, короткие пальцы с кровавыми ногтями, семенящая походка и тугая юбка. И потоки вранья – естественная, как дыхание, склонность обогать что угодно.

Вера нашла свой мэйл и направила начальнику с указанием даты первоначальной отсылки. Афанасьева захохотала, что к ней не дошло, но все было ясно. И не стоило, конечно, срываться и грохать об пол чашку с остатками кофе. Совершенно понятно, что не простит начальник бежевых брызг на брюках. Уйдет он Веру, это точно.

День тихо гнил в безличном мелком дожде. Вера курила под стеклянным козырьком офисной высотки. Хозяйка цветочного магазина напротив стояла, сложив руки на груди, в витрине и смотрела на улицу. Может быть, она удивляется тому, что Димки нет. И не будет больше. Но что же она такого сделала, а? Месяц высказывали покурить вместе и пообедать (он работает напротив). Съездили за грибами, пили коньяк и целовались в мокром лесу. И вдруг – бац! – звонит и говорит – таким лживым голосом! – что уезжает надолго. Чересчур искреннее «конечно!» на ее «позвони, как вернешься». Слишком поспешное «пока!» А уж она раскатала губу... Но вдруг не врет...

Вечером отчаянно проталкивалась сквозь толпу в метро, штурмом брала автобус. Ворвалась в тихую темную квартиру и бросилась в комнату, оставляя мокрые полукружья каблучков на линолеуме. Всмотрелась в фотографию: усталая Вера в больничном халате, с младенцем на руках; рядом тревожный, радостный и встрепанный Димка. Вот тогда-то и врезала кулаком в стекло, порезалась и завывала от боли и обиды.

Тринадцать лет назад тетка, умирая от рака желудка в воюющей палате, позвала племянницу проститься. Вложила в руки небольшой пакет и подтолкнула ее, двенадцатилетнюю: уходи, девочка, отсюда, прощай. В пакете лежала пустая белая рамка и записка: «Утром прими то, что пришло. Вечером простись с тем, что не придет». Был осенний полдень, деревья осыпались золотом. Новорожденные каштаны влажно блестели в пожухшей колючей шкурке, раскрывшейся, как бессильная ладонь

тетки. Наутро Вера увидела в рамке на фотографии себя: в школьном джемпере, с косами, с заколкой, выбранной минуту назад, с намевающимся прыщом на лбу.

Вот так и пошло. Тринадцать лет, каждый день всматривалась Вера: утром – в свое взрослеющее лицо; вечером – в упущенную возможность, исход, зачеркнутый этим днем. Скорее проклятие, чем подарок, если вдуматься.

Капля упала на сигарету и мгновенно расплзлась по тонкой бумаге. Надо бы бросить курить. А ну как он забудется и выйдет тоже? Неловко получится. Впрочем, все равно скоро искать другую работу. Маленькое злое удовлетворение поднялось в душе при воспоминании о расколотой чашке и испуганно утихло.

Цветочница напротив отвернулась и говорила с кем-то, указывая пальцем через плечо. Звякнул колокольчик двери. Посыльный в каске отстегнул велосипед, уложил в корзинку букет в хрустящем целлофане и с алым бантом. Зажал зубами длинный стебель желтой хризантемы, вскочил в седло, лихо пересек улицу и подкатил, взвизгнув тормозами, к Вере. Не разжимая зубов, сказал: «Курить вредно!» – получилось «хугыть хгедна!» – и потянулся вперед. Велосипед страшно качнулся, и Вера, фыркнув, выхватила цветок. Парень довольно ухмыльнулся, послал воздушный поцелуй и умчался, подняв тощий зад, лихим зигзагом через улицу вдаль.

На работе она долго искала, во что поставить хризантему. Афанасьева вошла, со стуком поставила чашку в раковину, уставилась на цветок. Вера молчала, сцепив зубы.

– Ты за чашку не беспокойся. Я боссу намекнула, что период у тебя такой... ну, ты поняла... дело женское. Повелся, козлина. Вера одеревенела. О господи!

– В общем, извини за письмо. Я его честно не заметила. Лады?

– Мм... Хорошо. Спасибо. – Вера упорно не поднимала глаз.

Афанасьева вздохнула и вышла. Желтый лепесток тихо слетел на кухонную стойку.

Люди в метро казались больными и одинокими. Дождь сожрал остатки воскресного снега. Хризантема потихоньку опала и светящиеся, живые лепестки ложились на черный блестящий тротуар, как камушки за Гретель.

Дома Вера схватила расколотую рамку и понесла выбрасывать. Карточка, не закрепленная больше стеклом, спланировала с шелестом под стол. Пришлось лезть за ней на коленях, двигая стулья. Не хотела смотреть, а нечаянно глянула. Удивленная Вера застыла, рассматривая фотографию.

Кадр был сделан через грязное стекло витрины. Слева тянулся длинный блик отражения, изображение казалось исцарапанным. Цветочный магазин выглядел мрачным и неухоженным; цветы, распиханные по ведрам, стояли в беспорядке. У окна сидел на стуле очень толстый пожилой мужчина, огромная светлая футболка обтягивала живот, лежащий на коленях. Сцепив руки в замок, устало опустив плечи и повесив голову с редкими длинными прядями волос, человек глядел в пол.

– Здравсте, я ваша тетя... А ты кто? – прошептала Вера озадаченно.

С фотографией в руке она долго сидела, уставившись в черное окно. Тикал старый мамин будильник, на улице гудела машина и кто-то орал пьяным голосом. Вздохнув, уложила карточку в зачитанный томик Найо Марш. Решила: «Заскочу в Икею за рамкой», – и поставила чайник.

В подсобке цветочного молодой рассыльный отодвинул комп с недописанной курсовой и отчаянно зевнул. Мама за стеной шуршала целлофаном и двигала ведра. Прогрохотала железная штора витрины. Балансируя на задних ножках стула, он задумался о том, как пригласить в паб девчонку из здания напротив и как не нарваться при этом на ее хахалю.

ВСТРЕЧА

Зимний ветер задувал в узких улочках, тянувшихся вдоль моря. Дождь срывался, падал на острые черепичные крыши. Мокрая герань всполошенно кидалась вслед летящим плотным тучам. Молодая женщина в длинном плаще и с яркой красной коляской упрямо перебежала от козырька к козырьку. Безлюдный боковой переулок влился в главную улицу, засветились

витрины, поползли по дороге мокрые сияющие машины. Дождь затих, всхлипнув водостоками, и женщина пошла тише, откинув капюшон и утерев лицо мокрой красной ладонью.

В дверях маленького кафе стоял мужчина и курил; капли срывались с вывески «Чайная роза» на полосатый свитер, ветер трепал светлый поредевший чуб. Крепко затягиваясь, человек следил за приближающейся коляской.

– Пэм? – неуверенно спросил он, заглядывая женщине в лицо.

Та остановилась, глянула недоуменно. Помедлив, кивнула.

– Пэм! Господи, сто лет... Слушай, давай выпьем кофе, поговорим!

Женщина уже приготовилась резко отказать, но с неба снова закапало. Раскатился гром, в коляске завозился младенец. Она заколебалась. Человек казался знакомым, но вспомнить его не удавалось. С другой стороны, последние три месяца круг общения был ограничен медсестрой и мамой. Если вообще можно назвать общением такой стиль, при котором одна сторона многословно напирает, а другая – коротко оправдывается. И Тим, похоже, скоро проснется, лучше зайти и покормить под крышей, можно еще успеть в магазин.

Заметив ее нерешительность, мужчина бросился открывать перед коляской дверь, суетливо пытался принять мокрый плащ, сдвинуть стулья. Наконец устроились за столиком у окна. В кафе пахло мокрой шерстью и выпечкой. Пэм, благоговейно склонившись над капучино, жадно вдыхала запах кофе и горячего молока. Мысленно пересчитала монеты в кошельке и решила не заказывать булочку с корицей.

Официантка убрала со стола тарелку со следами подливки. Мужчина заказал фанту; наливая, под шипение рванувших вверх пузырьков два раза тихо звякнул стеклянным горлышком о край стакана. И Пэм вспомнила.

Ей было лет семнадцать. Август, официантка Линди ушла в загул, Пэм помогает в дядином кафе на набережной и со страхом и восхищением думает о взрослой красивой жизни, которую ведет Линди – смешливая, с тонкими смуглыми запястьями. Потом Линди умерла от передоза, и к тому времени смотреть на нее можно было уже только со страхом. Но до

этого было еще четыре года, а пока дул бриз, хлопали тенты, и Пэм носилась с подносом, разнося пиво, колу, чипсы и жареную рыбу. Подвернув юбку в пояс, чтоб была покороче, пламенела щеками, воображая, что взгляды всех мужчин прикованы к ее коленкам. Люди приходили и уходили, дети оставляли на столах лужицы мороженого, взрослые – кучки летучего пепла и окурки в помаде.

Под вечер за столиком у балюстрады сели трое парней. Двое пихались, орали, тянули пиво и залиvisto ржали, но Сэнди – вот как его зовут, Сэнди! – заказал фанту и, наливая, вот так же постучал – дзынь-дзынь! – о край стакана. Пэм услышала звон колоколов и, под шипение оранжевых пузырьков, влюбилась.

Как же поредели его волосы... А были густыми, волнистыми. Золотыми.

Вечером убежали на танцы, туда, где в раковине летнего театра на площади у мэрии играл оркестр. Топтались, тесно обнявшись, пили пиво и целовались, и такого счастья и гордости еще не было в жизни Пэм.

– Так как дела, Сэнди?

– Да нормально, в общем. Своя мастерская. Развелся год назад. Дети?... Нет, не вышло, ну и к лучшему. А у тебя вот, гляжу, ребенок – кто, мальчик? А муж чем занимается?

– Муж объелся груш. Нет мужа... и не хочу, насмотрелась на мужиков... – Сэнди отвел глаза, и Пэм с наслаждением протянула паузу. – Да ладно тебе, бабы не лучше. Но часики-то тикают, вот и решилась. Тяжело, конечно, с деньгами, но мама помогает. Тоже рада: папа умер, сестра уехала, зато внук есть.

Поговорили о том, что все дорожает, что раньше в городе было веселее, а теперь-то все разъехались. Беседа шла принужденно, спотыкаясь о невысказанное.

Удивительно, что Пэм не изменилась, думал Сэнди. Повзрослела, конечно, но лицо такое же круглое. Тени под глазами. Пухленькая, маленькая и пушистая, как спелый августовский персик. Да, был август, хлопал полосатый тент над террасой кафе. Дже и Джо выделялись вовсю, но Пэм глядела только на него. Карими восторженными глазами. Он чувствовал себя взрослым, крутым и... как это?.. *зажигатель-*

ным. Дурацкое слово. Как золотой мальчик из американского мюзикла, вот как. Станцует, споет, прыгнет в роскошный «мустанг» – и только ветер в волосах. И Пэм на переднем сиденье. Или Дол? Повел он себя тогда по-честному – ничего такого, хотя мог бы... мог бы. Сэнди сглотнул. А вот потом получилось плохо...

Не стану спрашивать, почему он так со мной тогда, думала Пэм.

Сэнди был старше на пять лет и работал механиком на восточной окраине, на шумной грязной улице. Всю следующую неделю Пэм не отходила от телефона, даже убегая в туалет, оставляла двери открытыми, чтобы услышать звонок. К концу этой страшной недели она уверилась, что номер был записан неправильно, и отправилась на восточную окраину, обходить автомастерские.

Было пасмурно и тепло, она покрасила губы. Улица, вся в колдобинах, наполнилась звоном, скрежетом, стуком и бродячими собаками. Мужчины отрывались от работы, глядели, ухмылялись или хмурились, кто-то спрашивал, что ей нужно, кто-то свистел или сплевывал.

В гараже «Рено» нашла его. Подплыла, не чувствуя ног, и, не удержав счастливейшей улыбки, сказала:

– Привет!

Дальше было ужасно. Он выпихнул ее со двора и там, за воротами, заорал:

– Какого хрена приперлась?! Кто тебя звал? Вали отсюда!

Дзынь-дзынь. Лопнуло счастье. С тихим треском пошел трескаться хрустальный замок. Прохожие поглядывали на ревущую девчонку с размазанной помадой, и ей казалось, что всем виден ее позор. Двенадцать лет прошло, а все еще больно. И вот с этим Сэнди она пьет кофе?..

«Что сказать, если спросит? – думал Сэнди. – Не рассказывать же о Дол». Дол была дочкой старого Тинтера, владельца гаража, и Сэнди воображал, что она на него запала. Дурак-дураком. Королева школы и «Мисс Ноги» восточного района, конский хвост на затылке качался – влево-вправо, влево-вправо, – когда она шла по улице под жадными взглядами мужчин и подростков. А Тинтер, между прочим, владел еще двумя заправ-

ками. Такие дела... Сэнди работал там уже полгода, и Дол нравилось, заскочив к отцу, погладить парня по голове или чмокнуть в щеку. Однажды сказала: «Золотой Сэнди, своди-ка меня в кино!» В кино? Да он бы руку отдал за то, чтоб только пройти с ней мимо парней на баскетбольной площадке! «Зайду в понедельник, скажу, на какой сеанс», – и пошла, и бедра ее ходили влево и вправо, а хвост качался следом.

Настал понедельник, и Сэнди уже репетировал речь к старику Тинтеру: «Прошу руки вашей дочери!» – нет, лучше... лучше... И тут явилась Пэм. Как же он перепугался. Выгнал, конечно. Тем же вечером Дол сидела в темном зале, положив голову ему на плечо и позволив себя обнять. А вскоре уехала учиться на юриста и пять лет не показывалась на восточной окраине. Но самое странное, что вспоминал Сэнди только о Пэм. Только что уж теперь...

Тим проснулся, захныкал, потом заревел. Бабушка ворчит: «Труба иерихонская». Даже соседи жалуются. Поспешно выхватив его из коляски, Пэм привычно повозилась под длинной просторной кофтой и пристроила младенца к груди, теплым круглым животиком к ее зябкому животу. Сладко закружилась голова, страшно захотелось пить, и Пэм с огорчением поняла, что забыла воду дома. Кофе весь был выпит, даже молочную пенку со стенок она подобрала ложечкой, а фанта так и осталась нетронутой.

Сэнди пододвинул стакан.

За окном ветер разогнал тучи, выглянуло солнце. Засияла булыжная мостовая, улица вдруг наполнилась людьми. Сэнди задумчиво прокатывал коляску взад-вперед, внимательно приглядываясь к ее ходу.

– Пэм... На переднем левом колесе втулка выпадает... Так ты колесо потеряешь, хорошо, если коляску не перевернешь.

Пэм, осторожно перекладывая заснувшего малыша в коляску, испуганно уставилась на него:

– А что, ремонт дорого станет?

– Да, понимаешь, канал-то расточился, нужно втулку пошире теперь. Я б мог... болт подобрать, пожалуй. Из мастерской только взять, то да се... Если хочешь, конечно.

«Надо бы торопиться, – думала Пэм, – Тиму нужно поменять памперс, и магазин закроется... А вот взять и сказать: вали отсюда, тебя не звали! Но на новую коляску денег нет...»

– Буду рада помощи, – ответила чопорно. Взяла салфетку, написала адрес, телефон. Помедлив, отдала.

Теперь снова ждать.

Осторожно выкатила коляску на улицу и пошла, со страхом наблюдая за левым передним колесом.

РОЗА ЛЯСТ “ИМПЕРАТОРЫ И ЕВРЕИ”

Главный сюжет книги – евреи в политике римских императоров. Суть ее – защита императорами еврейских религиозных традиций, что не мешало грабить евреев налогами и нещадно давить еврейских повстанцев. Книга состоит из научно-популярных очерков, основанных на документах и новейшей научной литературе. Каждый очерк – увлекательный рассказ из древней еврейской истории.

Издательство “Москва-Иерусалим”, 2013, 210 страниц.

Цена 40 шек.

Обращаться к автору.

Тел. 054-7231203

E-mail: isidore@post.tau.ac.il

Ольга Сирота

БОЛЬШОЙ КРЫС

Моя мама, всю жизнь проработавшая с животными, обожает всех зверей без разбора. Крыса ли это, кот ли, собака – все они имеют право на кусочек маминой души. Я в этом смысле другая, по маминым словам – «не совсем ее дочь». Но и в моей жизни были моменты близкого знакомства, и даже общения, с представителями пушистого мира. Обычно, такое случалось на нашей даче в Аркадии, где я проводила самое счастливое время детства – летние каникулы...

Эта история совсем не о домашнем питомце, но мне кажется уместным рассказать ее здесь. Есть в мире животных представители, которых трудно любить, но, совершенно точно, есть за что уважать. Для меня к таким животным относятся крысы. Причем не какие-то лабораторные, а самые настоящие, серые. Точнее, один их представитель – Большой Крыс.

Он жил у нас на даче, в почти достроенной моим папой душевой, питался забытым когда-то куском хозяйственного мыла и, в общем, ничем нам не мешал. За исключением самого факта своего присутствия – мы его страшно боялись. Раньше нам как-то не приходилось тесно общаться с представителями крысиного семейства. Но душем и туалетом пользоваться все же хотелось, а Крыс позиции сдавать явно не собирался. Надо было как-то приспособливаться, делить территорию.

Для начала нам пришла в голову гениальная идея лишить его питания. Мы убрали хозяйственное мыло, и Крыс немедленно проявил норов. Он стал рвать туалетную бумагу, разбрасывать мелкие принадлежности, короче, гадил, как мог, намекая на возврат любимого лакомства. Почему-то душистое

мыло Крыс отказывался есть наотрез. Наверное, это должно было заставить нас задуматься, но мы тогда намек не оценили, полностью отдавшись борьбе с оккупантом. Выдержав какое-то время характер, мы все же вынуждены были мыло вернуть, сдавшись под натиском крысиных аргументов.

Крыс пакостить прекратил, вернувшись к поеданию любимого деликатеса, причём ел не много, не наглел, справедливо полагая, что добавки не будет. А мы стали думать, как выживать в условиях рейдерского захвата нашей душевой. В итоге у нас выработалась простая в обращении система. Когда нам нужен был душ или туалет, мы громко стучали в дверь и, открыв ее, убеждались, что Крыс быстро улепетывает по трубе за кусок настеленного над душем потолка – для нас временный доступ к удобствам был открыт. Когда милостиво предоставленная в пользование площадь освобождалась, было слышно, как он возвращается на отвоеванные позиции.

Так мы жили довольно долго, а однажды я подзадержалась, принимая душ, и вдруг услышала тяжелую поступь прямо у себя над головой. Представьте себе степень моей убежденности в интеллекте нашего «хозяина», если я не только не попыталась выскочить наружу, а продолжила спокойно мыться. И была абсолютно уверена, что мне просто пытаются намекнуть, что я загостилась. Через секунду одна лапка схватилась за край потолочной плиты, затем вторая, а потом сверху свесилась уса-тая морда. На ней без труда читался упрек: «Что ж ты так долго-то? Я же жду уже вон сколько времени, а ты ещё здесь!» Я спокойно сказала: «Пошел вон, скотина». Крыс медленно повернулся, взмахнув длинным хвостом, и громко топая, с достоинством удалился. «Да, отъелся на мыле», – подумала я. Случись со мной нечто подобное раньше, я бы с визгом вовсю неслась уже прочь от злосчастного места. Но к тому моменту Крыс был настолько мною уважаем – не любим, заметьте! – что я совершенно спокойно осталась домываться, понимая, что он, в силу природной интеллигентности и хорошего воспитания, больше меня не побеспокоит. Постесняется.

Так мы и дожили в теплой компании это последнее лето нашей одесской жизни, а осенью, оставив дачу крысам, уехали за лучшей жизнью на Запад. Но с тех пор во мне поселилось

уважение к этим серым существам как к наиболее интеллигентным представителям мира животных. Хотя я по-прежнему их не люблю.

РЫЖИК

Сейчас невероятно трудно представить себе жизнь до мобильных телефонов. Да и было ли это жизнью? Как люди умудрялись встречаться, влюбляться, планировать что-то? Однако случай, о котором я хочу рассказать, никогда бы не произошел, если бы не тяжелая необходимость налаживать контакты с миром, находясь вне цивилизации, то есть на даче.

Наша дача, хоть и была расположена в фешенебельном районе Одессы, тем не менее телефонной связи не имела. Поэтому каждый раз нам приходилось снаряжать экспедицию по поиску работающего телефонного автомата. Это было делом нелёгким, учитывая то, что их устанавливали в абсолютно непредсказуемых местах и практически сразу зачем-то ломали.

В один летний день, найдя – о, чудо – работающий телефон всего в одном квартале от дачи, я покорно встала в очередь за дамой, которой повезло чуть раньше меня. Дама выглядела роскошно в шлепанцах, украшенных громадного размера цветами – верх шика того времени. Осознание, каким сокровищем обладает, добавляло надменности её, и без того неприятному, лицу. Наглядевшись вдоволь на даму и ее шлёпанцы, я стала оглядываться по сторонам, размышляя, чем бы еще себя занять. Как вдруг заметила у ближайшего забора на земле маленький комочек. Котёнок (это был рыжий малыш с едва открывшимися глазками) тоже заметил цветы на шикарных шлепанцах дамы. И, не умея отличать настоящее от подделки, принял их за что-то стоящее. Подобравшись поближе, котик сделал попытку взобраться на один из цветов. Дама, завизжав, как если бы на нее запрыгивал невесть откуда взявшийся нильский крокодил, брыкнула ухоженным копытом, и несчастный малыш, которому придали ускорение, описав в воздухе дугу, шлепнулся рядом с проезжающей машиной. Вид летящего под колеса комочка окончательно вывел меня из

ступора. Забыв про не сделанный звонок, я схватила ни в чем не повинного малыша и, от души объяснив даме, кем она является на самом деле, поволокла обретенный трофей на дачу.

В запале я начисто забыла об имеющемся в нашем дружном дачном коллективе табу на бродячих животных. Дело в том, что за несколько лет до этого случая такой же подобранный сердобольными соседями кот заразил стригущим лишаем население двух дачных кооперативов, охватив буквально всех от мала до велика. Однако, при виде найденыша, никто и не вспомнил о потенциальной опасности, так он был рыж, пушист и хорош! Папа, отличающийся живым воображением, немедленно предложил назвать кота Краснянским, в честь соседа по даче, обладавшего не менее огненной шевелюрой. Результатом необдуманного предложения стала ссора с вышеупомянутым соседом, продлившаяся 5 лет. А котенок, не ведая о порожденных им конфликтах, прожил с нами 3 недели, наслаждаясь любовью и щедрыми подачками всех обитателей окрестных дач.

И вдруг он пропал! Все ужасно расстроились, искали его, звали, но кот исчез так же неожиданно, как и появился. Картины в наших головах рисовались одна страшней другой – то его задавило машиной, то растерзали соседские собаки... В общем, воображение не дремало. Мы уж было совсем отчаялись, как вдруг к нам пришла соседка с дачи напротив с вопросом, не ищем ли мы рыжего котенка, которого приручили гостившие у нее родственники из Москвы. Оказывается, предприимчивый дворняжка распределял свое внимание между двумя дачными кооперативами, справедливо полагая, что ногу, то есть, конечно, лапу нужно всегда оставлять в двери. А когда гости из столицы собрались домой и выехали на своей машине за ворота, наш рыжик сделал самый главный в своей жизни шаг: он выбежал вслед машине, продемонстрировав собачью преданность в кошачьем обличье. Сердце у москвичей дрогнуло, и они, остановив машину, позволили коту занять в ней свое, теперь уже законное, место.

Так спасенный мной житель помойки стал столичным грандом, еще раз на своем примере продемонстрировав, что зна-

чит оказаться в нужное время в нужном месте. Ну или то, что истинные друзья иногда в прямом смысле валяются на дороге, главное – вовремя их разглядеть.

ДЖИНА

Недавно случайно наткнулась в интернете на фото одесского трамвая в Аркадии. Немедленно перед глазами встала картинка из моего детства. Конец лета, одесский 5-й трамвай стоит на конечной остановке, поджидая пассажиров. Вроде тепло и солнечно, но запах грустный, осенний. Я еду в школу, и так мне жаль, что еще одно лето пронеслось мимо, а я даже не успела понять, когда...

Наша дача стояла на горе, над спуском в Аркадию, и была тем самым местом, про которое можно сказать одним словом – счастье. Ведь дача – это каникулы, утренние походы на пляж, пораньше, пока солнце еще не «палит», а только гладит кожу, чуть касаясь теплыми лучиками. А потом – тень старых абрикосовых деревьев, гамак в саду, фрукты – не мытые, конечно, с земли. Так вкуснее. Тяжкий груз поручения собрать помидоры к столу давит на плечи: ну что за наказание – лазить по грядкам каждый день между колючими кустами! Зато сами помидоры пахнут так здорово, свежо, как ни одни другие в мире! И кусты тоже пахнут, и руки! Вечерами катание на великах или игра в «кинга». Настольный теннис, книга, обязательное наказание в виде двух часов игры на фортепиано. Но зато после этого – невероятная легкость выпущенного до срока на волю заключённого! Да много еще чего!

В выходные дни у наших друзей, по соседству, жарят шашлык. Запах упоительный. Мне шашлык было нельзя, я всегда почему-то сидела на диете. Но это был такой пустяк, ведь я точно знала, что обо мне не забудут! Позовут, втихаря дадут шампур с сочным мясом, запретный и оттого еще более вкусный, и вдоволь кетчупа, и я наемся до отвала – так, чтобы потом спокойно наблюдать, как едят остальные, сохраняя на лице выражение «да не больно-то и хотелось!»

Вот наша «общественная» собака Джина, пришла просить косточку. Как только начинали жарить мясо, она возникала, как черт, из-под земли, такая же внезапная и черная. И покорно ждала, пока ей не обломится. Обламывалось всегда, да так, что делались даже запасы на зиму – Джину очень любили. Она была своя в доску, позволяла гладить и трепать себя, до сих пор руки помнят ощущение жесткой шерсти на её загривке. Но об её уме мы до поры даже не догадывались. Проявился он неожиданно.

Каждый год в конце лета возникал соблазн остаться на даче подольше, захватив теплые дни сентября. И каждый раз этот план срывался из-за какой-либо ерунды. И вот однажды, когда я уже была в последнем, выпускном классе, семья все же осталась. Но в школу мне пришлось ездить на трамвае. Том самом, что на старом одесском фото. Это было не страшно, как нам тогда казалось. Всего лишь встать чуть пораньше, пробежать через парк санатория, скатиться вниз по ступенькам лестницы, и ты – у цели, в смысле, у трамвайной остановки.

Однако все мы забыли об одном. Осенью бродячие собаки начинали сбиваться в стаи. А стаи эти на пустынных дорожках санатория были, ох, как опасны. Могли наброситься, загрызть, сколько потом было случаев в той же Одессе. Но в суматохе сборов в школу про собак никто и не вспомнил. Ну или почти никто. Утром первого сентября я вылетела за калитку дачи и наткнулась на сидящую у забора Джину. Она явно кого-то ждала. Увидев меня, пристроилась рядом и бодрым шагом потрусилась со мной через парк. Я ничего не понимала. Откуда она взялась, почему идёт со мной? И тут, обернувшись назад, я увидела собачью свору, которая тихо бежала за нами в некотором отдалении. Честно сказать, мне стало сильно не по себе. Парк утром пуст, я одна, за мной стая голодных собак. И тут одна из них попыталась сократить расстояние между нами. Джина тут же обернулась и, задрав губу, злобно зарычала. Собака вернулась в стаю. Так мы преодолели расстояние до трамвая; я, уже сильно перепуганная, взобралась внутрь и через окно увидела Джину. Она сидела перед открытой дверью в трамвай, с явным намерением охранять её от любых собачьих посягательств. И не сдвинулась с места, пока трамвай, закрыв двери, не уехал.

Забегая вперед, скажу, что этот сценарий повторялся один в один каждое утро в течение двух недель, пока мы не переехали на городскую квартиру. С той разницей, что собак я больше не боялась. Чего ж бояться, если Джина всегда была рядом, охраняя меня?

Сколько лет пролетело с тех пор, давно нет на свете умной и доброй Джины, а мы, оставив дачу, перебрались на другой континент. Но каждый раз, желая ощутить счастье, я вызываю в памяти картину теплого сентябрьского утра, трамвая, ожидающего своих пассажиров. И вижу одинокую фигуру собаки, охраняющую вход в трамвай с маленькой девочкой, едущей в большую жизнь. Только, вместе со счастьем, чувствуется легкая горечь грусти – наверное потому, что это осень...

АННА ФАЙН

«ХРОНИКИ ТРЕТЬЕЙ АВТОПАДЫ»

Шокирующая, бьющая по нервам проза израильской писательницы Анны Файн не оставит читателя равнодушным.

Файн из тех авторов, кто верит, что сегодня нельзя шептать читателю на ухо. Нужно кричать, срывая голос, на грани истерики, не боясь показаться сумасшедшей.

“Хроники третьей автопады” - автобус, упавший в пропасть, семья, сгоревшая вместе с компьютером.

Отчаяние и надежда маленькой страны, где так много солнца и боли.

Давид Маркиш

ОДИНОКИЙ САША ЛЮБЛИН

Этот Саша Люблин, одинокий человек, приехав, поселился в пещере, над озером. Ему полагалось социальное жильё на краю израильской географии – на севере, в Маалоте, в двух шагах от Ливана, либо хостел в Мицпе-Рамоне, посреди пустыни, под алмазным небом, – но он предпочёл для житья прокалённую солнцем Тивериаду, которую в наших краях называют Тверией. Его пещерка, стало быть, выходила своим зевом на Галилейское море, где, говорят, двадцать веков назад промыслял ловлей рыб апостол Пётр. Господь с ним, с этим историческим рыбарём – не его драматическая история привела сюда, на Тивериадское озеро, Сашу Люблина из полустолычного Петербурга. В Тверии годом раньше поселился его земляк и поверхностный приятель Юз Штейман, по профессии лимнолог. Преданность озёрам была в нём заложена, он им поклонялся, как язычник дереву или же камню; это он, Юз, сформулировал довольно-таки расплывчатое понятие «озёрные культуры». Саша с Юзом, испытывавшие дуновение взаимной приязни, пересекались в Питере лишь изредка, время от времени – но ведь то большой русский Питер, а это наша маленькая еврейская Тверия, новожитель которой Юз Штейман именовал себя не иначе, как «тверяк». Ну, тверяк так тверяк... Так или иначе, но поле для встреч и общения земляков было здесь, на озере, куда тесней, и это оказалось взаимоприятно.

Жить в пещере, по-соседству с пауками и летучими мышами, в 21 веке – в глазах окружающих это выглядело, по меньшей мере, странно. Но именно странные люди украшают мир и делают его неповторимым. Лимнолог Юз, с его смутной склонностью к язычеству, тоже был не массового отлива персонаж.

Что уж тут говорить о пещерном Саше Люблине – последнем поднебесном мастере, художественно владеющим тайной создания воскового фаюмского портрета! Нет такого другого, не осталось никого.

Неудивительно, что в жилой пещере своего фаюмского приятеля озёрный Юз появился лишь однажды, и этого оказалось для него совершенно достаточно: хочет Миша Люблин жить как питекантроп – пусть живёт, это его священное личное дело. Нравится ему здесь – и точка, и никого это не касается.

Пещерка состояла из двух отсеков и светлой каменной площадки перед входом. Сам вход был довольно узкий, но войти в него можно было, не пригибаясь и не набив шишек на лбу. Кто здесь квартировал в прежние времена – Бог весть: дикие звери или дикие люди.

В переднем отсеке помещалась кухонька: бачок для воды, сундучок для припасов, примус, алюминиевая кастрюля в паре с почерневшей сковородкой – вот, пожалуй, и всё.

– Чаю выпьем? – спросил Миша Люблин, усаживая гостя на ветхий плетёный стул. – Травяного. Я сам траву собираю на горе.

– А воду откуда берёшь? – поинтересовался Юз.

– Во второй комнате ключик бьёт, – объяснил Миша. – Оттуда. Вода горная, чистый хрусталь.

– А куда ж девается? – спросил дотошный Юз. – Вода-то? Из ключа?

– Там бьёт, – сказал Миша, – там и уходит. В щёлку. Пойдём, покажу.

Вода, действительно, лилась потихоньку и журчала в тупике второго отсека, сплеталась в ручеёк и уходила в узкую щель, рассекавшую неровный пол помещения, жидко освещённого керосиновой лампой. К кривой стене прислонялась застланная раскладушка. Здесь же горбился трёхногий мольберт с укреплённым на нём подрамником; холст был закрыт мятой серой завеской – наверно, от пыли. На дощатой полке размещалась снасть, надобная для секретного изготовления фаюмского портрета: краски в баночках, мездровый клей, куриные желтки, пчелиный воск. Мало ли что там ещё размещалось...

– Это я Канта начал писать, – сказал Саша, указывая на задрнутый холст. – Материал, честно говоря, не тот: кедровая доска нужна или дуб, а у меня проклеенное полотно. Ну, и сальное золото на фон – да где на него деньги взять?

– А почему именно Канта? – спросил Юз.

– Разглядеть его хочу близко, – сказал Саша Люблин, – в глаза заглянуть, в душу. Вот ведь он сказал: «Человек согнут от природы, его, сколько ни теши, а он прямым не станет». Что-то в таком роде.

– Точно, – согласился Юз Штейман. – Дом можно перестроить, а человека нельзя.

– Вот я и говорю, – сказал Саша. – И, слава Богу, что нельзя. Душа, всё же, не съёмщица какая-то, чтоб её жильё – тебя, предположим, или меня – всякий раз перестраивать по указу начальства, как шалаш.

– Да, едва ли, – усмехнулся Юз. – «Строительство нового советского человека» – это мы уже проходили. Перестройка. Всех под одну гребёнку... Как они там пели-то: «И вместо сердца – пламенный мотор». Помнишь?

– Ещё не забыл, – сказал Саша. – А хотелось бы.

– А многие и не хотят, – сказал Юз. – Представляешь?

– Да чего уж там... – неохотно откликнулся Саша Люблин.

– Ну да, – кивнул Юз Штейман. – Они в Совке головой в сеть валили всем косяком, как сорная рыба.

–А ты на берегу сидел и глядел, потому что ты лимнолог, – объяснил Саша. – Меня тоже хотели захомутать, а как же! И из Питера грозили выслать в какие-то тартарары. Я целебные травы по болотам собирал и людям помогал – у кого воспаление или мигрени не отпускают. А менты это считали за тунелство – ну что тут поделаешь!

– Счастье, всё же, что мы тут оказались, – подвёл итог Юз. – Работа по профессии, квартиру дали. На озере полная свобода, сам видишь. Я сижу себе на берегу, говорю с рыбами. И никто меня шизиком не зовёт, кроме Лизаветы.

По тону Юза Штеймана можно было безошибочно угадать, что мнение Лизаветы, жены, не составляло для него никакой ценности. Говорит и говорит! Рыбам на это наплевать, а Юзу тем более. Действительно, вид Юза, обращавшегося с берега

к рыбам, не вызывал у закалённых солнцем жителей Тверии ни удивления, ни, тем более, порицания. От такой жары всякое может случиться.

– Да, здесь хорошо, – сказал Саша. – И тепло. Хочу – Канта рисую, хочу – царя Давида. Пока портреты не идут, я травяные настойки продаю понемногу; на хлеб хватает. Что ещё человеку надо?

Саша Люблин, и вправду, не задавался вопросом, что ещё надо человеку, если у него уже всё есть, кроме, разве что, сусального золота для портрета Эммануила Канта. А когда-то, ещё недавно, была у Саши жена Варя и дочка Люся, но семья развалилась как-то сама собой, и мать с ребёнком смело, как крошки со стола, порывом сильного ветра прошлого времени. Их смело, они исчезли из поля зрения. Это ещё в Питере случилось, до отъезда, и Саша сохранил случившееся лишь в общих чертах: для него мёртвое прошлое от живого настоящего было отделено кладбищенским забором, за который он не заглядывал без острой нужды. А если уж заглядывал и нащупывал там глазами зыбкую Варю, то улавливал её голос, довольно-таки противный: «Бирюк! Бирюк!» Так она Сашу почему-то упрямо называла, хотя ему это прозвище приходилось не по душе, да и не было у него никакого сходства с угрюмым бирюком. Можно, конечно, предположить, задним числом, что женщина так неудачно шутила, возможно, и с сексуальным подтекстом, но Саша Люблин, сидя в пещере или разгуливая по улицам Тверии, отнюдь себя не угнетал раздумьями по этому поводу. Бирюк! Это ж надо такое придумать!

Чай, заваренный Сашей Люблиным на горной траве, Юзу не понравился.

– Мятный, что ли? – предположил он после первого же глотка. – И цвет какой-то странный...

– Сам ты странный! – не обиделся Саша. – Мята тут ни при чём. Эта травка очищает дыхательные пути, особенно у курильщиков.

– Так я не курю! – сообщил Юз общеизвестное.

– Ну и что! – сказал Саша. – Дыхательные пути не только у курильщиков есть.

– А что он горчит? – не отступал Юз Штейман. – Чай?

– Так должно быть, – заверил Саша. – Этот рецепт, знаешь, откуда?

– Ну, откуда? – спросил Юз, морщась.

– Из Крокодилополя, – сказал Саша.

– А это где? – уточнил Юз.

– В Египте, – указал Саша. – Это Фаюм, только название другое.

Попив крокодилопольского целебного чая, они решили спуститься в город. Туда вела от пещеры рассыпчатая каменная тропка, восьмерившая меж древних скал и не приспособленная для туристских прогулок.

– Козья просто тропа, – пробормотал Юз, стараясь не подвернуть лодыжку.

– Не козья, а козлиная, – беззаботно поправил Саша Люблин. – Тут ко мне на той неделе три козла заявили, ночью, с автоматами. «Выходи! – говорят. – Руки за голову!»

– А ты? – приостановился Юз Штейман дышать переводить.

– А что я? – сказал Саша. – Выхожу. Документы у меня при себе, всё в порядке. «А, ты русский, – успокоился козел и автомат опустил. – Оле хадаш... Мы тут террористов ищем по пещерам».

– Я художник, – говорю. – Тут живу.

– «Ну, живи, живи, – начальник их говорит, и документы мне возвращает в руки. – Если чужих тут кого увидишь, сообщай сразу, куда следует»... И ушли.

– Ну, вот видишь! – сказал Юз. – А ты говоришь – козлы.

– У козлов тоже бывает душа, – несколько загадочно заметил Саша, – только мы её иногда не хотим разглядеть.

Душа, её пространство и суть – это понятие тревожило и не отпускало Сашу Люблина ещё крепче, чем восковой фаюмский портрет, сохраняющий живой взгляд человека на тысячи лет после его смерти. Ещё бы: в каждом из нас замешана щепотка неодушевлённой разумной сущности – душа, проблеск Высшего Существа. Вот Саша и тревожился.

Вскоре тропа разогнулась и вывела путников на промасленную прибрежную дорогу.

– Знаешь, – сказал Саша Люблин, – я когда-то, ещё в детстве, читал книжку такую – «Рыбы поют в Укаяли». У рыб душа – есть?

– Есть, – сказал Юз, не сбавляя шага.

– Поэтому ты их не ешь? – спросил Саша. – Мне твоя Лизавета говорила: «Он, – говорит, – рыбу не ест, ни жареную, ни какую». Правда?

– Но не истина, – неохотно сказал Юз. – Периферия истины... У озера есть душа. Вот послушай! – Он остановился. – Дышит!

Саша прислушался. Может, и дышит, смотря как вслушиваться.

Раздвигая жару, они шли по городу, помнящему поступь римских легионеров и топот закованных в железа крестоносцев. Толстостенные приземистые дома, сложенные невзвезд когда из жёлтого камня или чёрных квадратных блоков, глазели своими мелкими, глубоко сидящими оконцами на выгоревшие от солнца улицы. Палило так, что, казалось, само время, зависнув над городом, испеклось и обездвижено. И это сводило ход жизни к мгновению, остановившемуся и трепещущему на острие иглы. Прохладный и вечно полусумеречный, выполненный в полутонах Питер был непредставим отсюда, с берега розово-серого озера, в тёплой глубине которого плавала рыба Святого Петра. Эта рыба, распяленная и зажаренная на мангале, чревоугодно манила сюда христианских туристов, не убоившихся дикой жары и угрозы арабо-еврейской войны. Отведать Святого Петра на месте происшествия – это входило в список обязательных и куда как не дешёвых мероприятий, предоставляемых местными жуликами любознательным путешественникам. В Париже подняться на Эйфелеву башню, в Тивериаде съесть святую рыбку – одно, с поправками, не уступало другому. Что ж, слаб человек, и в этом его прелесть.

По пляжному берегу, пустынному в этот раскалённый полуденный час буднего дня – лишь негибаемые героини-одиночки, похожие на опалённые пламенем палые листья, безжизненно валялись на песке – Саша и Юз подошли к лимнологической станции. Квартира научного сотрудника была предусмотрительно пристроена к тыльной стене станции, так

что Юз мог в любое время, хоть днём, хоть ночью, выйти на берег, на дощатые мостки, чтобы измерить и проверить всё, надлежащее проверке и измерению в озёрной действительности. К этому надо прибавить, что к мосткам был привязан верёвкою хлюпающий на мелких волнах кургузый станционный чёлн, на который и библейские обитатели этих мест взглянули бы не без опаски.

– Зайдём? – позвал Юз. – Дети в школе, Лизавета нам водички холодненькой нальёт.

Из пятерых детей, мал-мала меньше, трое ходили в школу, одного водили в детский сад на продлёнку, а младшая, младенец, сидела дома.

– Нет, спасибо, – сказал Саша. – У тебя ведь кондиционер?

– Ну да, – сказал Юз. – Жарко же.

– У меня от этих кондиционеров сразу простуда начинается, – объяснил Саша Люблин. – Давай лучше на лодке покатаемся.

– Я лодкой вообще не пользуюсь, – сказал Юз и губы поджал. – Она тут без дела стоит и стоит... Ты уж извини.

– А почему не пользуешься? – спросил Саша с большим интересом. – Покататься иногда это же удовольствие!

– Ездить по рыбам – удовольствие? – жёстко спросил Юз Штейман. – Они пугаются, нервничают. Озеро – их дом, их мир, понимаешь? А человек вторгается в этот чужой мир, видит рыбу и хочет её поймать и убить. Волк хочет зарезать овцу, человек – поймать рыбу. Это инстинкт, знаешь ли.

– Ну да, – сказал Саша. Он был согласен с Юзом: инстинкт, и больше ничего.

– Две тысячи лет назад так было, – продолжал Юз Штейман, – три тысячи... Человек ракеты пускает чёрт знает куда, а звериные инстинкты в себе подавить не может. Значит, весь этот мусор времени пошёл на ветер, козе под хвост!

– Ну, вот, – не стал спорить Саша Люблин. – Выходит точно по Канту: «Человека сколько ни теши, а он прямей не становится». Я и говорю...

И они разошлись, вполне довольные друг другом: один в пещерку на горе, другой замерять сладкое дыханье озера.

Ночи накатано приходили на смену дням, и никто не обращал на это внимания: ни люди, ни рыбы. Всё в Тверии, похоже, шло своим чередом; может, так оно и было.

Меж тем, жара отступила, и раскалённое добела время сдвинулось с мёртвой точки. С гор к озеру спустилась добрая зима, без пурги и метелей. Зимние месяцы безоблачно расположились между чужим водным и нашим, земляным миром; дождей выпало мало, как кот наплакал, уровень озера полз вниз, и это был тревожный знак: войны в этих местах иногда разгорались из-за нехватки воды.

Но войны не случилось, ранняя весна ворвалась сюда без стука, и уже в конце февраля весь обвод озера вскипел цветением миндаля. С первой жарой наплывал апрель – еврейский месяц нисан, а с ним праздничная неделя освобождения из египетского рабства: Песах.

В один из этих дней Саша Люблин, вольно бродя по городу, заглянул к Юзу, в его приозёрную квартиру. Дверь открыла Лиза-Лизавета.

– Юз дома? – спросил Саша.

– На берегу сидит, – ответила женщина. – Но ты заходи, он скоро придёт.

Юз сидел на большом камне, на берегу. Озеро было разостлано перед ним, как полотняная скатерть, расшитая розовыми цветами. Полузакрыв глаза, обращённый лицом к спокойной воде, он проборматывал нараспев слова, сплетённые в нить и сложенные в стих.

– Не оттолкни мой призыв, – бормотал Юз, – призрачный мир Заозёрья.

С миром к тебе я пришёл, преданно жду у дверей.

Здравствуй, утраченный рай под сказочным сводом зеркальным;

В давнее время и я жил среди сущих твоих.

Со стороны Юз Штейман на своём камне был похож на молящегося либо медитирующего туриста – местные тверяки предпочитали молиться в синагогах, а о медитации знали только понаслышке.

– Здравствуй, сестрица моя, быстроплывущая рыба!

Схожа твоя чешуя с опереньем тропических птиц,

Дрожь плавников уподоблю трепету крыл стрекозиных...

Натрое мир разделён, на три самобытных пространства:

Наша земная юдоль, Заозёрье и область небес.
Выйдя из царства озёр, наземь ступив безоглядно,
Я никогда не вернусь в лоно счастливое вод.
В этом несчастье моё! Вольную радость паренья
Не подменить никогда бархатным лоном семьи
В ракушке комнат жилых, выходящих на берег озёрный.

Саша Люблин вошёл в дом, Лиза заперла за ним дверь.

– Я вот хотела тебя спросить, – сказала Лиза, усадив Сашу за стол в кухне. – Ты страховки уже сделал?

– Какие страховки? – удивился Саша.

– Ну, какие... – сказала Лиза. – Здоровье, несчастный случай. Вещи, какие у тебя там есть, на горе.

– У меня ничего нет, – беззаботно сообщил Саша. – А от смерти всё равно не застрахуешься – это глупость полная.

– Это ещё как сказать, – не согласилась Лизавета. – У нас семья большая, думать надо... Мой шизик только о своей рыбе думает, всё на мне, до капельки.

Саше неприятно было слышать, что его друга за глаза называют шизиком, но он промолчал.

– Ты чего ёрзаешь? – укорила Лиза. – Сейчас он придёт, никуда не денется. Озеро-то под боком!

Тут из второй комнаты, из-за закрытой двери долетел визг и плач, и Лиза-Лизавета, посуровев, крикнула во весь голос:

– Тих-ха!

И, поднявшись от стола, дверь распахнула – поглядеть, что там творится и порядок навести. В комнате, расположившись на полу, четверо детей старательно выводили фигуры на листках бумаги, а младенец надрывался на все лады в своей коляске.

– Чего это они все у тебя не в школе? – учтиво осведомился Саша Люблин.

– Я их из дома в эти дни не выпускаю, – доложила Лиза. – Еврейская Пасха, мацу-то пекут и пекут.

– Ну и что? – недопонял Саша.

– А то, – сказала Лиза. – Они у меня крещёные. Юз возражал, но я настояла: меня саму при рождении мама с папой крестили, как полагается. Ну, а я – их.

– Так ты... – промямлил Саша.

– Дошло! – усмехнулась Лиза. – Зарежут, рука не дрогнет. Эта Тверия – самое место!

– Значит, ты их дома держишь, – тупо глядя, сказал Саша, – чтоб не зарезали.

– Бережёного бог бережёт, – подтвердила Лиза. – Знаешь поговорку?

– А в Питере? – спросил Саша через силу.

– Там другое, – раздражённо ответила Лиза. – Питер большой, а евреев мало. А Тверия маленькая, а евреев здесь много, на каждом шагу. Вот и считай... Но много ещё не значит хорошо, как твой друг любит повторять.

– Это он о ком так говорит? – потерянно спросил Саша. – О нас?

– Нет, о рыбе, – сказала Лиза Штейман.

– Я пойду, – сказал Саша и вышел на глинянных ногах.

На воле приятно припекало, разгоняло кровь по жилам. По улице шли весенние люди по своим делам и вовсе без дела. «Много ещё не значит хорошо, – оглядываясь по сторонам, повторял про себя Саша Люблин. – Много ещё не значит... не значит...»

Два года спустя многое изменилось, и нынешнее казалось новым по сравнению с прежним. Саша перебрался из Тверии в Бней-Брак, надел кипу и работает ночным сторожем в синагоге. Поменял место жительства и Юз Штейман, он теперь замеряет уровень и берёт пробы воды в озере Титизее, в германском Шварцвальде. У него с Лизаветой родился ещё один ребёнок, мальчик. Окна их казённой квартиры выходят на озеро, опущённое красивым чёрным лесом.

Новое, старое – что мы знаем об этом... Смена декораций неоспоримая вещь, а всё остальное, может быть, не более, чем оптический обман.

Давид Шехтер

ОДИН ДЕНЬ ДЕПУТАТА КНЕССЕТА

– Авраам авину, Авраам-отец наш, родился в 1948 году от сотворения мира. И через 3760 лет после этого было воссоздано государство Израиль.

Ури – секретарь Кнессета, фразу закончил, усы распушил, и руки в стороны широко развел, словно приглашая в свидетели всех, находившихся в синагоге Кнессета. Депутаты, парламентские помощники, сотрудники Кнессета и просто случайные посетители, собравшиеся на полуденную молитву минха и задержавшиеся, чтобы поприсутствовать на коротком уроке, которым она, по традиции, завершалась, слушали внимательно. Хотя и проявляли явные признаки беспокойства.

Жизнь парламента – скачки с препятствиями, которых никто заранее предугадать не может. Выбился хоть немного из их ритма, оглянулся по сторонам или, того хуже – назад, и наверняка в препятствие врезался, а то и в яму провалился. Значит – отстал от других, сзади оказался. А хуже нет того в костюмно-галстучной, внешне благопристойной парламентской скачке.

Десять минут на молитву, десять на урок – все. И стукнуло копыто, взвилось лассо, огрели камчой коня. Больше позволить себе парламентарии в середине дня не могут. Ури понимал это лучше кого бы то ни было.

Но и традиции нарушать нельзя. Традиция – основа любого парламента. В израильском, всего-то чуть больше полувека существующем, их немного совсем. Урок после дневной молитвы, как это принято у евреев во всем мире, лидер партии религиозных сионистов ввел. Конечно, парламент – это парламент. Но все-таки – еврейский. И расположен Кнессет не в каких-нибудь Лондоне, Нью-Йорке или в Москве, а на одном из холмов

Иерусалима – веселого города, светлого города, святого не только для евреев, для большей части человечества.

Ушлый старик, лидер религиозных сионистов, рассчитывал, небось, что урок придаст Кнессету окраску еврейскую. Потянутся на свет Торы лихие депутаты с парламентскими помощниками, пробьет святое учение обходные каналы к сердцам, забитых холестерином безразличия. Но нетерпение слушающих урок в синагоге неизменно повторялось изо дня в день. И также неизменно секретарь, помяная основоположника традиции, твердо доводил урок до конца.

– Возможен и другой расчет, – продолжил Ури. – Новое исчисление, принятое сегодня, начинается в 3760 году от сотворения мира. Согласно ему, государство Израиль было воссоздано в 1948 году.

Можно рассматривать это как случайность, а можно увидеть здесь глубокий исторический смысл, мистическую взаимосвязь между появлением на свет прародителя еврейского народа и выполнением обещания. Данного Аврааму самим Всевышним при заключении Завета между Ним и странником, пришедшим из Харана в Эрец-Исраэль по Его зову.

Ури книгу закрыл, положил на стол. Участники молитвы, не спеша, но и секунды не медля, устремились к дверям. Наступила тишина. Лишь две лампы на невысоком потолке, рачительным Ури не выключенные, жужжали, перемигиваясь. Да шум из-за двери, выходящей в коридор, где, возле комиссий Кнессета, толпился народ, доносился прерывисто.

Синагога принадлежала теперь депутату Кнессета Цви Хумрони. Седоватый, налысо почти стриженный ежик его крупной головы успокоенно поблескивал в скудном флуорисценте. Развалившись на стуле, депутат распустил мышцы живота. На брючный ремень напозла тугая складка. Цви с силой взялся за нее двумя руками.

– Паскуда! Скоро и вовсе за ремень перевалишься!

На людях сорокалетний депутат живот втягивал, оплывший затылок поднимал повыше, сутулые лопатки расправлял поелику возможно. И только оказавшись вне поля зрения чуждых глаз, позволял себе расслабиться.

Цви вытянул ноги, спихнул туфли. В синагоге еще не скоро кто-нибудь появится.

Синагога наполнялась людьми два раза в день. Лишь изредка забегал одинокий посетитель, пропустивший совместную молитву. Но если и зайдет кто сейчас, то депутата не сразу заметит – изгиб кованой решетки, отделявшей женскую полувину, закрывал его от входной двери.

Расшитые золотом буквы багрово-бархатной завесы, скрывающей Арон койдеш со свитками Торы, поблескивали успокоительно. Арон койдеш был сделан четыреста лет назад в Италии и подарен Кнессету последним из членов некогда процветавшей тосканской общины.

В Италии он стоял у стены, направленной в сторону Иерусалима. Поколениям евреев, столетиями обращавших в его сторону взгляды и молитвы, он казался то преддверием Эрец Исраэль, а то и воротами, ведущими прямо в чертоги Всевышнего.

Что впитали в себя его колонны резные, диковинных цветов переплетения, завитушки пилястров? Слезы, вздохи радости, напрасные надежды? Слова благодарности, упреки суровому Богу, не внявшему просьбам? А, может, ничего и не впитали? Деревянными украшениями, вырезанными когда-то не очень умелым краснодеревщиком – были, да так и остались навсегда?

Но сам куб синагоги – с резным шкафом, молитвенниками и томами Талмуда на стеллаже у противоположной стены, рыжим ковровым покрытием, приглушавшим шаги – действовал на Цви успокаивающе.

Он обнаружил этот оазис отдохновения случайно. И с тех пор укрывался частенько в благодатном кубе синагоги от суеты и сумятицы Кнессета. Цви не выносил бесконечных толп, наполнявших парламент – черных и вязаных ермолок, шляп круглых и круто заломленных, лысин и проборов, бород растрепанных и подстриженных; не выносил запаха, бьющего из ртов то дезодорантом, то гнильцой.

Все посетители охотились на него, хотели залучить его голос, его подпись, его присутствие на их бесконечных, не нужных ему конференциях, слетах, свадьбах, бар-мицвах, похоро-

нах и юбилейных датах. Улещая его, они издавали горловые звуки, шмыгали носами, улыбались, подмигивали, крутили свои усы и бороды, они отбирали у него время в Кнессете и жадно, беззастенчиво пытались отнять еще больше, наложить свои лапы и на его выходные. Лишь за дверями полутемного синагогального куба замирала жажда земных благ, пронизывавшая все семь этажей огромного здания израильского парламента.

Втянув живот, где уже голодное бурление обозначилось, депутат Цви в коридор вышел и в святая святых Кнессета, где все решалось, направился прямехонько. В буфете первым делом ткнулся на балкон: свежий воздух способствует аппетиту. Но уперся в запертую дверь.

– Что? Почему? – бросил буфетчику.

– Простите, ШАБАК, – тот указал на премьера, сидевшего в глубине зала.

Столик премьера густо окружали охранники, двое прогуливались по балкону.

– Мать, мать..., кто ж тут-то его тронет?

Но с шабакниками не поспоришь. Им что депутат, что олимпик задрипанный – после убийства Рабина как с цепи сорвались.

С уставленного снедью круглого стола, ароматы источающего, сдержавшись (о паскуде надремленной помня), набрал две тарелки. Да и те – не с верхом, не с верхом! Отнес в дальний конец зала, подальше от премьера и своры его жополизов. Перед первой ложкой бульона в окно глянул: город лежал внизу, краснея черепичными крышами, слепя золотистыми на солнце стенами; улочками извиваясь. Выходил неспешно к куполу близкого здесь, аквамаринowego неба светлый город, веселый город, славный город Иерусалим!

Захотелось до стекла дотронуться, ощутить через чуть подрагивающую мертвую гладь живое дыхание города. Костяшки пальцев ткнулись в холодную поверхность, автоматически отстучали какую-то мелодию. И – улёт, провал турбулентный сквозь годы, имя которым – бесконечность.

Вот так же стоял он – тогда еще второкурсник Гриша Янкевич – задолго до приезда в Израиль, задолго даже мысли про Израиль, в коридоре университетского корпуса «Ш». Стоял,

сперва по ледяному стеклу выбивая этот же мотивчик, а потом разгоряченный, взмокший лоб к нему приставив.

Отражая лысым черепом яркие лампы, с потолка свисающие на загаженных мухами черных шнурах, доцент смачно вывел роспись в Гришиной тетради, сказал назидательно: – Уж на что ядреные задачки, а все без ошибок прощелкал. Побольше бы таких курсовых в группе!

Сокурсники за партами зашевелились, загудели:

– Опять Янкель выпендрился...

– Снова мы идиоты...

– Жжу-жжжу– жжид...

Синеватая наледь сибирской зимы облепила стекло, но не прорвалась в крепко протапливаемый корпус университета, где в дореволюционные времена размещалась гимназия. Потому и – корпус «Ш», школа. Деревянные полы его потрескивали мелодично, даже если никто и не ступал по ним, в воздухе висел чуть слышный смоляной запах – сибирские умельцы сложили гимназию из особой древесины. Но больше всего привлекала Гришу атмосфера уверенности, незыблемости, разливавшегося в душе умиротворения.

Отдавало ли дерево корпуса «Ш» тепло чистого солнца, дыхание не загаженных заводскими трубами ветра и снега? Или излучало вечные истины, почти столетие звучавшие здесь? Слова никуда не исчезают, они остаются там, где были произнесены, впитываясь в стены, потолок, вечно поддерживая духовную ауру. С годами Гриша понял – остаются даже мысли. Слово, мысль, эмоция – столь же материальны, как бревна и кирпичи.

Иглы беспокойства вонзились, едва он вошел в аудиторию. С какой стати? Гриша махнул по лицу рукой – не ушло. Еще сильнее накатила тошная волна ужаса, бессилия, беспомощности. Сокурсники, тоже на консультацию заявившиеся, выглядели прибито, поблескивали осиными глазками.

– Гриша, помоги!

– Гриша, какой ответ в пятом номере?

– Дай скатать, не жмись...

– Да берите, но у вас же все иное, зачем оно вам?

Ему – выпускнику специализированной уфимской школы, органическая химия давалась играючи. Да и не пил он, как однокурсники, столько дешевой бурды винной, водки, пива – всего, на что сорокарублевой стипендии хватало. Курсовая? Какая курсовая! Но голову ощутимо сжимало, грудь жгло, от милых стен деревянных веяло тоской и унынием.

И тогда он понял. Впервые понял – он чувствует души сокурсников, мечущихся перед не сданной курсовой и надвигающейся сессией. Как чувствовал до этого ауру бывшей гимназии.

В синагоге Кнессета он не молился. Просто приходил, сидел – расслаблялся. Здесь ощутимо пахло вечностью. Цельная волна, от багровой Арон койдеш шедшая, подхватывала депутата Цви Хумрони, барахтающегося в парламентских водоворотах, выносила на поверхность.

В Бога депутат не верил. Какой Бог? Но, по привычке, еще бабушкой в детстве привитой, постился каждый Йом Кипур. Семью бабушки выслали в Сибирь из закарпатского Берегово в мае 1941 года. Они потеряли дом, винный завод, статус в обществе – кто не пил вин Янкелевичей! Уезжали, проклиная советскую власть. Но когда дошли известия о судьбе евреев, в Закарпатье оставшихся, начали благословлять день высылки.

Пятница, вечер, солнце сидит на подоконнике. Бабушка закрывает двери, задергивает на окне плотную занавеску, выставляет на подоконник желтые, с зелеными подтеками, выменянные на рынке у польских беженцев подсвечники. Водит руками, словно приманивая кого, над вьющимися лепестками свечей, бормоча на «лошен койдеш» – то напевно вполголоса, то шелестящим шепотом.

Затем – трапеза. И – Гришины еврейские университеты.

– Ингале, однозначных событий не бывает. Мир – цветной, не черно-белый. И не раскладываются эти цвета по спектру, а перемешаны. Все в твоей власти и ничего от тебя не зависит. «Ха койль цафуй вз рещус несуна», говорят мудрецы. Все предопределено и выбор дан. Запомни, ингале – и выбор дан.

Университет Черновицкий и Сорбонна не сделали бабушку мешумеде. Еврейские праздники в доме отмечали всегда, хотя к законам кашрута относились с либерализмом чисто парижским.

Так и Гриша себя вел. Сразу после репатриации – как истый израильтянин! – изменил галутские имя и фамилию. Какой Янкевич? Хумрони! Но не отказался, как сабры, от семейных традиций. Поститься в Йом Кипур продолжал, а перед решающими событиями в жизни, особенно политической, ходил даже к Стене Плача, совал в расселины записочку с просьбой.

Там было что-то, в щербатом остатке стены, когда-то окружавшей всю Храмовую гору. Да и не в ней, собственно, а в горе, почти до основания срытой римлянами. Бог? Не смешите! Но, подойдя к Стене, положив руки на обглоданные веками и человеческими прикосновениями камни, он чуть ли не зримо ощущал волну, исходившую и от темно-красного Арон койдеша в синагоге Кнессета.

Телефонный звонок остановил в воздухе вилку с последним куском шницеля.

– Ну, что, что? Поесть спокойно нельзя? Война?!

Ольга, парламентская помощница, напомнила – «Светлана уже здесь, вы назначили ей через пять минут».

– О! Молоток, у меня совсем из головы вон!

Светлана была одной из популярных журналисток русскоязычного Израиля: рубрика в крупной газете, авторская передача на «Голосе Израиля», бесконечные интервью. Ивритские телеканалы дергали ее в студию по любой теме, касавшейся «русских»: бойкий иврит, блондинка, славянские черты лица и длинные, щедро выставляемые на обозрение ноги.

– Лицо алии, мать ее! Что хочет? Чего этой блонде надо?

Светлана попросила о встрече вчера. «Это не имеет отношения к прессе», – подчеркнула. Цви был несколько заинтригован.

Блонда, усевшись напротив стола Цви, немедленно закинула одну длинную, точеную ножку на другую. Да еще и поддернула вверх кургузую юбчонку. От теледивы шибало неуверенностью и, одновременно, жадной успеха.

– Цви, вы разрешите мне вас так называть?

– Да уж чего там...

– В Израиль на днях приезжает руководитель парламентской оппозиции одной закавказской республики. По протоколу ему встречи с нашими лидерами не полагаются. А в республике

скоро выборы. Содержание и продолжительность встреч значения не имеют. У него с собой телебригада, все будет заснято на высшем уровне.

– Гм, гм....хо-хо...А я, собственно, при чем?

– Организуйте встречу с лидером вашей партии. В долгу не останусь!

Две стройные ножки почесались друг о друга, чуть разошлись, мелькнули коленки – блонда быстро переложила ногу на ногу, продемонстрировав их почти до бедер.

– Черт, какого же цвета на ней трусы? Не успел, не успел...

– Надеюсь, мы договоримся?

Один звонок к советнику лидера решал проблему. В большой партии, депутатом от которой он состоял, Цви считался представителем «русских» и главным специалистом по «русским» делам. Организовать посиделку на десять минут можно было прямо в Кнессете, между заседаниями.

...Сколько ж с нее слупить? Торговаться не станет, уж больно нужна ей эта встреча. А сколько она срубилась с кавказца? Вот бы узнать? Да некогда, некогда. Но к вопросам почета эти ребята чувствительны. И не скупятся, да?

– Три тысячи шекелей и один раз, – сказал Цви, прямо на блонду глядя. Ее ресницы метнулись, губы чуть дрогнули.

... Да, занимательно, прямо здесь, в кабинете, поставить блонду перед собой на колени! Сладко, сладко...

Любил Цви Хумрони плотские утехи. Но превыше всего ценил в них ощущение победы. Захватить, проникнуть, ворваться в потаенное, подчинить своей воле, вырвать из груди самые интимные звуки!

...Эта краля, на которую половина мужиков Израиля перед телевизором дрожит, опустится перед ним на колени. И сделает все, что прикажет.

Цви еще раз, пристально посмотрел на Светлану. В разрезе ее пробора пробивались темные волосы.

...Э, да ты блонда-то крашенная! А глазенки опустила... Значит все, значит – приплыли. Может прямо сейчас аванс вытребовать?

Светлана одернула юбку, встала. Голову подняла, и прямо в белки ему – зырк. Будто уколола: вместо глаз покорных, вместо слез согласия – зенки вылупленные, обжигающие...

– Вы мурло и хам. Что вы о себе думаете, жлобина! Еще сочтемся!

– Ой-ей-ей! Звери задрожали, в обморок упали!

Это была ошибка. В головке теледивы, за крашеными белокурыми волосами таились вулканы взрывоопаснейших чувств – она была дама. А в даме нельзя, ох нельзя, Григорий Исаакович, будить хаоса и гнева: в этом хаосе скрыты у дамы все виды жестокостей, падений, все виды бешеных неистовств, как все виды на земле еще небывалых геройств. Но и сам Цви Хумрони был непросто, в душе его пребывали, борясь между собой ежесекундно, две самостоятельные величины: божественная избранность племени иудейского – и новорусская мразь со слякотью.

Ольга едва дождалась ухода теледивы.

– Цви, через пять минут в зале заседаний начинаются одноминутные речи. Вы давно уже не появлялись, сегодня обязаны прокукарекать.

– Молоток, правильно. Толкуй, о чем.

Открыл маленький холодильник под столом, вытащил бутылку «Джонни Уокера».

...Какая мерзость! Бр-р-р... Не могли чего лучше американцы хреновы придумать?

Виски напоминали ему самогон, которым угощала свежеспеченного студента Янкелевича доярка Варя.

После поступления, его с другими первокурсниками, первого сентября загнали в колхоз. Тамошние девахи навевались часто и гостинцы приносили: самогон, на закуску – кумыс. Другого спиртного на уборочной в колхозе не водилось, председатель железной рукой проводил установленный им сухой закон.

Варя пила самогонку не меньше Гриши, но пойло поганое не брало ее – один раз только и позволила помусолить ей шейку. А когда попытался расстегнуть ватник, пихнула сильно в грудь – и была такова. Ни Вари, ни ее варева он не увидел больше...

За партию Хумрони голосовал в основном средний класс. Поэтому водка в ней считалась дурным тоном – партийные боссы, депутаты употребляли виски и сигары. Сперва Цви прощались плебейские «Marlboro» и водка – чего от «русского» ожидать! Наоборот, воспринималось с одобрением. На Цви ле-

жала миссия нести идеи партии в широкие репатриантские массы, а депутат должен соответствовать электорату.

Но чем дальше терся Цви на партийных тусовках, тем больше подмечал косые взгляды. Электорат далеко, а партия – вот она, и соответствовать надо ей. И он оставил водку для встреч с избирателями.

Виски по вкусу был чистой самогонкой. От него подташнивало и мутило в голове. А мысль о цене вызывала холодок под ложечкой. Вкус виски напоминал ему о вычеркнутом из жизни месяце в колхозе: облепленных грязью коров, комнатку, вонючую от кизяка, которым топили печку, клопов, планировавших с потолка на кровать, и обидный отказ дуры доярки.

...Но куда денешься – ноблесс оближ, мать вашу всех за обе ноги!!!

Выручали частые поездки за границу – в «Дьюти фри» виски стоил намного дешевле. Депутатское удостоверение избавляло от таможенных проверок, и Цви набивал сумку бутылками коричневой отравы.

В холодильнике, приобретенном сразу же после избрания на средства, отпускаемые депутатам для связи с избирателем, всегда лежали две бутылки. Виски он потчевал однопартийцев, а для себя держал "Смирновку" с душевной закуской: селедка, маринованные грибочки, соленые огурчики с красными, ядреными помидорами.

Сегодня, как назло, водка еще с утра закончилась. Но душа требовала алкоголя – и после облома с блондой, и для куража перед выступлением. Пришлось нацедить полстакана "Джонни Уокера".

– Может, про опасные маневры правительства на переговорах с палестинцами? – сказала Оля.

– На хер! Все правые, задрав штаны, прибегут и станут голосить по этому поводу.

– Тогда, об автокатастрофах? Предыдущий министр трубил о больших успехах, а вот, опять, по десять трупов на шоссе каждую неделю.

– Это получше. Но и тут желающих будет пруд пруди. Да и зачем – я с бывшим в прекрасных отношениях.

– Тогда о России.

– Теплей, теплей. А конкретно?

– Да ничего существенного. Но ведь всегда повозмущаться можно – огромная страна, колоссальный потенциал и такой крохотный товарооборот....

– Всему этому цена – дерьмо!

Опрокинул махом виски в рот – мама миа, какая, все-таки, гадость...

– Что с тобой сегодня, подруга? Не могла тему найти? Сколько повторять можно – я ответственный за русских. Русских, русских, мать твою!

– Но ведь и русские гибнут в авариях.

– Все гибнут! А мне нужно специфически русское! Чтобы ни одна падла не вякнула, что я не интересы электората защищаю, а в Кнессете "за всю Одессу" языком треплю. Каждый писк мой публичный должен быть посвящен "русской" теме. Ты, что, не понимаешь – меня только для того тут и держат!

Зал заседаний Кнессета был, как всегда, почти пуст. От немногих присутствующих депутатов тянуло скукой. Небольшие фонтанчики интереса пробивались с четвертого этажа из-за пуленепробиваемого стекла – от экскурсантов, пришедших поглазеть на ежедневное представление израильской демократии. Со второго этажа, где размещалась пресса, веяло презрением.

И только из двух телекамер, ведущих прямой репортаж на специальный телеканал Кнессета, бил фонтан интереса. Камеры шарили по залу, освещая и освящая депутатов. Цви явно чувствовал внимание сотен тысяч глаз, устремленных в зал через два черных раструба.

В заявке, поданной с утра в секретариат Кнессета, Оля указала – речь депутата будет посвящена проблеме автокатастроф. Но Цви до последней минуты не знал, о чем говорить. И только когда председатель огласил его имя, уже медленно идя к микрофону, Цви решил использовать свою палочку-выручалочку.

– Уважаемый председатель, уважаемые депутаты! В нашей стране проживают десятки тысяч человек, которым мы обязаны всем. Да, всем! И, в первую очередь, созданием го-

сударства Израиль. Благодаря их мужеству, их героизму и самоотверженности, пала фашистская Германия. Благодаря им, храбрым солдатам Второй мировой, фашистские войска не ворвались в Палестину и не уничтожили весь еврейский ишув. Наша благодарность им безмерна. Наше уважение к ним беспрельдно!

Но на уважение и благодарность нельзя купить хлеб, молоко. Нельзя расплатиться в аптеке! Нельзя починить зубы!

Оглянитесь вокруг, уважаемые депутаты! Вы можете честно взглянуть в глаза ветеранам, которым мы обязаны всем, но которым наше государство платит черной неблагодарностью? Иначе, как издевательством, нельзя назвать те нищенские пособия и убогие льготы, которые получают люди, не жалевшие жизни ради создания государства Израиль. Нельзя, господа! Нельзя!!

Тема ветеранов была беспрюирышной. После каждого выступления растроганные старики обрывали телефон канцелярии.

Увы, речь депутата ограничивалась одной минутой. Спикер парламента Врук с высоты кресла своего председательского кашлянул предупредительно. И оду о черной неблагодарности и великом вкладе пришлось завершить.

Длинный холл, в который попасть можно было только из зала заседаний, считался святая святых Кнессета, равнозначной депутатскому буфету. Вокруг низких столиков, в креслах глубоких всегда было больше избранников народных, чем в зале заседаний: проводили срочные консультации перед голосованиями, заключали союзы, решали судьбы законопроектов. В двух противоположных углах зала – кабинки с телефонами: звони, депутат, бесплатно в любую точку страны. А за ширмой – две машинки для чистки обуви: наводи, депутат, лоск.

После речи Цви вызвал в холл Гонди, советник лидера партии. Настоящего имени его Цви не знал, да и нужды в том не было. Иначе, как Гонди, этого невысокого, худого мужчину лет сорока никто и не называл.

Зимой Гонди носил выцветшие джинсы и мятый свитер. Летом менял его на такую же мятую рубашку. Богемный облик завершали волосы до плеч и мушкетерские усы.

Секрет его влияния на лидера партии – седовласого джентльмена, ценителя французских вин и литературы – Цви разгадать не мог. По слову Гонди назначались министры и послы, он улаживал конфликты, участвовал в самых деликатных переговорах. Политика обладает страннейшим свойством – здесь люди, выдающиеся дотоле, превращаются в тени. И, вместе с тем, коридоры Кнессета превращают тени в людей.

Постельничий, одно слово – постельничий. Никому об этой придуманной для Гонди кличке Цви не рассказывал: не камикадзе. Да и однопартийцы – сабры тупорылые – все равно бы не поняли.

А Гонди ничего не забывал и ничего не прощал. Испортившие с ним отношения оказывались в лучшем случае на периферии партийного списка. Но, как правило, за пределами Кнессета.

– Хорошая речь, Цви. Но ты же понимаешь, что ситуация с льготами для ветеранов не изменится...

– А какое это имеет значение?

– О, ты начинаешь разбираться в политике. Молодец, я слежу за твоими выступлениями.

– Спасибо, я тронут. Ваше мнение важно мне исключительно.

Гонди вытащил из портфеля папку в полиэтиленовой непрозрачной обложке. Положил на колени, рукой ласково огладил. Мушкетерские усы топорщились, сверлящие глазки затаились в орбитах.

– На телевидении и радио, существуют, Хумрони, три главные вещи. Передатчик, приемник и сама передача. Без них медиа нет. И у нас, в политике те же три вещи: политик, толпа, но самое главное – это то, что политик излучает. Ежедневно, ежеминутно. Не только словами и действиями, своим видом.

Избиратель – быдло. Ему каждый раз продают старые идеи в новой обертке и новые обертки под видом вечных истин. И это работает. Но в главном обмануть его нельзя – он нутром безошибочно чувствует, что представляет собой политик. Он смотрит на экран телевизора и за секунды просчитывает тебя.

Ты – передатчик, а он – приемник. Запомни, Хумрони: тест на трансляцию – самый трудный.

Цви кивал, поддакивал.

...Какого черта, таракан лекцию мне читать надумал? Чего хочет, где подстава? До сих пор он меня в упор не видел. Рисуется, падло? Желторотого олимчика уму-разуму учит? Нужны мне твои сраные нотации, ментор самоучка...

– Да, вы знаете, это точный образ. И, главное, верно подмечено – трансляция. Мне этого порой не хватает, и я очень завидую нашему лидеру. Вот уж кто излучает, так излучает!

– Дело наживное. Но Реувен, действительно, исключение. С этим надо родиться.

– Воистину, талант, как у него – или есть, или нет. Научиться такому нельзя.

– Ладно, к делу.

Гонди куснул ус, уставился на Цви.

...Качаешь, сука, паузу держишь... А вот хрен тебе в горло, чтобы голова усатая не качалась.

В юности он вычитал где-то психологический приемчик, освоил и применял успешно: если уставиться обоими глазами в один зрачок собеседника, тот первым не выдержит – ответит зенки.

Гонди, волосами длинными потрянув, опустил глаза к папочке, постучал по ней длинным, обманикюринным ногтем.

– Здесь – секретный отчет одной из наших спецслужб о ситуации в России: действия властей, прогноз взаимоотношений с Израилем, рекомендации. Это – обычная болтовня. Самое главное, самое взрывоопасное – в разделе « Еврейские организации».

Тут – все сплетни. Кто с кем и против кого дружит, кто с кем спит, кому дали тайную ссуду, кто и где пристроил на хорошую зарплату родственника или любовницу. Бомба. У Реувена во все это вникать нет времени. Да и желания. Но знать, что там происходит – не мешало бы. У них ведь там одних главных раввинов три штуки. Хоть в книгу Гиннеса заноси.

Возьми, ознакомься, выдели главное. Завтра доложишь Реувену. Минут на пять. И помни – отчет секретный, даже у тебя, депутата, нет соответствующего допуска. Держи его при себе, он существует всего в трех экземплярах. Два других – в спецслужбе.

Цви протянул руку, сосредоточившись, чтобы не дрожала. Прижал папку к груди, поклонился. Неглубоко, с достоинством, но поклонился. А как же! Это был его шанс. Первый. И, может быть, последний.

- Не сомневайтесь, Реувен останется доволен. И вы тоже.
- Не подведи. Это может стать началом прекрасной дружбы. Гонди похлопал Цви по плечу и ушел.

Оля поджидала его в другом конце холла.

– Ну, поняла, как это делается? Теперь все стариканы от счастья уссутся. Готовься, начнут сейчас трезвонить.

Цви торжественно помахал папочкой: – Пошли в канцелярию, есть серьезный разговор.

Закрыв двери канцелярии на ключ, притянул Олю к себе и сжал рукой ее грудь.

Давно хотелось поиметь девицу, но сдерживался. Еще возмнит черт-те что, станет неуправляемой. Не трахай сотрудницу аппарата... Но когда Оля, как сегодня, выряджалась в обтягивающие крутой зад брюки и лопающуюся под тряскими грудями блузку, желание становилось нестерпимым. Симпатичная дама, гм... аппетитная. Желание растекалось по телу, голову кружило, чертом взвивалось над рассудком и логикой. Сотрудница аппарата... Он ломал черту длинные лапы, давил его, сжимал и комкал, пока тот не скукоживался и, как платок засморканный, запихивал в дальние уголки сознания. Сейчас Цви отпустил черта на волю.

– Провинилась ты передо мной сегодня, ох, как провинилась. А по счетам платить надо!

Цви развернул Олю к себе спиной, наклонил с силой. Девушка уперлась руками в спинку дивана. Вжикнул молнией на ее брюках, стянул вниз и, оттянув резинку розовых трусиков, звонко щелкнул ими по ягодицам. Оля от неожиданности вздрогнула.

..То ли еще будет, милая, то ли еще будет!

Цви с силой подался вперед, девушка вскрикнула. Он с наслаждением смотрел, как после каждого толчка вздрагивает ее тело, крутил его из стороны в сторону, сжимал, тискал, щипал мягкие складочки на бедрах. Спинка дивана глубоко прогибалась под ее широко расставленными пальцами с темно-фио-

летовыми ногтями. Олина покорность, тихое, сквозь зубы покряхтывание, полное признание его власти были восхитительны.

Наконец, оторвался. Оля с минуту постояла, не шевелясь. Одеваясь, не поднимала глаз, нижняя губка прикушена.

...Черт, кажется, переборщил...

И чуть ли не извинительно: – А ты думала, наказание, так наказание!

Оля ушла в свою комнату, застучала на компьютере.

Неужели и в Оле безропотной преступница пробудилась? Ах, Григорий Исаакович, ах, Цви Хумрони – и тут дал ты маху: ни к месту, ни ко времени – не удержался, дал слякоти новорусской превозмочь. И разбудил даму. В собственной парламентской помощнице разбудил, от которой и тайн – одна, две. А может, и нет от нее тайн вовсе, только кажется. Ох, Ольга, ох Светлана! Одним словом – дамы...А от дам что спрашивать! Но вот ждать от них можно многого – в каждой даме таится преступница.

– Пойдем, пообедаем, – сказал примирительно, приоткрыв дверь в Олину комнату.

– Не хочется.

– Идем, идем, обед в буфете парламентариев это наша работа. Себя покажем, на других посмотрим. Может, продадим кому-то из журналистов мою речугу.

До буфета надо было добираться через два этажа, протискиваясь через толпу посетителей. На ходу, чтобы не молчать, объяснял Оле:

– Конечно, этим ветеранам такой почет не полагается. Воевали, верно. Но не за Израиль, а за Родину, за Сталина. При чем здесь Израиль? Они о нем и слыхом не слыхивали. Какие они, на хрен, основатели государства? Тогда это все солдаты армий союзников. И бенгальские негры и индийские сикхи и австралийские пехотинцы.

Это мы виноваты, развратили стариканов своей лестью, чтобы за нас голосовали. Пусть спасибо скажут, что Израиль им вообще что-то платит. Воевали они за другую страну и всю жизнь на нее отпахали. А пенсии требуют здесь. Ты ж понимаешь! Но стариков этих на два-три мандата наберется, вот и приходиться улещать.

Даже празднование победы над Германией перенесли, им в угод, на 9 мая. Хотя это в чистом виде придумка товарища Сталина. Настоящую капитуляцию подписали восьмого, но Виссарионыч хотел отделиться от союзников, свою роль в победе выпятить...

Попытки разговорить Олю ни к чему не привели. Цви облизался.

...Тоже мне цаца, царевна Несмеяна. Захочу, еще раз отымею – точно так же. А не даст, или будет дуться, уволю к едрене фене.

В депутатском буфете – святая святых Кнессета – заплатил за себя и Олю. Почти все места были заняты – время обеда. Есть он не хотел, вдоволь напихался утром, но надо, надо соответствовать...И тут удача неожиданная: один столик свободным оказался. И как раз возле того, где сидели премьер с министром обороны. Второй раз пройти мимо премьера, морду отворотив – нельзя. Цви сунулся, пожал с достоинством руки мужей государственных.

Курица, как всегда, была резиновой на вкус, к тому же восточными специями густо посыпанной. Но он посмотрел на себя со стороны – и от удовольствия махнул головой.

Гриша Янкелевич, уфимский инженер-химик, с судьбой до поминок прописанной: пятидневка на комбинате, выходные на дачке, отцом слепленной из дешевой дребедени строительной. Раз в несколько лет несказанная нега отпускная на Юге – замусоренный ялтинский пляж, колченогие лежаки, зассаное море.

И опять бетонные пятиэтажки, серый, комками снег на улицах Уфы, оставляющий на ботинках и брюках белые солевые пятна. Ежедневное общение с длинным, как скука, начальником сектора Иваном Егоровичем, годами напевающим одно и то же – « Я так хочу, чтобы лето не кончалось»...

А сейчас за соседним столиком – вершители судеб. Рядом сочная, только что им трахнутая девка. Хоть и кукуется, а все схавает, все простит... И за окном не Уфа – Иерусалим: переливающийся на солнце святой город. А на горизонте – голубые горы, уходящие в вечную синеву. Немного удачи, немного сноровки и так будет всегда. Всегда!

Звон заполнил буфет: депутатов в зал заседаний созывали – на исполнение непосредственных обязанностей. Цви для блезиру пару раз курицу ковырнул – есть нельзя. Бросил вилку – пусть пропадает, проклятая. И краем глаза движение вокруг премьера уловив, успел в спину к нему пристроиться и вместе войти в зал. Хоть на втором плане, а в телекамеру попал. Не зря сегодня день прошел, не зря!

Чувство телекамеры – самое главное для парламентария. Неважно как, неважно почему, но физиономия его на экране мелькать обязана. Мелькаю – значит, существую!

О, депутатское кресло в зале заседаний Кнессета! Ты – обитель горняя, подобная трону олимпийского небожителя. Редкий израильтянин хоть раз, хоть ненароком, не мечтает о тебе. За тебя живота не жалеют – ни своего, ни чужого. Ради тебя не считают ни деньги, ни время. Из-за тебя разбиваются сердца, рушатся браки, друзья становятся недругами, враги – товарищами верными. Ты – недоступный смертным простым источник силы, родник гордости, кладезь мудрости. И ты же – ключи от рая благодатных синекур, открывающегося обладателям титула «бывший депутат Кнессета».

Обтянутое желтой оленьей кожей, с высокой, легко откидывающейся спинкой – как блаженно сидение в тебе! Словно мать родная принимаешь ты в мягкие, убаюкивающие объятия свои!

В начале каденции Цви просиживал в зале долгие часы. Голоса, доносившиеся с соседних мест, завораживали.

– Такого человека и в директоры государственной компании? С окладом 50 тысяч в месяц? Я – против...

– Ваш законопроект я поддержу, только если вы поддержите мой. Выиграем все...

– Через месяц делегация Кнессета вылетает в Англию. Пару дней болтовни в парламенте и – конец недели в Лондоне. Хотите присоединиться?

Но интерес к общим заседаниям парламента пропал быстро. Всё на самом деле решалось за кулисами – в депутатских комнатах, в буфете. А в зале депутаты работали на журналистов, на телекамеры.

Цви не мог, как они, звонко произносить свои речи и прерывать криками с места речи других, картинно хвататься за голову или изображать неизбывную скорбь. Ивритом он владел сносно, но паническая боязнь ошибиться витала над ним непрестанно. Журналисты внимательно следили за каждым словом и ловили депутатов на малейшей неточности. Лучше было промолчать, чем стать посмешищем.

Но выступать надо было. Надо!! Сперва, перед каждым выступлением он часами просиживал с Олей – по образованию режиссером музыкальной комедии.

– Ты работаешь здесь точно по специальности, красавица!

Он заучивал написанные Олей тексты, повторяя до одурения, пока слова автоматически не начинали переть из глотки. Отрабатывал каждый взгляд, жест, паузу. На бумаге с текстом речи Оля ставила специальные значки – «маленькая пауза», «большая пауза», «вскинуть глаза», «поднять голову и посмотреть в зал».

Постепенно Цви научился обходиться без Олиных значков, а потом и без ее режиссуры. Во время выступлений появилась свобода в речи и жестах, он даже начал порой импровизировать.

Теперь он держался раскованно, не цепляясь, по словам Оли, за трибуну, как за спасательный круг. Вальяжно грозил пальцем, обводил рукой зал, стучал кулаком по полированной, темно-красного дерева трибуне.

Но сидеть в зале надо было. Надо!! Вместе со скукой. Читать книгу? Сразу заметят. Газету? Тем более. Мобильный телефон несколько скрашивал ситуацию – благодаря играм. Но и они надоели. Одно время Цви носился с идеей слушать радио через наушник мобилки. Оля отговорила – «Попадете с этим наушником в фотообъектив, смешают с грязью». А обтянутое желтой кожей кресло непреодолимо тянуло в сон. Особенно после обеда...

Так и маялся. Но – свыкся. В конце-то концов, зарплата была замечательная.

Сегодня предстояло нечто занимательное, интерес к предстоящему заседанию исходил даже из галерки прессы. Не каждый день президент Италии толкает речь в наших палестинах.

Президент – невысокий, плотный, седой старичок – степенно взошел на трибуну, аккуратно разложил перед собой листы с речью. И затараторил, не заглядывая в них.

Цви взялся было за наушник синхронного перевода, предусмотрительно положенный перед каждым депутатом, но так и не надел. Речь президента неслась со скоростью двести слов в минуту. Кое-какие были знакомы – «коалиция», «оппозиция», «парламенте». И без перевода было понятно – речь о политике. Но по мелодике безостановочно несущихся одна за другой фраз казалось – президент декламирует стихи.

В школе, институте Цви безуспешно учил английский и терпеть его не мог. А итальянский нравился. Он даже купил самоучитель, так и не открыв ни разу, притащил с собой в Израиль...

Президент говорил, и мелодия языка завораживала Гришу, напоминая студенческие вечеринки под записи с сан-ремских фестивалей, танцплощадку в горсаду.

...Сколько было надежд! Какой ослепительной, словно залитые солнцем римские улицы, где гуляют Софи Лорен с Марчелло Мастоияни, казалась под эту музыку будущая жизнь. Сколько любви, удачи, заморских путешествий обещала! Итальянские слова звучали так радостно, словно в них заключалась тайна светлого будущего, которую еще предстояло раскрыть. И раскрыть непременно. Они были заклинанием, заветом и поручкой тому, что именно так все и произойдет.

...А что осталось от этого двадцать лет спустя? Жена, с которой сплю по привычке? Балбесы отпрыски, не понимающие ни моей души, ни даже моего языка? Депутатское кресло, добытое ежедневным унижением?

Да, я пролез в политику, в большую партию. Но место мое – последнее. Не по номеру в списке, по сути. Падлы партийные меня в упор не видят. Кроме этой письки, Оли, мнением моим никто не интересуется. Да и она – потому только, что я ей башляю. Держат меня, как приманку, как барана, приводящего тупорылое стадо избирателей к избирательной урне.

Купили меня и используют, как последнюю блядь из массажного кабинета. За депутатскую зарплату, за выпендрож перед русскоязычными СМИ, за создание видимости, будто от меня что-то зависит.

Себе-то я врать не буду – поддержат меня эту, максимум следующую каденцию и выбросят, как гондон использованный.

С голоду, правда, умереть не дадут – пристроят куда-нибудь, чтоб не бухтел. Безработного депутата партия позволить себе не может. Вот так и закончится жизнь – ни шатко, ни валко. Никак. А опостылевшее сидение в кресле из оленьей кожи вспоминать будешь, как звездный час.

Для этого ты появился на свет?

– Гиршеле, – говорила бабушка, – ты должен преуспеть за всех нас.

Он никогда не спрашивал, что она имела в виду. Ему казалось, что понимал. А, может быть, нет?

Цви побрел в свою канцелярию. Дверь синагоги была приоткрыта, в полумраке тускло поблескивали завитушки Арон койдеша. Включил свет, уселся на свое место под прикрытием оградки. Книга, которую читал секретарь, все еще лежала на столе.

С древних времен у талмудистов существовал способ узнать будущее или, по меньшей мере, получить намек на то, как поступать в сложной ситуации. Они открывали наугад ТАНАХ или том Талмуда и тыкали пальцем в первое попавшееся предложение. Цви слышал, что и нынешние ешиботники успешно пользуются этим способом.

Он раскрыл книгу наугад.

«Во времена Хони Амеягеля обрушились на Эрец-Исраэль подряд три голодных года. Мольба евреев о дожде оставалась безответной. И тогда ученики рабби Хони отправились к нему с просьбой помолиться о дожде.

– Заберите все очаги с дворов, чтобы ливень не разрушил их, – приказал Хони и приступил к молитве.

Но дождя не было. Тогда Хони нарисовал, подобно пророку Хавакуку, палкой круг на земле и воскликнул – «Всевышний, я не сдвинусь с этого места, пока ты не ответишь на мою молитву!»

Начал накрапывать дождь. Но он был слишком слаб, чтобы принести облегчение иссушенной земле.

– Рабби, этого дождя достаточно, чтобы избавить вас от клятвы, но он бесполезен нашим полям. Не дайте народу Израиля умереть с голода! – взмолились ученики.

Хони поднял руки к небу и воскликнул – «Всевышний, это вовсе не тот дождь, который нужен евреям! Я хочу дождя, который наполнил бы наши цистерны и колодцы, напоил бы нашу землю!»

В ответ обрушился ливень, каждая капля которого была, как бочка.

– Рабби, – воскликнули ученики, – этот дождь уничтожит весь мир!

– И это вовсе не тот дождь, о котором я просил, – вновь обратился Хони к Всевышнему. – Я хочу, чтобы это был дождь добра и благословения!

И тогда пошел благодатный дождь. Он шел, шел и шел. Он наполнил колодцы, пропитал землю. Вода переклестывала из цистерн и заливала дома, поля превратились в болота. Собаки тонули в лужах, телеги, запряженные четверкой лошадей, с трудом передвигались по дорогам.

И тогда рабби Хони Амеягел вышел во двор и, стоя по колени в липкой грязи, выкрикнул в небо – «Царь Вселенной, Твой народ, который Ты вывел из Египта, не может снести ни слишком сурового наказания, ни слишком большого благословения. Когда Ты гневался на евреев, они не могли этого выдержать, а теперь, когда Ты изливаешь на них свое благословение, они и его не могут перенести. Да будет Твоя воля, чтобы дождь прекратился, и в мире наступило облегчение!»

И тут же задул ветер, облака рассеялись, и появилось солнце».

Григорий Исаакович Янкелевич, депутат Кнессета Цви Хумрони, захлопнул книгу, бросил ее на стол.

...И что я теперь должен с этим делать? Херня какая-то средневековая. Что мне, круг в зале заседаний Кнессета начертить и требовать пост министра? Благодатный дождь? Пусть прольется! Я готов к испытанию благами!

– Дай передышку щедрому, – пробормотал он, закрывая дверь синагоги, и остановился. Да, это было именно оно – главное содержалось в припеве. И не забудь про меня! Вот то-то и оно – не забудь. Точнее не скажешь!

В конце коридора, где располагались комнаты комиссий Кнессета и синагога, мелькнули, скрываясь за поворотом, ве-

душим к залу заседаний, две знакомые женские фигуры – две дамы, резво точеными ножками перебирали. Ольга и теледива.

...Что эти цыпки вместе делают? Нечего им вместе делать!

Но на всякий случай решил проверить, может, причудилось. И быстро дошел до поворота.

В лекционном зале, где проходили заседания парламентских комиссий с особо большим числом участников, отворились двери, и толпа ветеранов хлынула наружу. Старички были возбуждены до чрезвычайности. «Вот это человек! Какой молодец! Честь и хвала!» – выкрикивали, задыхаясь, придерживая выпадающие от непривычной уже скороговорки челюсти вставные.

– От, мать его! Опять Шалаганов гуляет, – плюнул Цви.

Шалаганов – депутат «Крыши», маленькой правой партии, обладал редким талантом запускать в прессу утки о своих достижениях.

Особыми успехами Шалаганов похвастаться не мог. Но зато умел убедить журналистов – все хорошее, что делалось в сфере помощи «русским», происходило или благодаря инициативе Шалаганова или исключительно из-за его лоббирования.

Каждая его деза была столь прозрачна, столь из пальца высосана, что каждый раз Цви был уверен – уж теперь-то пресса ухватит Шалаганова за редкие рыжие кудри и отмутузит. Но Шалаганов всегда выходил сухим из воды.

Вот и сегодня, небось, понаобещал невесть чего старичкам. Узнал, наверное, откуда-то, что им то ли льготы расширяют, то ли пенсию увеличивают, то ли медальку новую намереваются нацепить. И продал как свое, личное достижение.

Галдящие старички заполнили коридор, дамские фигуры затерялись в толпе.

...Ну, Шалаганов, ну очковтиратель поганый – и тут, падла, дорогу перебежал!

Неудавшаяся погоня расстроила Цви окончательно. Надо было развеяться, сменить атмосферу. Синагога не помогла, оставалась только прогулка в парке.

Он располагался довольно далеко от Кнессета, но своим краем соприкасался с оградой парламента. О существовании узкой, покрытой щебнем тропинки, крутившейся по склону

оврага и приводившей прямо к воротам Кнессета, мало кто знал. В отличие от парка, где резвились хамулы иерусалимцев, пахуче курился дым кебабов, играли в футбол школьники, а парочки беззастенчиво обжимались на зеленой траве, тропинка всегда была пустынна.

Сквозь высокие сосны, густо посаженные на склоне, просвечивала панорама светлого, веселого, на солнце сияющего Иерусалима, медленно восходящего к небесам. На тропинке всегда царили сумрак и тишина, создававшие у Цви ощущение, что он находится не в центре большого города, а в середине леса. Запах мокрой хвои в редкие дождливые дни и чистый, смолистый запах разогретых солнцем деревьев летом, напоминали молодость.

Во время прогулок по тропинке хорошо думалось, кольца партийно-парламентских интриг раскладывались причудливым, но понятным пасьянсом.

Цви успел спуститься почти до конца тропинки и собирался уже повернуть назад, как услышал топот. Снизу, из парка бежал человек. Ничего странного в этом не было – редкие представители некогда великого племени, спасавшегося рысцой от инфаркта, инсульта и ожирения, иногда встречались на тропинке. Пару раз Цви столкнулся с самим спикером Кнессета, во время его регулярной пробежки.

Но на обычного бегуна этот человек вовсе не походил. На ногах не кроссовки – армейские ботинки с высокой шнуровкой и тяжелыми, толстыми подметками. Серые брюки, длинная, до колен куртка. Вместо впитывающей пот спортивной шапочки или шерстяной ленты на лбу – черное кепи, в котором по будним дням ходят иерусалимские ортодоксы.

Собственно, и в этом ничего не было странного. Спешит парень по делам, может, на заседание комиссии Кнессета опаздывает. Но что-то было в нем необычное, не вписывающееся в привычный облик, стандартный видовой ряд, по которому глаз скользит, не задерживаясь, и память, автоматически сравнив с тысячами таких же образов, хранящимися в ней, забрасывает и его в свой архив. И, самое главное, от этого парня исходил явный сигнал беспокойства, озабоченности, даже тревоги.

Цви посторонился, сошел на край тропинки. Когда парень поравнялся с ним, Цви вдруг все понял. Куртка слишком туго облегла грудь бегуна, и эта странная полнота не соответствовала худому лицу и спортивной фигуре. Под плащом у него пояс смертника! Он бежит к Кнессету!

И неважно, что дальше ограды шахид не прорвется. Иди знай, сколько народу толпится сейчас в очереди у входа. Да и сам факт взрыва у ворот Кнессета – это уже огромный пропагандистский успех террористов!

Мобильник Оли, на счастье, ответил сразу.

– Передай немедленно начальнику охраны, – закричал Цви, – к Кнессету из парка бежит палестинец-самоубийца, еще пару минут и он у центральных ворот! Я постараюсь его остановить!

Цви сунул телефон в карман и побежал вверх по дорожке. Дыхание перехватило через два десятка метров – ежедневная пачка сигарет, мать ее! ...Мать, мать, мать... Не останавливаться, не останавливаться! Главное, схватить за руки, чтобы не успел нажать на кнопку. Налететь сзади, свалить на землю и держать. Держать суку!!!! А там и ребята из охраны подоспеют.

А если не получится? Тогда, уж лучше, насмерть. Чем остаться инвалидом – насмерть лучше. Вспышка, ни боли, ни проблем – партия сраная, Оли-Светы. Жаль только – баб мало перетрахал...

Семья получит шикарную компенсацию... А Цви Хумрони навсегда войдет в истории, как первый депутат Кнессета, погибший в теракте.

Да нет, не погибший, а своим телом остановивший врага. Благодарная память потомков, улица Хумрони в святом городе Иерусалиме, мемориальный уголок в Кнессете. Не об этом ли говорила бабушка?

С трудом, оскальзываясь, он преодолел последние метры склона, гравий летел из-под ног. Побежал по асфальтовой дорожке вдоль ограды Кнессета. Остался последний поворот, за которым совсем немного – и ворота, толпа посетителей. Где же террорист? Где охрана?

Он стоял за поворотом, поправляя шнурок на ботинке. Черное кепи скрывало лицо. Готовится, гад, читает перед смертью

суры из Корана! Цви налетел на шахида, сшиб наземь. Распластавшись на нем, крепко схватил за запястья. Теперь надо было дожждаться охраны.

Террорист жалобно всхлипывал под Цви, не делая никаких усилий, чтобы высвободиться.

...Наконец-то мой лишний вес пригодился!

Цви еще сильнее надавил животом – хоть какая-то от него, проклятого, польза – на спину самоубийцы.

Вот и топот, вот и ребята из охраны Кнессета! Еще несколько секунд, еще совсем чуть-чуть! И тогда он уже не разорванный на куски труп, а живой, живой! И герой. Место в партийном списке обеспечено. Список? Какой, на хер, список, теперь он на замминистра потянет! А то и, глядишь...

– Вау, – раздался над ним чей-то запыхавшийся голос. – Вау, это ж надо!

Охранники стояли с автоматами наперевес. Один из них чуть смущенно тронул плечо Цви: – Встаньте, пожалуйста.

Парень, похоже, растерялся. Цви отрицательно мотнул головой.

– Встаньте, встаньте. И отпустите его. Это же Хони, наш садовник.

Журналисты никогда не обращали на Цви внимания. За два года каденции ему ни разу не удалось обстоятельно посидеть с кем-нибудь из них, рассказать о своей работе, поделиться планами, достижениями. В коридорах Кнессета щелкоперы поганые ловили министров, других депутатов, подсаживались к ним за столики в буфете. Хумрони их не интересовал. Зато теперь эти шакалы устроили на него охоту.

Больше всех старался Врун, представитель главной газеты страны – он бежал за Цви до дверей его канцелярии, тыкал в лицо магнитофон и твердил один и тот же вопрос: – Что вы чувствовали, о чем думали, бросаясь на садовника?

...Какая падла им уже все успела рассказать!

Цви, несясь в свою комнату, закрывался рукой от телекамер и отрицательно качал головой на вопросы.

Вот так когда-то, он, сговорившись с приятелями, подкарауливал возле школы девчонок. Дождавшись, пока жертва поравняется с ними и, сомкнув круг, они забрасывали ее заранее

приготовленными снежками. Девчонке только и оставалось, прикрыв лицо портфелем, убежать. Они швыряли и швыряли, пока снежки не кончались, а она, вся залепленная снегом, плакала от обиды и бессилия.

Но там это были, в конечном счете, безобидные снежки. А тут шакалы норовили прямо в горло вцепиться. И смять, растоптать, уничтожить!

– Когда эти гниды успели пронюхать? – набросился на Олю.

– Ой, Цви, вы в порядке? – вскинулась она. – А я так волновалась, так волновалась!

– Какие, на хер, волнения! Обосрался, как последнее дерьмо!

Сел с размаху в кресло, выплеснул в горло полстакана – бррр – виски, закурил. Телевизор в его комнате работал, по каналу Кнессета шел очередной треп в студии. Цви прислушался – говорили не о нем. Вот и замечательно!

– Я пойду, – сказала Оля, – мне сегодня надо пораньше.

– Как пораньше, на кого ты меня оставляешь? Один помощничек в милуим забурился, хрен выкуришь вот уже две недели, а теперь и ты?

– Цви, мне сегодня очень надо. К тому же, заседания практически закончились, есть там еще пару тем, но это ерунда.

Оля лучилась от радости. От нее исходила волна веселья, гордости, торжества.

– Чего сияешь, как новенький шекель?

– Все замечательно, Цви, все просто великолепно. До свидания!

Оля наклонилась над ним но, вместо того, чтобы поцеловать, как он было решил, оттянула шлейку подтяжек и резко отпустила ее. Шлейка звонко и даже чуть болезненно шлепнула по груди.

– Ты что, охренела? – взревел Цви, потирая ушибленное место, но Оля уже выскочила из комнаты.

...Ладно, пусть побалуется... За сегодня ей причитается. Но если она тон завтра не переменит, придется поставить красавицу на место. Или раком.

Цви расхохотался вслух.

...С чего перепуг? Ничего плохого не случилось. Ну, ошибся. Так с кем не бывает? Но ведь не струсил, не сбежал. За это из-

деваться? Нет, он еще даст прикурить шакалам, пусть только посмеют наехать.

Цви оборвал сам себя. Откуда такая уверенность? Откуда ощущение своей силы? И радостно вспомнил – ну, да, конечно, папка в полиэтиленовой обертке. Секретный отчет! Завтра, завтра он все изложит лидеру, все красиво подытожит и сформулирует.

И тогда, может быть, действительно, начало прекрасной дружбы? А у дружбы с лидером последствия неограниченные. Мало что в государстве Израиль невозможно для Реувена.

...Где же папка? Мать, где папка? Он ведь положил ее здесь, справа. Идиот, сказано ж тебе было – в трех экземплярах. В трех! Надо было в ящик стола засунуть, а не просто сверху. Вот так всегда, в этой скачке не успеваешь остановиться, подумать, оценить, где главное, а где фуфел. Папка – вот главное. В ней – будущее! Но, где же она, мать ее через бедро!

Папка нашлась под бумагами. Цви допил виски, положил ноги на стол. Он начал читать отчет с конца, с самого интересного. Гонди, собака, был прав. Если бы можно было бы слить эту информацию журналиерам!

Естественно, на основе взаимности. Ты мне, я – тебе. Им – пикантную информацию, без разглашения источника, а ему – парочку статей или просто упоминаний о кипучей деятельности депутата Хумрони по защите интересов репатриантов. Если бы! Но источник сразу же станет понятен, три экземпляра, всего-навсего три экземпляра! И тут, краем глаза, он заметил, как на экране телевизора появилась Светлана.

Девица что-то весьма оживленно излагала ведущему, и Цви, глядя на ее быстро и беззвучно шевелящиеся губы, вспоминал сегодняшнюю сцену. Вот эта теледива, пару часов назад могла бы стоять здесь, в его кабинете, на коленях. Поднятые кверху глазки, темные волосики в проборе, широко раскрытый рот... Но о чем, все-таки, эта красавица так резво вещает?

Цви увеличил громкость. Несколько секунд он сидел оглушенный. Светлана подробно пересказывала то, что он только что прочитал в отчете. Кто с кем, кто кого, где, сколько и как.

Перед глазами встал Гонди, подкручивающий тараканьи усы. Светлана сейчас подставляла не Цви, а Реувена. Этого Гонди не простит и не забудет.

Вот тебе и светлое будущее! Это был конец не только прекрасной дружбе. Это был конец карьере депутата Хумрони.

Цви зарыдал. Слезы текли по его лицу, и каждая из них была тяжела, как бочка.

БРИНС АРНАТ

Новый исторический роман
Марии Шенбрунн-Амор,
автора бестселлера «Железные франки»,
лауреата золотой премии Terra Incognita,
посвященный борьбе Иерусалимского королевства
с исламским миром
в продаже в бумажном и электронном виде

На сайте книги
ridero.ru/books/brins_arnat/
отзывы,
видеотрейлер,
сведения об авторе,
о героях, их исторических прототипах
и многое другое

спрашивайте во всех
интернет магазинах страны

ozon.ru
выбирайте

ЛитРес

amazon



Григорий Подольский

ДНЕВНИК РЕЗЕРВИСТА

День первый

День как день. Три операции, клиническая конференция. Обход. Лекция.

Вот только дождь идет. Пасмурно. Хотя дождь для Израиля – жизнь, но мне, мне что-то пасмурно. Предчувствие, что ли.

По дороге заехал в «супер». На обратном пути почему-то поставил машину не на улице у дома, как обычно, а на парковке во дворе. Как будто знал, что завтра на работу не ехать. Когда поднимался на свой третий этаж с тяжёлыми пакетами, писем в почтовом ящике вроде не было. Но что-то дёрнуло: «Проверь». Так и есть. Из ящика вынырнул небольшой бланк со знакомыми до боли атрибутами – Армия Оборона Израиля (ЦАХАЛ).

Положим, такое письмо для меня не в новинку. Я, как и многие в Израиле – резервист, по-здешнему милуимщик. И еще – я врач. Прочитал здесь же, у входа в подъезд: в течение 24 часов должен явиться к месту назначения.

Всё наготове: старая выцветшая зелёная форма без погон, армейская куртка, поношенные жёлтые ботинки на шнуровке. Вещмешок, что в Союзе называли «сидором».

День второй

Самый ранний автобус из Иерусалима в Беэр-Шеву от таханы мерказит (центральной автостанции) отходит в 5 утра. Все места заняты. Едут почти одни солдаты. Молодо-зелено. Из резервистов – только я. Старый зубр 32 лет отроду. Я один без оружия, без погон и лычек. На соседнем сиденье сладко поса-

пывает голубоглазая блондинистая солдатка, ростом сантиметров на тридцать выше своей длинноствольной винтовки М-16. Рот чуть приоткрыт, между ровных белых зубов аппетитно проглядывает кончик розового языка. Длинные ресницы подрагивают. Впрочем, эта «кнопка» уже с нашивкой на рукаве и салатовым беретом батальона «Каракаль». Значит, не совсем уж и «зелень». Насмотрелся я на них за годы службы, на таких обманчиво-молоденьких. Это те еще диффчонки – «крутые» бойцы, с ними шутки плохи.

Армейская база, цель моего утреннего путешествия, находится минутах в пяти езды на такси от таханы мерказит Беэр-Шевы.

Доложился начальству. Оказывается, выступаем завтра. Поступил приказ до утра проверить и укомплектовать все необходимые причиндалы, медикаменты, инструмент. Хотя, всё здесь уже давно учтено и проверено, все стерильно и одноразово, но приказы не обсуждают.

День третий

Встали затемно...

Наш командир – подполковник, взял меня и еще двоих заместителей подразделения – майоров, в свой новенький джип «Субару-Форестер». «Фалафели» (аналоги российских звезд) у всех троих на погонах не потертые, значит только-только получили очередное звание.

– К Газе едем-то...

– Ночью на Сдерот ещё несколько «Касамов» просыпалось. Когда же это кончится?

Командир:

– Вот завтра и кончится. Вернее, начнётся. Скоро будем на месте.

День четвёртый

За все годы службы такое я вижу впервые. Море боевой техники, танков. И солдаты, и командование – все в полевой форме. До сектора Газы – рукой подать. С раннего утра в небе

барражируют самолеты и вертолеты. Земля периодически сотрясается от взрывов авиабомб. Над городом поднимается чёрный столб дыма.

Мой медпункт, возможно, самое тихое место в лагере. Я начал свой прием. По иронии судьбы первыми пациентами оказались арабы. Мне не привыкать лечить арабов, но сегодня... И потом, это не раненые и поражённые. Ближайшая арабская деревня упростила наше командование разрешить медицинский приём арабских жителей. Пациенты – все как один угрюмые, хмурые, но от израильской медицинской помощи не отказываются. С удовольствием принимают из моих рук бесплатные антибиотики и медикаменты. Женщины доверяют лечить своих детей.

Одна бедуинка принесла на руках маленькую голубоглазую девочку. Голубые глаза у бедуинов – редкость... Девочка страдает остеомиелитом, если его не лечить – потеряет ногу. Дал им направление в безр-шевскую хирургию.

Так и трудился до вечера. По радио объявили, что ХАМАС обстреливает Безр-Шеву и Ашдод. Есть раненые среди гражданского населения. Позвонил своему другу в больницу «Сорока» в Безр-Шеве. Пока терпимо, настроение бодрое. Но готовятся к приёму с фронта наших солдат.

День пятый

В Газе по-прежнему рвутся бомбы. От них тоже с адским свистом взвиваются в небо белые столбы – на наши города летят «их» «Касамы» и русские «Грады».

Утром (герой, блин!) пошёл самовольно в арабскую деревню – проверить больного ребёнка. На обратном пути арабские детишки забросали меня камнями. Один из них попал-таки мне по кисти правой руки. Указательный палец распух и болит – теперь трудно будет работать.

Ави, наш командир, прослышал о моем «подвиге», вызвал и дал мне нахлобучку.

После обеда привезли двух солдат – у обоих легкие огнестрельные ранения. Обработал и отправил в больницу «Барзилай» в Ашкелоне.

Уже к вечеру наши разведчики доставили арабского мальчика лет 4-х «из сектора». Ребята делали вылазку в Газу, пытались захватить одного хамасовца. Тот передвигался с ребенком на руках, а когда скрылся в подъезде, то бросил его. Малыш упал и сломал ручку... Вот так они воюют. Имобилизировал перелом и отправил мальчика в «Сороку», не возвращать же обратно в сектор.

День шестой

Из Газы днём и ночью поднимается дымный столб, город окутан пылевым облаком. К границе подтянули наши танки – по моей прикидке не меньше танковой бригады. Когда больше сотни «Меркав» грохочут моторами и чадят своим чёрным дымом – наверное, даже кислородная палатка не спасёт. А чумазым танкистам хоть бы что – хохочут, шумят, рвутся в бой ...

Работать трудно. Палец мой распух, посинел. Болит, анальгетики не помогают.

Звоню домой – жена плачет, дочь хнычет. Успокаиваю: «Да ладно вам, я не в Газе», – а сам надеваю бронежилет и каску. Именно туда мы и передислоцируемся. А там по домам их снайперы засели.

В последний момент доставили пленную молодую арабку с простреленным плечом. Девка красивая необыкновенно. Выглядит испуганной. Вот такая вот «шахидка» – пыталась взорвать себя вблизи наших солдат. После долгих уговоров позволила-таки обработать рану. Не страшно – ранение навывлет, до свадьбы заживёт. Спрашиваю её «киф халек?» (как дела-то?), а она в слёзы.

День седьмой

Всё-таки наши ребята – герои. Они переодеваются в арабские одежды и идут в город, переполненный вооруженными хамасовцами. Но те все время в гуще женщин и детей. Поодиночке вообще не ходят, в бой не ввязываются. Их боевики минируют жилые дома и школы, запрещают мирным граж-

данам и ученикам оттуда выходить. Сами же снаряжают в этих местах минометы и стреляют «Касами» по нашим городам. Вот такая война ...

Стало чуть легче дышать, дым и пыль частично осели. Но «Меркавы», проезжая, гремят и чадят. Колонны с гуманитарным грузом для Газы движутся непрерывным потоком. Десятки автоплатформ с амбулансами.

Сегодня принял одного раненого в живот бойца. Вольнонаёмный из России. Отправил его в тыл – говорят, не доехал...

Сказать по-честному, очень устал. Опух уже не палец, вся ладонь. Болит...

Объявили широкий призыв резервистов. Значит, операция все-таки вступит в третью фазу. Наверное, и меня скоро смеют...

День восьмой

На войне, как на войне. Наш танк выстрелил и попал в своих. Здесь это называют «дружественный огонь». Есть убитые, раненые. Много, много крови...

А «Касамы» от них всё летят и летят. Неправ был командир... Ави ... Его ведь тоже нашёл хамасовский снайпер. Жить Ави , слава Б-гу, будет. Но служить – нет.

День девятый

Кстати, арабов я тоже продолжаю лечить. Один из них, старик, подарил мне свою палестинскую куфию. Неожиданно. Мой мирный трофей из Газы.

А завтра я уезжаю. Домой, в Иерусалим. Звонил в хирургию больницы «Шаарей Цедек», где прохожу обучение. Заведующий отделением веселым голосом сказал: «Аль тидаг (не волнуйся). Нерапе ат а-эцба шельха (вылечим мы твой палец)». А я и не волнуюсь. Я знаю. Он уже и сам стал проходить. Ура, я возвращаюсь домой.

День десятый

Снова автобус из Беэр-Шевы в Иерусалим. На этот раз – почти пустой. Только два офицера ШАБАСа и заплаканная женщина. Я прилег на задних сиденьях и... уснул. Впервые за последнюю неделю уснул. Крепко-крепко. И снился мне мальчишка-арабчонок со сломанной рукой. Он протягивал мне свою здоровую смуглую ручку и улыбался... И говорил голосом командира Ави: «Асита арбе ле арцейну (Ты сделал много для нашей страны). Соф-соф ие шалом (в конце концов наступит мир)» ...

Три часа из жизни врача

"Опя-а-а-ть... мете-е-ль... и маются..." – мается будильник моего мобильника. Он как обычно пробудился раньше меня – ровно пять утра, взорвавшись модной некогда песенкой. Эти голоса веками нестареющей российской примадонны и ее дочери превратились в мой утренний «рефлекс Павлова»!

До работы в больнице еще целых четыре часа, но мне и вправду пора...

«Наша служба и опасна и трудна...» Сегодня я спешу, и поэтому весь утренний моцион – чистка зубов, бритвё и даже завтрак – по дороге, за рулем своей «Хонды». На все про все – максимум 20 минут – ровно столько ехать от моего дома до кампуса «Ар а-Цофим» Еврейского Университета.

Филигранно припарковавшись (иначе и быть не могло, как никак мастер экстремального вождения) на служебной стоянке между джипом «Чероки» и потертым «Фольксваген – Пассатом», поднимаюсь к командиру на инструктаж.

Нашему Старикау всего-то сорок три, но он – матерый волчище, если надо, даст сто очков вперёд каждому из нас, молодых и не очень. Впрочем, я тоже из тех, о ком можно сказать – «молодая была немолода». Хотя мне под тридцать, в нашей группе я самый опытный.

Старик даёт вводную. Мужичок он приземистый, квадратный, выглядит таким незаметным киббуцником в своей мешковато сидящей рубашке с отворотами, в джинсах и поношенных крос-

совках. Под рубашкой угадываются мощные, упругие мышцы. Двигается Старик чуть бочком, бесшумно, чем-то напоминая рысь. И... невозможно зафиксировать его взгляд. Я о Старике знаю не много больше, чем кто-либо из моей группы. Главная аксиома – он гений стрельбы из всех видов стрелкового оружия. Он – Снайпер с большой буквы. Я, впрочем, тоже крут. Нет, без ложной скромности – и снайпер, и гений. Ну, может быть калибром чуть меньше, чем Старик, но гений. Правда.

– Задача стандартная, – монотонно бубнит командир. – С восьми до восьми сорока пяти утра – лекция Шарика в Университете. Рассредоточиваемся по точкам и прикрываем выход премьеры из машины. И через 45 минут – наоборот – посадку в машину. Личная охрана и ШАБАК выполняют функции контроля внутри здания.

Ну да, стандартная задачка... Общеизвестно, что в университетах Израиля учится много арабских студентов и практически все они пропалестински настроены. Откуда нам знать, не взбредет ли кому из них надеть на себя пояс шахида?

Проводим рекогносцировку местности. Местность так местность...

Уж я-то за годы учёбы изучил каждый закоулок своей «альма матер».

Мне достается наблюдательный пункт в здании напротив – с полным обзором подъездов и подходов к лекционному корпусу Университета.

Располагаюсь с комфортом. Такое не каждый раз бывает. В комнате есть стулья, столы, даже маленький митбахон, кухонька, где можно сварить себе кофе и погрызть печенюшки или чипсы из пакета.

Время есть. Проверяю переговорное устройство и свою старушку-«Ремингтон», завариваю "кафе шахор". Вид из окна просто фантастический. Окрестности Иерусалима как на ладони, а дальше – змейка разделительной стены, дорога на Мертвое море. Еще дальше, у горизонта – само оно, море – в далекой дымке.

Но отвлекаться на лирику не стоит. Опускаю взгляд, внимательно прочесываю все подходы к зданию напротив. Пока ничего подозрительного. Парень с девушкой сидят на траве.

У девушки на коленях серебристый лэптоп, что-то читает парню вслух. Чуть дальше другой парнишка болтает по мобильнику.

По дороге к стоянке машин проходит лысоватый мужчина с полотняным портфелем в руке. Садится в свой "Субару", отъезжает. Осматриваю окна угловых зданий. Справа на крыше должен быть Моше, слева – в третьем окне от угла – мой друг Ави.

Проверим связь.

– Ветка два, я ветка один, ответьте.

– Ветка один, слышу.

– Ветка три, слышишь меня?

– Я ветка три, слышу хорошо.

Рутина. Ребята из ШАБАКА проверяют окрестности. Ко времени подъезда премьера все должно быть «lege artis».

– Ветка один, я Ствол, как дела?

Старик на связи.– Все чисто.– Понял.

Все-таки странная штука жизнь. Я тут мирно прихлёбываю кофе, грызу чипсы. А через пятнадцать минут буду готов убить любого, кто покусится на Шариково тело... Правду сказать, именно на этой работе я пока ни разу не стрелял в человека. Просто случай не выпадал. Вот на второй Ливанской...

Я иногда думаю, что палец моей правой руки содержит маленький умный чип, который точно знает, когда нажать на спусковой крючок. У пальца – самостоятельное мышление. Но лучше всего он умеет нажимать на курок «Иерихо». Пистолет для меня вообще оружие интимное, он так желанно и плотно умещается в ладони, а приятная тяжесть сравнима, пожалуй, с тяжестью нежной девической груди.

И бац – без промаха...

Ладно, что-то задумался. Ноги в руки – и к окну. Снова – проверка связи. Снова – подходы к зданию.

Арабский студент уселся на ступеньки у входа. Вроде, читает. На шее повязана чёрно-белая кубиками куфия. О! Футболка на выпуск подозрительно топорщится.

– Ветка пять, проверь того студентика на ступеньках.

Нет, ложная тревога. Это у него мобильник на ремне. Все равно – удалить от объекта. Через две минуты подъедет лимузин ...

Подъезжает. Черный, плавный, неприступный. Пуленепробиваемые стёкла затемнены. Парни из личной охраны прикрывают выход и передвижение Шарика. Все спокойно. Вошел.

– Я Ветка один. Объект в здании.

– Я Ствол. Внимание. Продолжаем работать, – голос Шарика.

Это значит, что все 45 минут каждый из нас должен находиться в состоянии полной боевой готовности, наблюдая за своим сектором.

Остатки кофе остались остывать на подоконнике, Всё внимание на вход в здание. Правый угол – никого. Левый – чисто.

Из переговорного устройства звучит сообщение, что ко входу направляется машина депутата Кнессета, видного деятеля от оппозиции – «ястреба».

Его авто плавно подкатывает к лестнице. Вышедший из него толстяк с «молотовскими» усами энергично, почти бегом, вкатывается в Университет. За ним впритык следуют амбал в чёрном костюме, с переговорной спиралью, взбирающейся от воротника к уху.

– «Ястреб» в здании.

– Понял вас.

Вскоре из окон аудитории на третьем этаже раздаётся зычный голос толстяка и дружный студенческий смех. Вновь тишина. Шарик – тёртый калач, боевой генерал, лис, известный всему миру. Его толстяку слабо одолеть.

Осталось пять минут до окончания операции. Сколько же пар глаз, кроме моих, смотрят сейчас на этот маленький клочок земли? Тридцать? Пятьдесят? Сто? Старик, наверное, знает, но не скажет. Здесь работают несколько спецслужб, и наша же, при всем моём к ней почтении – вспомогательная. На крайний случай.

– Внимание. Выходит.

Оба «шарика» выходят из здания, о чем-то приветливо беседуя. Объект чуть задерживается, снисходительно, что ли, хлопывая собеседника по плечу. Садится в машину. Лимузин отъезжает, быстро скрываясь за поворотом.

– Отбой.

Всё, закончили. Есть еще пара минут, чтобы хлебнуть безнадежно остывший кофе, разобрать винтовку, уложить ее в футляр, а затем, спустившись, сдать оружие и переброситься парой фраз с ребятами и Стариком.

Вновь – за руль – и уже на работу.

Паркуюсь на подземной стоянке больницы. На входе сдаю пистолет в сейф секьюрити.

Створки большого бесшумного лифта раскрываются на седьмом этаже.

– Здравствуйте, доктор. Как вы себя чувствуете?

Эта пятидесятилетняя пациентка уже три дня подряд усердно караулит меня по утрам у входа в отделение. Влюбилась, что ли? Она прошла у нас операцию шунтирования, к сожалению, неудачно. Предстоит ещё одна, более сложная. Но она улыбается. Немудрено, ведь без ложной скромности, мой успех у женщин, преимущественно её возраста – просто ошеломляющ. Шучу. Кроме того, я женат...

– Спасибо, Шоши, все хорошо. Как у вас? Сегодня на операцию?

– Да, доктор, – женщина провожает меня взглядом до двери. Начинается новый день.

В кардиохирургии я – молодой врач, как здесь говорят – митмахе, ординатор. Но никто из моих коллег, наверное, даже не подозревает, что я еще замкомандира подразделения снайперов, а значит – человек, отдающий приказы убивать...

Исаак (Игорь) Шихман

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ В ПРОШЛОЕ

Семейная сага

Свидетели уходят, свидетельства остаются.

ОНА

в двенадцать лет положила глаз на него. Не детский, и не девичий – а настоящий бабий. Вероятно, именно тогда в ней впервые проснулось женское начало. Ей неудержимо хотелось видеть его, слышать его, дышать с ним одним воздухом.

Сидя на уроке, девочка закрывала глаза и тут же мечтательно переносилась в иное измерение. Казалось ей, что лучи утреннего солнца пробиваются сквозь тюль, будят ее, щекоча глаза, она просыпается на громадной пуховой подушке, по перышку любовно собранной бабушкой. Бабуля – любимица семьи – считала своим долгом приготовить в приданое каждой внучке (у нее было три сестры) подушки из пуха каких-то особых гусей, водившихся только в одном селе где-то под Бердичевом. По бабушкиному непререкаемому мнению хорошая постель была залогом счастливой семейной жизни, и оспаривать это бессмысленно.

В мечтах она просыпалась на бабушкиной подушке, а рядом, мерно дыша, спал он. Она лежала, не шевелясь, боясь разбудить его. Только тихонько прижималась к его плечу и слегка поглаживала его жесткие кудряшки. Это было настолько реально, она явно ощущала в ладони густые локоны его шевелюры.

Мерзкий и пронзительный звонок, возвещавший перемену, прерывал ее фантазии, как всегда на самом интересном месте. Она еще какие-то мгновения пребывала в этом до одури при-

ятном гипнотическом оцепенении, не спеша вернуться в реальность. Так бывает, когда человек пытается нагнать, остановить ускользящую из сознания мысль.

Она выросла мечтательной натурой, и такое с ней случалось нередко. Обычно к реальной жизни ее возвращал дружеский шлепок по плечу или спине закадычной подружки Аси, самого близкого после мамы человека. Сколько она помнила себя – столько же знала рыжую, как знойное летнее солнце, Асю. Ася была рыжей до красноты. Девочка-солнце. Когда в хмурый дождливый день, подружка входила в комнату, там становилось теплее и светлее. Казалось, голова и физиономия, похожие на светило, и вправду излучают какую-то особую энергию.

Между подругами никогда не существовало секретов, все тайны были на двоих. Сейчас она нарушала это не писаное правило и от того чувствовала себя не в своей тарелке. Сколько раз хотела признаться, уже открывала рот поделиться, сделать, как обычно, ее тайну общей, но не могла пересилить себя. Он был старшим братом Аси.

Зная ершистый характер подружки и то, как она любит его, ей казалось, более того, была уверена – Ася не поймет и не простит. Больше всего ее страшило то, что их “не разлей водой дружба” может дать трещину, а то и вообще кончиться.

Сколько раз она явственно, до мельчайших подробностей, представляла, как Рыжик (так любя звала подружку) отреагирует на признание. Сразу становилось не по себе.

– Ты что себе вбила в голову? Посмотри на него... Кто ты и кто он?

“Действительно, – думала она. – Ему семнадцатый год, скоро кончает школу. Все девчонки в классе, а их там куча и все мерзкие, вертлявые, как на подбор, на него засматриваются. Только и мечтают, чтобы портфель поднес и до дому проводил. А я что представляю собой?”

Она смотрела на себя в зеркало и отвечала:

– Сопля. С косичками.

– Эй, мейделэ, – Ася аккуратно помахала рукой перед подругой, прервав ее самобичевание. – Ду бист нит гезунт? *

* Девочка, ты больна? (идиш).

Ася верховодила в их компании, хоть и была всего на два месяца старше. Всегда говорила с подругой покровительственным тоном, хотя ласково и любя.

Ася прикоснулась губами к ее лбу и покачала головой.

– Нет, миленькая, ты абсолютно здорова. Что же тогда? – сказала выразительно, даже заговорщицки (так, во всяком случае, показалось) заглядывая в глаза.

Она встрепенулась, испугавшись собственной слабости. Ей показалось, что мгновение-другое и тайна перестанет быть тайной.

– Нет-нет, все в порядке, – повторила несколько раз, стараясь изо всех сил убедить подругу, что действительно все в порядке. – Просто задумалась...

– Это хорошо, Женька. Было бы над чем задуматься, – назидательно заключила Ася, подхватив подмышку сумку с учебниками, пошла из класса.

Женю постоянно одолевали противоречивые чувства. Ужасно хотелось с кем-то поговорить о нем. Говорить, какой он статный, умный, имеющий ответ на любой вопрос. Мало ли о чем можно говорить, когда нравится человек.

Женя была не по годам рассудительной и, наверно, поэтому боялась признаться даже себе, что любит его. Желая сдержать свои эмоции, постоянно убеждала себя, что он ей только нравится. Желание обмолвиться с кем-то о нем она подавляла на корню, боясь выглядеть смешной и нелепой.

Пару раз намеревалась поговорить о предмете своих мечтаний с мамой. Улучив подходящий момент, заводила с ней разговор издалека, но сделать последний шаг, открыться, поделиться тайной что-то мешало. Она даже сама не могла понять, что сдерживало ее. Сердце подсказывало: этого делать не надо.

В семье никогда не говорили о любви. Напротив, бабушка, когда речь заходила о чьей-то свадьбе, неизменно говорила:

– Нишкоше, мэ гевойнт зих цу дэм ойх цу.*

Спустя годы, став взрослой, она узнала русский эквивалент бабушкиной мудрости – “стерпится – слюбится”.

* Ничего, привыкнут (идиш)

Ей не было известно, знает ли мама, что такое любовь, любила ли мама когда-нибудь. Женя толком ничего не знала о молодости родителей, как они встретились, были между ними романтические отношения, страстные и самозабвенные, до беспамятства – какими по ее понятиям должны были быть отношения между влюбленными. Такие, какие ощущает она сама.

Это никогда не обсуждалось в их доме. Отношения между родителями всегда были ровными и уважительными. Женя не слышала, чтобы отец хоть раз повысил голос на жену или упрекнул ее в чем-то. Они никогда не целовались на виду у детей. Даже, когда глава семьи уезжал по делам на несколько дней.

За столом мама всегда подкладывала отцу лучший кусок. Для пятницы, когда отец перед Шабесом шел в баню, обязательно готовила крынку его любимого кваса с изюмом. Безумно вкусного и студеного, до ломоты в зубах. За ужином папу всегда ждал штоф пейзаховки, заботливо настоянной на лимонных корках.

Все же, в понимании Жени, это была не любовь. Несмотря на возраст, себя она уже относила к взрослым и тогда-то, вопреки бабушкиной мудрости, дала себе слово выйти замуж только по настоящей любви.

Спустя некоторое время Женя случайно узнала из разговора теток, что родители до хупы* виделись два или три раза. Свадьбу и ее условия обговорила шотхен**, несколько дней без усталости сновавшая между двумя, решившими породниться, семьями.

Услышанное окончательно убедило девочку, что мама – самая любимая и близкая – не тот человек, которому можно открыть душу и поделиться сокровенным. Так и продолжала она жить, бережно храня тайну.

Женя любила бывать у подруги Аси дома, с некоторых пор он стал для нее главной точкой притяжения. Благо далеко бегать не требовалось: они жили на одной улице. Вместе делали уроки, играли.

* Еврейская религиозная свадебная церемония

** сваха (идиш)

Бесхитростная Женька научилась хитрить и лукавить. Она умышленно и ловко затягивала приготовление домашнего задания так, что часто дожидалась возвращения любимого домой. Абраша, а именно так звали ее избранника, уже ушел из школы и продолжил учебу на рабфаке. Если везло – Женьке удавалось переброситься с ним несколькими ничего не значащими фразами, но даже такое мимолетное общение грело ее душу.

Иногда она засиживалась у подружки допоздна, и тогда тетя Песя, Асина мама, приглашала ее поужинать. Семья у Аси была большая: четыре сестры и три брата. Взрослые дети уже были семейными. По традиции все собирались вечером за большим столом, занимая места по старшинству.

Женя не переставала любоваться неписанным ритуалом застолья в семье подружки. Никто не садился, пока за столом не занимал свое место отец. Исаак, или, как его звали в Бердичеве, Ицик Ливеронт был уважаемым в городе человеком. Ливеронт – поставщик скота, профессия стала его прозвищем. Прозвище настолько прилипло к нему, что многие земляки даже не знали подлинной фамилии Ицика.

Высокий, почти двухметрового роста седеющий красавец, с опрятной бородой и лихо закрученными кавалерийскими усами, всегда выходил к столу, переодевшись в домашнюю одежду. Садился во главе стола и все тут же занимали свои места. Опаздывать вечером к общему застолью считалось проступком. На столе всегда в мисках стояли свежие овощи, по сезону – моченые яблоки и обязательно любимая хозяином тертая черная редька, щедро заправленная гусиными шкварками. В Шабес к этому добавляли форшмак и фаршированную куриную шейку.

Тетя Песя подавала мужу в белой льняной тряпиче ароматный каравай хлеба. Хлеб выпекался на всю семью дважды в неделю в громоздкой русской печи, господствовавшей на кухне. Асина мама была большой мастерицей печь хлеб. Женя любила наблюдать, как сгусток тугого желтоватого теста укладывался на большой капустный лист, ухватом ловко запихивался в раскаленное нутро печи – и так десяток раз.

Через четверть часа дом наполнялся неповторимым ароматом свежее испеченного хлеба. Слюна текла сама собой, как бы ты ни был сыт. Хозяйка специально пекла для младших детей, которым было невмозгалу ждать, небольшую булку. Когда булка была готова, тетя Песя рвала ее на ломти и раздавала младшеньким. Они макали хлеб в блюде, до краев наполненное самодельным подсолнечным маслом, потом посыпали солью. Лучшее лакомство было трудно придумать.

Дядя Ицик аккуратно принимал каравай, отворачивал тряпицу и губами прикладывался к горбушке. Женя не могла понять, что он делает: целует хлеб или нюхает его. После этой неизменной процедуры, глава семьи прижимал каравай к груди и нарезал его по-деревенски большими кусками, выдавая каждому поочередно благоухающий ломоть. Последней получала Ася, самая младшая в семье. Ей отец всегда оставлял, как знак особой любви, хрустящую горбушку.

Все принимались за еду. Суп всегда разливала старшая дочь Бася, чуть погодя Бася же подавала второе, а потом компот. Женя ждала компот с нетерпением. У тети Песи компот всегда получался какой-то особенный. Ядреный, тягучий, словно мед.

Летом младшие дети под присмотром кого-то из старших собирали в своем большом саду, тянувшемся от самого дома до реки Гнилопяди, вишню и груши. Сортировали их, сушили, запасаясь на всю зиму. Компот не переводился до нового урожая.

Кушали молча. Говорил лишь тот, кому отец задавал вопрос. К концу ужина, уставшая за день от домашних хлопот, тетя Песя начинала клевать носом. Тогда глава семьи, поблагодарив супругу, отправлял ее отдыхать.

Женя мечтала, что когда-нибудь в ее будущей семье обязательно будет такой же порядок.

Своей жизненной удачей она считала единожды случившийся совместный поход на городской пляж. У Абраши выдался свободный день, погода стояла замечательная. Он решил выполнить данное когда-то сестре слово – сходить с ней на пляж.

– Собирайтесь, девчонки, – шумно объявил он. – Идем на Гнилопядь. На сборы и все– про-все – десять минут!

Загорать отправились вчетвером, с собой прихватили еще соседскую девочку Фиру. Фирка была на пару лет младше Аси и Жени, но старалась изо всех сил выглядеть старше.

Абраша был в хорошем настроении, много шутил, не давая девочкам скучать. Угощал их пломбиром. Женя была готова поклясться, что никогда в жизни не ела такого вкусного мороженого.

Потом катались на лодке. Время от времени он, сидевший на веслах, обдавал их водой. Больше всех досталось ей, и Женя сочла это знаком особого внимания.

Вообще тогда девочке показалось, что он обращался чаще к ней, чем к Асе и Фире. День удался на славу. Жалко только, что прошедший день нельзя было спрятать в тайник, где хранилось все связанное с Абрашей. Там она берегла фантики от конфет, которыми угощал Абраша в разное время, красивую общую тетрадь, подаренную им к первому сентября, открытку – поздравление с восьмым марта.

Иногда, оставшись наедине, в своей комнате, она доставала шкатулку из морских ракушек, привезенную из Крыма старшей сестрой, и перебирала свои сокровища. Воспоминания всплывали сами собой, согревая сердце.

Так продолжалось несколько лет. Наконец Женя поняла – ее детская любовь превратилась в настоящее серьезное чувство. Дальше так не могло продолжаться, но раскрыться, объясниться с Абрашей у нее не хватало духу. Много размышляя по этому поводу, ей трудно было понять, что мешает сделать этот важный шаг, природная ли скромность, девичья ли гордость. Скорее всего, опасение выглядеть навязчивой...

Однажды, пересилив себя, она отправилась в Асин дом. Это случилось вечером накануне Абрашиного отъезда в авиационное училище. Казалось, отступать больше не куда, следовало объясниться. Ведь уезжал он надолго и в другой город. Там наверняка есть девушки, в том числе красивые.

Стать военным – была давняя мечта парня. Домашние скептически отнеслись к планам Абраши сделать карьеру в армии, но на семейном совете решили ему не мешать.

В доме было шумно и тесно. Проводить Абрашу собрались многочисленные родственники и друзья со всего Бердичева. Он был нарасхват. Все хотели ему что-то сказать, пожелать.

Женя с первого взгляда осознала нелепость своей затеи.

“Ничего хорошего не выйдет, – с горечью и досадой подумала она. – Не могла найти более подходящее время”.

Хотела тихо и незаметно уйти, но почти у самой двери ее перехватил виновник события.

– Ты молодец, Женька, что пришла, – положив руку на плечо, остановил девушку Абраша. – Попозже обязательно забегу попрощаться с твоими.

– Смотри, – шутливо погрозил пальцем, – вы с Асей обязательно дождитесь меня.

Она вспыхнула. Последние слова любимого вселяли надежду.

Давно известно, что тайное долго не может оставаться тайным. Рано или поздно оно обязательно станет явным. Так случилось с секретом Жени.

Где-то спустя полгода после отъезда Абраши в Москву (он попал в Серпуховскую летнюю школу, что недалеко от столицы), почтальон принес в Асин дом объемистый твердый конверт, который обычно выдается под роспись получателя. В нем оказались четыре фотографии младшего сына в красивой летней курсантской форме. Абраша в фас и профиль, портрет крупным планом и совместное фото с группой однокурсников.

Новость мгновенно облетела всю Быстрицкую улицу. Соседи и друзья густым потоком шли смотреть фото. Опираясь на громоздкую клюку, пришел седой, как лунь, живший на отшибе улицы, Абрашин дедушка Пиня. Зейдале* Пиня – так звали его все дети Быстрицкой улицы. У него был самый большой на улице сад, в котором росли необыкновенно вкусные яблоки и вишни. Когда они созревали, зейдале открывал калитку и приглашал детвору полакомиться.

– Только осторожно с ветками, – предупреждал он детей, – и, чур, по ночам не лазить.

* Дедушка (идиш)

Дедушке Пине фото выдали вне очереди. Он аккуратно достал из металлической коробки, в которой в незапамятные до-революционные времена продавались папиросы “Сальве”, старинное пенсне, водрузил его на переносицу и принялся рассматривать фото внука. Делал это молча, сосредоточенно и медленно. В комнате воцарилась тишина, все боялись ему помешать.

После продолжительной паузы старый Пиня протянул фото невестке, тете Песе.

– Видите, – назидательно промолвил, – я же не ошибался когда говорил, что Абрумалэ вил зан а гройсер менч*.

Ася и Женя смогли по-настоящему рассмотреть фото лишь вечером, когда стих ажиотаж. Они расположились на кухне прямо под лампочкой, болтавшей над столом. Ася предусмотрительно на всякий случай протерла клеенку, и девочки, разложив снимки, принялись их изучать. Ася даже принесла увеличительное стекло.

Они сошлись во мнении, что летная форма удивительно идет Абраше, делает его лицо мужественным и взрослым. Это был уже совсем другой человек, имевший мало схожести с парнем, недавно уехавшим из Бердичева.

Женя промолчала, но про себя отметила, что он не просто повзрослел, а стал еще красивее. Она тут же подумала о соблазнах, окружающих его там, в Подмоскowie. Сердце даже защемило, когда представила, что он, попав в Москву, может познакомиться с какой-нибудь столичной красавицей. Девушка тотчас прогнала прочь неприятную мысль, уверенная в том, что никогда не отступится от любимого.

В тот вечер и случилось то, что называется “бес попутал”. Ася увлеклась, рассматривая групповой снимок курсантов. Брат в письме обещал приехать в Бердичев в отпуск с кем-нибудь из товарищей. Эта новость взволновала Асю: ее сердце оставалось свободным. Она внимательно через увеличительное стекло изучала лица курсантов, напрочь забыв о существовании подруги. Тут-то и подтолкнул Женю бес, точнее бесенок.

* будет большим человеком (идиш)

Не отдавая отчета, что делает, она сунула одно фото в середину своего учебника, лежавшего рядом на столе. Собрала сумку и заторопилась домой. Девушка прекрасно понимала, что пропажа быстро раскроется

Женя уснула только на рассвете. Почти до пяти часов смотрела на портрет и разговаривала с любимым. Наговорилась вдоволь, пока сон не сморил, но поспать не удалось.

Ровно в семь к ней в комнату фурией ворвалась Ася. Обычно на учебу девушки отправлялись в восемь. К тому времени обе поступили в училища: Женя – в педагогическое, Ася – в медицинское.

– Женька! – заорала она с порога. – Ты вчера последней держала фотографии. Куда делась од...

Ася осеклась на полуслове, встретившись взглядами с другой. Она без слов, по глазам, поняла, что произошло.

– Женечка, милая, – чуть слышно спросила девушку. – Это правда? Я правильно все поняла?

Женя молча кивнула головой. Она хотела что-то сказать, объяснить подруге, но неожиданно почувствовала, что не может говорить. Ей показалось, если сейчас откроет рот – то вместо привычных слов раздадутся непонятные звуки. Потребовалось несколько минут, чтобы преодолеть себя и совладать с волнением. Зато Ася болтала без умолку, не замечая состояния подруги.

– Что же ты все время молчала? Он ведь, по-моему, даже не догадывается ни о чем, – тараторила она и тут же принялась корить себя за близорукость. – Хороша, нечего сказать. Как же я ничего не поняла?

Вдруг разом оборвав свои причитания, Ася задумалась, словно в ее голове созрел какой-то план.

– Женька, поверь мне, – твердо сказала она своим обычным уверенным голосом, – я все сделаю, чтобы вы оба были счастливы. Вы ведь мои самые близкие люди.

Помолчав, добавила:

– Фото оставь себе. Я сама все объясню маме. Только, чур, не прячь его, он ведь такой красивый...

Девушки засобирались на учебу.

С того дня Женина жизнь обрела иной смысл. Все слова о любимом, которые прежде она произносила про себя, оставшись наедине, теперь говорились вслух вместе с Асей. Ася, большая выдумщица и фантазерка, с такой уверенностью рассказывала об их будущей жизни, будто Женя и Абраша на следующий день пойдут в загс регистрировать брак. На робкие возражения подруги, боявшейся все сглазить, Ася, со свойственной ей уверенностью и убежденностью, неизменно отвечала:

– Лучше тебя ему партии не сыщешь во всем Бердичеве.

Услышав опасения Жени по поводу столичных новостей, ехидно добавила:

– Московским фифочкам нечего делать возле тебя. Женя, ты посмотри на себя – красавица. Сколько парней у нас, в Загребле, сохнут по тебе. Уж я-то знаю, а мой брат слепой. Он только свои самолеты видит, но я открою ему глаза...

Женя хорошо знала подругу. Они жили рядом и дружили, что называется, с горшка. Ее тон вселял надежду и ожидание счастливого будущего. От этого на душе становилось радостнее.

Ждать встречи с любимым пришлось дольше, чем ожидалось. После окончания летной школы новоиспеченным лейтенантам не дали отпуска. Они немедленно отбыли согласно назначениям в части.

Наступали тревожные времена. Был победоносный (так писали газеты и сообщало радио) поход в Западную Украину и Западную Белоруссию, потом события в Прибалтике. Серьезные дела назревали на советско-финской границе. Срочно формировались новые части, в том числе авиационные, необходимые для обороны увеличившихся государственных границ. Так в письме родным Абраша объяснял задержку отпуска.

Кстати, о письмах. Теперь в конце каждого среди приветов родственникам посылал привет Жене. Она не сомневалась, что это – результат стараний подруги.

Потом, когда грянула война с Финляндией, письма прекратились. Последней была почтовая открытка с короткой надписью “Уезжаю в командировку. Писать не смогу. Целую”.

Весточка была без указания обычного обратного адреса полевой почты.

Молодой летчик, лейтенант приехал в отпуск только в начале лета сорокового года. Приехал в красивой парадной темно-синего цвета форме с множеством эмблем и нашивок. На груди рядом со знаком пилота поблескивала медаль “За боевые заслуги” – диковинка, учрежденная чуть больше года назад вместе с другими советскими медалями.

“Он такой красивый, – было первой мыслью Жени, – наверно, в его гарнизоне все девицы сохнут по нему”.

– Женька, тебя не узнать. Невестой стала, – вместо приветствия сказал Абраша.

“Слава Богу, заметил”, – подумала она.

В первую минуту хотела ответить, как отвечали заводские девчата на неуклюжие комплименты парней:

– Для тебя цвету...

Однако удержалась. Просто сказала несколько ничего не значащих слов.

Абраша был прав. За год она здорово изменилась, превратившись из гадкого утенка в красивую девушку. Недаром к ним в дом зачастила известная всему Бердичеву тетя Ципа. Женья поняла, что является предметом ее интереса. Старшие сестры уже были замужем. В городе было несколько женщин, занимавшихся сватовством, но никто не мог конкурировать с Ципой.

– У меня глаз, как ватерпас, – говорила она о себе. – Только вижу товар – сразу знаю, куда его пристроить.

Эти слова не были пустым бахвальством. У Ципы был сто-процентный результат. Среди супружеских пар, возникших с ее легкой руки, не бывало разводов, зато регулярно рождались дети.

Известный на Быстрицкой улице интеллигент и книголюб Арон Зусман по прозвищу Ньютон всерьез утверждал, что Ципу надо избрать почетной гражданкой. Мол, если бы не ее старания город Бердичев давно бы превратился в штетл*, а так мы настоящий еврейский город. Правда, второй после Одессы.

* Еврейское местечко (идиш)

Одесса не давала покоя Арону. О чем бы он ни говорил – обязательно приплетал, часто, что называется, ни к селу и ни к городу – Одессу. Старожилы Быстрицкой утверждали, что много лет назад Ньютон сватался к какой-то состоятельной молодой вдове, проживавшей в Одессе. На беду Арона, дама плохо знала географию. Узнав, что воздыхатель руки и сердца прибыл из какого-то Бердичева, вдова решила, что выходец из провинциального еврейского местечка не достоин одесских радостей, в общем – отказала. Ньютон остался одиноким интеллигентом.

Ньютоном Арона прозвали соседи, потому что он в жаркие летние дни забирался с книжкой в бочку, наполненную водой.

После приезда Абраши в отпуск вся улица буквально за день перебивала в Асином доме. Соседи валом шли посмотреть на героя. Ведь просто так правительство не раздает медали, кому попало. Каждый считал своим долгом поинтересоваться, за что Абрашеньку наградили.

Он отделялся общими словами. Выручил электрик Моня Гойх, служивший несколько лет в танковых войсках. Моня объяснил любопытным, что не обо всех операциях награжденный военнослужащий может рассказывать.

– Слышали? – говорил Моня. – Есть такое понятие: военная тайна. Потерпите, придет время – расскажет.

Вероятно, таково было мнение Мони Гойха, медаль получена за финскую компанию.

Женя побывала у подруги час-другой и ушла домой, сочтя неприличным задерживаться дольше.

“Я ведь для него никто, – убеждала себя. – Только подруга сестры”.

Когда стемнело, неожиданно прибежала Ася. Как всегда, шумно ворвалась в комнату.

– Ты куда делась, Женька? – возмутилась с порога. – Мы тебя ищем, а ты смылась. Так не ведут себя, подруга.

Она потянула Женю за руку.

— Пошли – пошли. У нас остались только свои, – тоном, не терпящем возражений, сказала Ася.

Засиделись допоздна. Родители уже ушли спать, а дети еще долго расспрашивали брата о службе. Абраша от природы был

немногословным, а став на время центром внимания, замкнулся более обычного. Информацию из него приходилось вытаскивать, что называется, клещами. Вопросы сыпались нескончаемым потоком. Он рассказывал односложно, всячески избегая говорить о боевых действиях. Даже когда старший брат напрямую, без обиняков, спросил, участвовал ли он в финской компании, Абраша ответил уклончиво. Мол, было пару полетов, и никаких подробностей.

Женя не задавала вопросов. Ночной разговор слушала в полуха. Ее меньше всего интересовали детали военного быта. Она любовалась своим Абрашей. Мысленно девушка давно считала его своим. Домой вернулась на рассвете. К счастью, предусмотрительная мама не закрыла входную дверь на засов. Перед училищем удалось хоть пару часов вздремнуть.

Чуть свет убежала на занятия. Еле дождалась, пока они кончатся. Даже заработала замечания двух преподавателей по поводу ее рассеянности. Домой не бежала, а летела.

– Прибегала твоя с птичками, – мама на пороге встретила дочь, выразительно покрутив пальцем у виска. – Не знаю, станет ли когда-нибудь Ася нормальным человеком...

Мама искренне любила дочкину подругу, ведь знала ее со дня рождения, но никак не могла привыкнуть к манере ее поведения. Наверно, поэтому всегда сетовала на Асю.

– Мам, чего она хотела? – спросила Женя, на ходу отщипывая кусок пирога из тарелки на столе.

– Чего-чего. Жить без тебя не может. Сказала, как вернешься – сразу к ней.

Последние слова Женя уже слышала за дверью. У Аси ее ждал сюрприз.

– В доме культуры идет новый фильм “Истребители”. Народу там видимо-невидимо, билетов не достать. Картина про таких ребят, как Абраша. Меня премировали. Выдали два билета – мне и брату – герою.

Выдержав паузу, Ася добавила:

– Только меня некому подменить на практике в больнице. Ленка, моя сменщица, приболела. С Абрашей в кино пойдет Женя. Его одного отпустить нельзя – украдут.

Ася вопросительно посмотрела на брата. Он без колебаний согласился. Лишь одна Женя знала, что все сказанное, от первого до последнего слова – ложь, придумка подруги, желавшей оставить их наедине. Билетами ее снабдил приятель, кинемеханик Дома культуры. Дежурство могла без проблем пропустить. Асенка не работала самостоятельно, а была на подхвате у медсестры. Подруга врала, не моргнув глазом, и все ради нее. Такой у Аси характер, если пообещала – расширяется, но выполнит.

– Женя, Женя – дважды позвал ее Абраша – ты-то составишь мне компанию. У тебя нет никаких дел?

“Глупец или слепой, – первым мелькнуло в голове, – неужели он ничего не видит, не понимает, не чувствует. Она уже несколько лет ждет этого...”

Однако, сдержав эмоции, скромно ответила:

– Не могу отказать подруге.

– Тогда в пять зайду за тобой. Мы еще до сеанса прогуляемся.

... Женю собирали всем домом. Еще бы: девочка шла на первое в жизни свидание! Мама и сестры давно догадались о ее влюбленности. Домашние видели, как она краснела, когда кто-то ненароком вспоминал Абрашу. С появлением в жениной комнате его фотографии, мама и сестры окончательно утвердились в своих догадках.

Женщины хором обсуждали, какое платье больше украсит девочку. После длительной дискуссии остановились на белом в мелкую голубую полоску. Оно слегка напоминало модную “матроску” и удачно подчеркивало загар. Женя успела здорово загореть, помогая маме в начале лета на огороде.

Как никогда, расщедрились сестры. Одна без слов принесла модные “лодочки” московской фабрики “Парижская коммуна”, привезенные мужем из столицы. Другая сбегала к себе в комнату и вернулась с нарядным газовым шарфиком. Последний штрих добавила мама. Она принесла миниатюрный флакон французских духов и элегантную дамскую сумку – предметы вожделенных мечтаний Жени и сестер. Таких вещей в Бердичеве не было ни у кого.

Это были подарки маминого двоюродного брата Цолика. Для всей родни он являлся таинственной и загадочной личностью. В гражданскую войну его семья погибла в Жмеринке. Он каким-то дивным образом спасся, о чем никогда не говорил. Тогда-то Цолик исчез, и о его судьбе ничего не было известно. Ходили слухи, будто видели его в чекистской кожаной куртке и при револьвере.

Неожиданно объявился в конце двадцатых годов. Элегантный, одетый во все заграничное. Оказалось, что Женина мама – его единственная родственница, пережившая гражданскую войну и голод. Цолик очень дорожил этой ниточкой, связывавшей его с прошлым.

Никто не знал, где он живет. Родственник никогда не оставлял свой адрес и всегда появлялся неожиданно. Обычно его привозил из Киева шикарный лакированный автомобиль. В Бердичеве таких не было. Цолик всегда дарил Жениной семье кучу самых диковинных презентов. Французские духи и сумку мама получила от него в последний приезд.

– Был проездом в Париже, – объяснил он тогда, – дай, думаю, порадовать сестру.

Когда кто-то интересовался, чем занимается Цолик, тот всегда отделивался шуткой или общей фразой.

– В основном коммерцией, – как правило, отвечал он, – продаю все, что плохо лежит.

Семья знала, что родственник свободно владеет несколькими языками. Старшая сестра Жени, дружившая с ровесницами из семьи немецких колонистов и немного знавшая их язык, утверждала, что в один из приездов Цолик во сне говорил по-немецки. Во время последнего визита Женя во дворе сливала Цолику воду на плечи и заметила свежий шрам под лопаткой.

Цолик отлично разбирался в международных событиях. О некоторых рассказывал с таким знанием, будто являлся их участником. Цолик допоздна засиживался с Жениным отцом за стаканом крепкого чая, делясь интересными деталями и подробностями мировой политики, о которых не писали в газетах. Потом отец в синагоге в пятницу после вечерней молитвы пересказывал услышанное.

Дядя, побыв два-три дня в гостях и отогревшись в семейном уюте, как он говорил, исчезал неожиданно, так же, как появлялся.

...Женя придирчиво оглядела себя в зеркало и осталась довольна. Перед ней стояла элегантная и вполне взрослая девушка.

Одна из сестер предложила ей воспользоваться помадой, но мама резко оборвала ее.

– Вы, мои дорогие, с ума сошли, – строго сказала она. – Отец увидит на Жене помаду – убьет нас всех.

Ей и самой не хотелось красить губы. Кому хочется становиться взрослой раньше времени?!

Абраша появился точно в назначенное время. В парадной форме, с медалью на груди. Тепло поздоровался со всеми и галантно остановился перед Женей. Щелкнул по-офицерски каблуками, словно прочитав ее мысли, сложил кольцом левую руку и предложил себя в качестве кавалера.

– Левая для тебя, – шутливо объяснил он, – а правая для отдачи чести старшим по званию. Пока таких большинство...

– Меня устраивает, – тут же нашлась Женя. Она никогда не лезла за словом в карман. – Левая ближе к сердцу.

Под ручку они вышли из дома. На прощанье старшая сестра успела подмигнуть. Мол, все в порядке, хорошо смотрите. Красивая пара.

Она шла по Быстрицкой улице, не чувствуя под собой ног. Казалось, они с Абрашей не идут, а плывут. Он что-то говорил, но она не слышала слов. Она оглядывалась по сторонам, и ей виделось, что вся улица наблюдает, любитесь ими.

Поначалу разговор у них не получался, Женя на все вопросы отвечала невпопад, будто до нее не сразу доходило о чем идет речь. Она даже пару раз поймала на себе недоуменные взгляды Абраши.

“Надо взять себя в руки и успокоиться, – повторяла про себя. – Вероятно, выгляжу идиоткой. Так первое свидание запросто может превратиться в последнее.”

Эта мысль отрезвила ее, Женя, наконец, совладала с эмоциями. В центр города, к дому культуры они пришли, оживленно болтая, перебивая друг друга. До сеанса оставалось время, Абраша предложил полакомиться мороженым.

— Тебе твое любимое клубничное? – спросил он, не предавая особого значения сказанному. Он не мог даже представить, что эти слова вызвали настоящее ликование в душе спутницы. Еще бы: Абраша помнил ее любимое мороженое.

Потом они пили сельтерскую у дяди Изя – легендарной личности Бердичева. Дядя Изя был любимцем детворы. Нигде в городе нельзя было найти такой «газировки», как у дяди Изя. Сироп крышон у него был особенный, и газа дядя Изя никогда не жалел. Пронзительно холодная вода сковывала рот, а мельчайшие шарики газа приятно щекотали нос.

Увидев Абрашу в парадной форме, да еще с медалью (редкость в те времена для Бердичева), дядя Изя высунулся почти по пояс в окошко своего киоска. Оглядев молодого офицера с головы до ног и не обращая никакого внимания на Женю, дядя Изя удивленно спросил:

– Ты наш, бердичевский?

Получив утвердительный ответ, громко объявил, изобразив подходящий случаю жест невиданной щедрости:

– Угощаю!

Женя никогда не пила такой сладкой «газировки», для героического офицера и его дамы дядя Изя не пожалел сиропа.

Абраша смаковал сельтерскую, уверяя, что такой вкусной артезианской воды, как в Бердичеве, нет даже в Москве.

Фильм Женя не запомнила, потому что от начала его и до конца неотрывно любовалась Абрашей. Он для нее был гораздо важнее экранного Марка Бернеса. Только с удовольствием отметила, что у любимого точно такая же парадная форма, как у героев картины.

Абраша, остро переживавший все перипетии фильма, пару раз бросал укоризненный взгляд на нее, жестом предлагая сосредоточить внимание на шедевре довоенного кинематографа. В середине сеанса он даже аккуратно повернул ее голову в сторону экрана. Женя, словно капризный ребенок, мотнула головой. Абраша не стал настаивать. Она любовалась им и про себя твердила, словно заклинание: «Ну, посмотри на меня. Я же рядом, я живая, а не на экране, и очень тебя люблю».

Повторить эти слова вслух Женя не рискнула, но произошло чудо: ее мысли, вероятно, дошли до парня. Во вся-

ком случае, в какой-то момент он оторвался от экрана и внимательно посмотрел на нее. Смотрел считанные секунды, а Жене они показались вечностью. После этого обнял за плечи и прижал к себе. Она наяву прильнула к его голове, как делала это многократно на бабушкиной подушке в своих детских фантазиях, и затихла, не веря собственному счастью. Ей хотелось, чтобы кино никогда не кончалось. Так они просидели до конца сеанса.

Вспыхнувший в зале свет нарушил идиллию. Женя была в растерянности, не зная как себя вести, что говорить. Похоже, Абраша тоже растерялся, не желая разрушить блаженство первого соприкосновения.

Вокруг люди шумно, хлопая сиденьями, вставали с мест, спешили к выходу, а они, словно зачарованные, сидели, прижавшись, друг к другу. Первым очнулся он. Повернул ее голову к себе лицом, они встретились глазами.

Женя не запомнила, сколько длилась пауза. Сердце металось в груди, будто обезумевший маятник, казалось, оно вот-вот вырвется наружу. Каждый удар отдавался в ушах.

Сколько раз за эти годы Женя представляла их объяснение (она всегда знала, что оно рано или поздно состоится!), подбирала правильные слова, что-то меняла, придумывала обстановку, в которой состоится этот главный разговор, но никогда не предполагала, что все получится так просто, даже обыденно.

Они несколько минут в упор рассматривали друг друга, словно виделись впервые, или после долгой разлуки. Потом Абраша хриплым, совсем не своим голосом спросил:

– Ты что?

Не дожидаясь ответа на свой нелепый вопрос, неловко поцеловал ее. В этом поцелуе не было ничего романтического. Во всяком случае, Женя все представляло по-другому.

Спустя много лет, услышав слова песни “если взгляды так нежны – значит речи не нужны”, вспомнила тот вечерний киносеанс.

... Потом на лодочной станции, где в поздний вечерний час было безлюдно, они целовались до потери сознания. Стоило им оторваться друг от друга, она начинала говорить. Говорила без умолку, словно спешила выговорить все, что накопилось на

сердце за эти годы. Спешила сказать все самые ласковые и заветные слова, которые берегла для любимого.

Уже на городских улицах погасли фонари, а они все никак не могли нацеловаться и наговориться. Правда, Абраша говорил мало. Больше злился, называя себя слепцом и глупцом. Тут же, словно в оправдание, клялся, что всегда выделял ее, Женьку, среди Асиных подруг.

В крошечной темноте, не таясь, обнявшись (кто ночью увидит!), они вернулись на Быстрицкую. Когда, поравнялись с Абрашиным домом, кто-то нарочито громко кашлянул. В следующее мгновение вспыхнула спичка. Огонек выхватил из темноты Асю.

– Слава Богу, заявили, – нарочито недовольным, с ехидцей, голосом прошипела она. – Кто гуляет, а кто отдувается. Я тут на два дома разрываюсь: как же, пропал командир Красной Армии, а вместе с ним красивая девица...

Ася на одном дыхании выпалила заранее заготовленную тираду и громко рассмеялась. Смех эхом прокатился по пустынной ночной улице. Она зажгла вторую спичку.

– Что у вас, милые, случилось с губами, – не меняя тона, промолвила сестра. – Я, как медсестра, должна оказать вам первую помощь. Иначе завтра весь Бердичев будет говорить о ваших поцелуях.

Женя и Абраша стояли перед ней, понуриив головы, словно провинившиеся школьники.

Выдержав паузу, Ася радостно сказала:

– Конечно, шучу. Дорогие мои, я вас очень люблю обоих. Даже не представляете как. Слава Богу, вы сговорились и я счастлива.

Ночью Женя не сомкнула глаз. В который раз поминутно прокручивала вечер и никак не могла взять в толк, насколько произошло все произошло.

С утра ее жизнь коренным образом изменилась. На смену ровному до убаюкивания, спокойному и устоявшемуся образу жизни пришел бешеный ритм. Женя вскакивала и до ухода в училище успевала немного помочь маме. Сестры с мужьями уходили на работу раньше. Завтракала на ходу. Через полчаса не помнила, что съела. Потом неслась на учебу. Избыток чувств

и эмоции мешали сосредоточиться. Теперь объектом ее пристального внимания стали старинные часы, с незапамятных времен стоявшие в углу аудитории. Ей казалось, что их стрелки двигаются нереально медленно, но звонок, возвещавший перемену, подтверждал правильность их хода.

После занятий Женя забежала в школу, где должна была позже проходить практику. На библиотеку уже времени не оставалось. Она стремглав неслась домой, чтобы успеть увидеть Абрашу в простой гражданской одежде. Почему-то ей казалось, что роскошная военная форма удаляет его, делает недоступным.

Он надевал форму к вечеру, к тому времени, когда у них дома начинали собираться со всего Бердичева друзья и родственники. Родные дяди и тети вместе с домочадцами, прослышав о приезде племянника, подтягивались даже из Казатина, Винницы и Конотопа.

Абраша с благодарностью смотрел на беспрерывно хлопочущую маму (в доме все дни грудились гости, а со стола не исчезали угощения) и не мог ей отказать быть, что называется, “при параде”. Сидел за столом, отвечал на многочисленные вопросы. Вопросы случались заковыристые, словно он был не лейтенант, а, по крайней мере, генерал из Наркомата обороны.

По настоянию мамы Абрашу передвинули с привычного места на краю стола в центр. Теперь он сидел рядом с отцом, который по такому торжественному случаю приезжал с работы на два-три часа раньше обычного.

Отсидев положенное для приличия время и дождавшись, когда гости перейдут на местные темы, Абраша тихо, не привлекая внимания и не прощаясь, выбирался из-за стола, туда, где его поджидали Ася и Женя.

Сестра провожала парочку до конца улицы и они, наконец, опять оставались одни. На третий день они решили расписаться – но через два года, когда она окончит училище; еще через день договорились сократить этот срок на год. Женя дала слово, что ради того, чтобы быть вместе, сдаст госэкзамены экстерном. Она, не дожидаясь разговора с Абрашей, на всякий случай забежала в учебную часть и оговорила такую перспек

тиву. Ей разрешили экстернат, кто же откажет в любезности отличнице, ко всему прочему – будущей жене командира Красной Армии. Еще награжденного медалью.

Оставалось дело за малым: объявить о своем решении родителям. Для обеих семей оно не оказалось неожиданностью, не стало громом среди ясного неба. У Абраши всю подготовительную работу провела Ася – младшая в семье и любимица отца.

Женины домашние, в первую очередь женская половина, были готовы к такому повороту событий. Более того, с нетерпением его ожидали. Они-то хором убедили главу семьи, в принципе не возражавшего против Абраши, благословить детей. Отцу нравился этот спокойный и рассудительный парень, выросший на глазах. Породниться с его семьей сочла бы за честь любая бердичевская мешпуха.*

Отец, правда, без устали повторял, что его младшенькая – совсем ребенок, но жена и старшие дочери хором убедили. Известно, если еврейские женщины что-то замыслили – их не остановить. В одном он остался неумолим: хупа будет, и все тут.

– Снимет на два часа свою красивую форму, а вместо фуражки со звездой наденет кипу, – безапелляционно закончил он разговор. – Как это делали наши отцы и деды.

Сарафанное радио мгновенно разнесло по Быстрицкой новость: две семьи роднятся. Когда Женя и Абраша вышли из дома, стайка мальчишек и девчонок во все горло стала кричать:

– Женька – колэ**. Жених и невеста тили-тили тесто...

Женя шла, не чувствуя под собой ног. Давно ли она сама кричала влюбленным это. Оглянувшись, заметила, что из окон домов за ними наблюдают любопытные соседи.

По пути они встретили тетю Ципу, которая уже, конечно, была в курсе. Такое событие никак не могло пройти мимо нее.

– Ах, ты, клейнер ганеф**, – похлопала Абрашу по плечу. – Такой гешефт поломал. Никто обо мне, старой, не подумает.

* Родня (идиш)

** Невеста (идиш)

** маленький воришка

В следующее мгновение, не по возрасту лукаво подмигнув Жене, многообещающе сказала:

– Если бы ты, мейделэ, знала, какие у меня на тебя виды были... Одна партия лучше другой, но ты решила стать командиршей. Может, еще генеральшей будешь...

На сей раз, они изменили свой привычный маршрут, отправившись по настоянию Абраши в фотоателье. Он захотел взять с собой фото. К его удовольствию Женя случайно оказалась в том же платье, что и в первый вечер.

Фотограф Фима все понял без слов, с первого взгляда. Немного поколдовал, усаживая пару перед объективом, как всегда попросил следить “за птичкой”. Обычно процедура изготовления фото занимала не меньше недели, но у лейтенанта не было этих семи дней. Через двое суток он отбывал в часть. Он, было, заикнулся попросить Фиму об одолжении, но старый фотограф не дал даже сказать слова.

– Все понимаю, – пробурчал мастер. – Вы не первый. У военных всегда нет времени. Краткосрочный отпуск... Завтра в четыре все будет готово.

Тут же, вскинув руки, воскликнул:

– И не надо меня благодарить. Вы что думаете, Фима всю жизнь был старым фотографом?

... Неделя пробежала, как один день. Она мысленно молила часы не торопиться, сдерживать хоть чуть-чуть время, но оно несло, словно заколдованное. Не успела оглянуться, и вот уже стоит у седьмого вагона, отведенного обычно для военнослужащих. Обе семьи единодушно решили попрощаться с Абрашей дома. На вокзал с ним отправилась одна Женя. Сказалась деятельность, проведенная предусмотрительной Асей.

Они, молча, стоят у ступенек вагона. Над ними с площадки нависает пожилой проводник, время от времени монотонным голосом предлагающий товарищам военным своевременно занять места согласно купленным билетам.

Женя нервно теревит кончик портупеи на груди любимого. Она готовилась к расставанию, запаслась массой нужных слов, но сейчас в самую подходящую минуту слова испарились, стерлись из памяти.

Дежурный по станции ударил в колокол. Его звон эхом прокатился по перрону. На сигнал длинным гудком откликнулся паровоз.

– Я тебя люблю! – громко, так что провожающие, стоявшие неподалеку, обернулись, крикнул Абраша. Поцеловал ее и вскочил на ступеньку тронувшегося вагона.

“Люблю тебя, люблю тебя”. Поезд, набирая скорость, удалялся. Последние слова Абраши еще долго звучали у нее в ушах.

ОН

мысленно перебирал события года, прошедшего после окончания училища. Их было столько, что с лихвой хватило бы на несколько человек. Сейчас в тишине, благо проводник, вероятно, из-за уважения к медали, определил его в пустое купе, под мерный стук колес на стыке рельс, можно было все осмыслить, разложить по полочкам. Главное, попытаться что-то из происшедшего понять. Что именно, он и сам толком не знал.

За этот год ему удавалось считанные часы побыть наедине с собой. Если и выпадали такие минуты, ничего не хотелось. Хотелось только спать. Так что было не до размышлений.

В полку, куда получили назначение он и еще два выпускника училища, ребят встретили тепло и заботливо.

– Не смотрите на свою форму, – объявил после знакомства командир части подполковник Михеев новоиспеченным лейтенантам. Судя по двум орденам, Михеев был опытным боевым летчиком. – Вы еще не сталинские соколы, а едва оперившиеся птенцы. Посему прикрепляю вас к первой эскадрильи. Ее командир капитан Полухин – большой мастер делать из таких, как вы, настоящих летунов.

Помимо Абраши и его однокашников Полухин будет готовить еще троих выпускников другого училища.

В офицерском общежитии, куда определили вновь прибывших, тут же нашлись знакомые. Во-первых, встретили ребят, на год раньше окончивших училище. Во-вторых, нашлись те, с кем познакомились на армейских соревнованиях волейболистов. Абраша два года играл за сборную училища.

Через несколько часов они знали все о своем первом командире. Он был офицером еще царской армии. Окончил в Петербурге привилегированное Константиновское артиллерийское училище. Случайно в Гатчине познакомился с Петром Николаевичем Нестеровым – одним из первых российских пилотов и “заболел” авиацией. Когда Полухин узнал, что Нестеров тоже выпускник артиллерийского училища, только Михайловского, твердо решил стать авиатором.

После энного количества рапортов армейскому командованию, Полухина зачислили в авиаотряд пилотом-наблюдателем. В этом качестве Полухин начал первую мировую войну. Вскоре стал летать самостоятельно. Бомбил германские окопы, сбил дирижабль “Цеппелин” с наблюдателем на борту. За это был награжден орденом св. Георгия и получил очередное воинское звание.

Потомственный дворянин штабс-капитан Сергей Полухин с первого дня безоговорочно принял революцию. В гражданскую войну воевал против белых на разных фронтах. Потом остался в армии.

Так и не обзавелся семьей. При случае шутил, что женат на авиации. Долго ходит в комэсках, хотя многие, с кем начинал Полухин, уже занимали высокие посты. Вероятно, продвижению по служебной лестнице мешало дворянское происхождение.

Правда, когда потребовалось знание иностранных языков, а капитан свободно владел французским и немецким, кадровики-чекисты закрыли глаза на его дворянство. Отправили добровольцем на помощь республиканцам в Испанию. Эскадрилья “ишаков” комэска Полухина прикрывала Барселону. У противника в небе было явное превосходство. В этой ситуации комрат Серджио (так называли его каталонцы) применил тактическую хитрость: постоянно менял дислокацию своего небольшого подразделения, создавая видимость большого отряда республиканской авиации. Благо в окрестностях каталонской столицы размещалось много аэроклубов.

В бою над Тарагоной он открыл свой испанский боевой счет – завалил итальянский бомбардировщик Carroni. Буквально через три дня капитан Полухин совершил невероятное: про-

рвался, обманув звено истребителей сопровождения, к бомбардировщику Fiat Cicogna и почти в упор расстрелял его. Итальянец направлялся с бомбовым грузом к порту каталонской столицы. Там под разгрузкой стояли два советских судна “Зырянов” и “Нева”, доставившие оружие защитникам осажденного города.

Познакомиться с комратом Серджио Полоном – официальный испанский псевдоним Полухина – прилетел из Мадрида генерал Дуглас, главный военный советник республиканского правительства, легендарный Яков Смушкевич.

Полухина представили к званию Героя Советского Союза, но, судя по всему, опять помешало происхождение: наградили орденом Красного Знамени.

В ранней авиации, когда на бортах еще не было радиосвязи, все команды в воздухе отдавались условными движениями машины. Легким покачиванием крыльев командир отдавал приказ “Делай, как я”, то есть повторяй мой маневр. Его без слов понимали все, кто был в воздухе. Комэск один (так он фигурировал в официальных рапортах) придерживался этого принципа и на земле. Учил молодых ребят личным примером. Никогда не повышал голос, терпеливо мог объяснить одно и то же дважды, а порой – и три раза.

Полухин жил бобылем (это необычное русское слово Абраша узнал от командира). Занимал отдельную комнату в офицерском общежитии, где молодые пилоты жили в таких же комнатах вдвоем или втроем. Так что Полухин был постоянно со своими подопечными, с коротким перерывом на сон.

Никто из подчиненных не слышал из уст капитана ни одного бранного слова. Хотя мат в авиации считался особым шиком. В присутствии комэска Полухина самые отъявленные матерщинники, как например техник Смирнов, не умевший говорить без матерных оборотов, вели беседы исключительно на литературном языке. Смирнов, правда, иногда прикрывал рот рукой, видимо, сквернословя мысленно.

Учил Полухин так, чтобы они, юнцы, вышли живыми из любого боя. Абраше на всю жизнь запомнился первый урок комэска. Он собрал шестерку не на летном поле, а в учебном классе. Из окон комнаты были хорошо видны выстроившиеся в ряд истребители.

– Не смотрите с тоской на машины. Придет время – будете летать, – начал капитан. – Сейчас слушайте и постарайтесь запомнить навсегда. Цена ошибки – жизнь.

Полухин помолчал, словно давал время осмыслить важность сказанного.

– Ведущий и ведомый – два человека, но в воздухе они – один организм, один мозг, одна душа, – продолжал он. – Это главный закон истребительной авиации. Теперь, когда вы его узнали, поиграем в игрушки.

С этими словами капитан достал из командирской сумки два самолетика. Взяв их в руки, он стал изображать движение пары машин в воздухе. Правая рука имитировала полет ведущего, а левая, словно привязанная, повторяла все виражи и маневры, следуя с самолетиком за ней.

Комэкс покружил на глазах лейтенантов несколько минут и остановился. Подозвал двух из них и вручил модели.

– Ты – ведущий, а ты – его ведомый, – распределил роли, велел повторить показанное.

Задание всем показалось ерундовым, но на самом деле, уже через полминуты на вираже ведомый “потерял” командира.

– Теперь следующая пара, – приказал Полухин, не комментируя ошибку. Вероятно, по опыту знал, что так будет.

– Поочередно играйте в самолетики, – сказал он, усевшись на стул. – Я буду наблюдать. Когда из вас получатся пары, и вы будете, как иголка с ниткой – отправимся туда.

Комэкс выразительно кивнул в сторону окна.

– В училище вас учили летать и выполнять фигуры высшего пилотажа. Я должен научить вас воевать и возвращаться невредимыми на свои аэродромы.

Поначалу ребята не восприняли всерьез упражнение с моделями, но постепенно втянулись и на второй день тренировок даже почувствовали вкус игры. Командир внес соревновательный элемент в учебу. Определил три тройки и на старте каждой из них включал секундомер.

Абраше досталась роль ведомого. Его партнером стал Толя Стоянов. Полухин седьмым чувством увидел в Стоянове прирожденного ведущего. Толя в училище летал лучше всех. Первый день оказался трудным, Абраше никак не удавалось

приноровиться к финтам напарника, но на второй день неожиданно пришло озарение: Абраша стал интуитивно угадывать, куда в следующее мгновение нырнет рука ведущего. Именно этого добивался командир. Потом игры продолжились на боевых машинах в воздухе, когда Полухин разрешил новичкам приступить к полетам.

Несколько раз за тренировками наблюдал командир полка. Абраша сам однажды слышал, как Михеев торопил комэска.

– Тебе не хуже моего известно, – говорил Михеев, – в какие времена живем. Завтра может этим пацанам предстоит настоящий бой...

Полухин согласно кивал головой, но просил дать еще хотя бы пару недель.

Через полмесяца их распределили по эскадрильям. Пятеро новичков, в том числе он, Абраша, стали ведомыми и лишь Толю Стоянова командир полка, по представлению Полухина, назначил ведущим. Ребята от души поздравили товарища. Они были единодушны во мнении: лейтенант Стоянов – пилот с датками аса.

Полгода спустя молодые летчики прочно вжились в офицерскую среду и перестали быть новичками. Летали наряду с бывальыми летчиками, привыкли к ритму армейской жизни.

Шел ноябрь тридцать девятого года. На очередном построении командир полка отметил старания последнего пополнения и пообещал всем шестерым краткосрочный отпуск на новогодние праздники.

Ребята бурно обсуждали новость. Все, как один, решили ехать домой, к родным. Абраша не поспешил обрадовать своих, желая сделать приятный сюрприз. Ему, словно в кино, представлялось, как все будет, кто из домашних что скажет и делает. Он постучит в дверь дома, и ее обязательно откроет мама. Она всплеснет руками, которые наверняка будут в муке или еще в чем-то.

Когда он мысленно представлял ее, мама всегда виделась у большой русской печи, занимавшей полкухни. Неудивительно, в семье кроме Абраши было еще семеро детей, и никто не жаловался на отсутствие аппетита.

Мама, конечно, поцелует его, непременно крикнет:

– Гиб а кук, вер сиз гекумен *...

Все, кто будут дома, выскочат, начнут его обнимать и целовать. Конечно, было приятно дать волю своим фантазиям, но он оборвал их.

Было самое время подумать о гостинцах для домашних. Он не смел нарушать традицию, заведенную отцом. Даже в тяжелые двадцатые годы глава семьи никогда не возвращался домой из поездок с пустыми руками. Каждому обязательно что-то перепадало. Пусть небольшой, но подарок.

Старший брат и сестры, уже имевшие собственные семьи, продолжали заведенный порядок. Теперь его, Абрашин, черед. Год назад, когда он ездил в отпуск из училища, тоже вез всем гостинцы. Купил на сэкономленные из скромного курсантского жалования деньги. Теперь сам Бог велел запастись настоящими подарками. Офицерское жалование позволяет. Он твердо решил посвятить ближайшее воскресенье покупкам.

Неожиданно в пятницу вечером в офицерское общежитие влетел посыльный боец. С порога прокричал приказ командира полка четверем молодым летчикам немедленно явиться в штаб. Среди перечисленных была Абрашина фамилия.

... В кабинете кроме подполковника был и комиссар полка – батальонный комиссар со странной фамилией Богиня. Естественно, фамилия комиссара была постоянным объектом шуток полковых остряков.

– Временно направляетесь в распоряжение командующего авиацией Ленинградского военного округа, – командир полка был предельно краток. – Срок командировки не определен. Проездные документы и жалование на три месяца вперед получите у начальника штаба. Вам надлежит явиться на аэродром в Гатчину. Старший группы – лейтенант Стоянов.

Толя взял под козырек. Теперь вперед выступил комиссар. Он долго что-то говорил про международное положение, о происках врагов нашей страны и еще что-то. Абраша его не слушал. В душе похвалил себя, что в последнем письме не написал о предстоящем отпуске. (С той поры – четверть века армейской службы – никогда не строил планов на будущее, твердо усвоив истину: офицер не принадлежит себе).

* Посмотрите, кто приехал (идиш)

Когда лейтенанты выходили из кабинета, подполковник вдогонку сказал:

– Родным о командировке не сообщать. Естественно, и о том, что возможно вам предстоит. Адрес вашей полевой почты прежний.

В коридоре штаба ребят ждал встревоженный Полухин. Едва дождавшись, когда будут выполнены формальности, связанные с командировкой, комэск заговорил:

– Это Финляндия... Судя по газетам, там вот-вот начнутся боевые действия. Я финнов немного знаю, со мной в училище в одном взводе было двое. Они парни молчаливые, но упертые и драчуны отменные. Думаю, пилоты тоже неплохие. Все будет в порядке, если вы будете руководствоваться поставленной боевой задачей.

Капитан внимательно посмотрел на своих подопечных, словно хотел по выражению их лиц понять, помнят ли они все, чему он их учил.

– Повторяю: если вы сопровождаете бомбардировщики – все внимание им, – сказал по слогам, как учитель в школе объясняет сложный материал. – Никаких соблазнов легкой добычи. Это может быть имитация, уловка, подстава. Не думайте о звездах на фюзеляже.

Полухин имел в виду традицию каждый сбитый самолет отмечать звездой на борту самолета.

– Это относится в первую очередь к вам, лейтенант Стоянов, – строго сказал он. – Вы – увлекающаяся натура.

– Вы, лейтенант, – капитан внимательно и испытующе посмотрел на Абрашу, – если ведущий по каким-либо причинам покинул эскорт, обязаны, повторяю, обязаны сопровождать бомбардировщики и вместе с ними выполнить главную боевую задачу.

Полухин обернулся к двум другим молодым пилотам, также отправляющимся в командировку:

– Все вышесказанное в полной мере относится и к вам.

Они согласно кивнули головами. Комэск задумался, сообщая, что еще он может подсказать ребятам.

– Я этот район знаю, как свои пять пальцев. В Гатчине начинал летать еще на “Фармане”, – сказал он. – Летал там, когда Финляндия была частью Российской импе...

Капитан осекся и тут же поправился:

– Когда она была частью Российского государства. Район коварный: слева Балтика, справа –Ладога. Погода за день меняется несколько раз. Редкий день без облачности. Не то, что здесь на Украине.

Из каждого облака может вывалиться враг. У финнов самолетов не много, они будут уповать на внезапность атаки. Поэтому непрерывно на 360 градусов крутить головой.

Полухин выразительно сделал указательным пальцем круговое движение.

В Гатчине на вокзале их ждала “полуторка”. Ехали в кузове, прижавшись, друг к другу. Зима тридцать девятого года была на редкость студеной.

Майор в штабе соединения, которому представились прибывшие, встретил их хмуро, на полуслове оборвал рапорт Толи Стоянова:

– Где ваши унты, куртки, меховые рукавицы? Как вы летать собрались? В шинельках?

Четверка лейтенантов только развела руками. Им действительно ничего перед отъездом не выдали.

– Вас что, в Сочи на курорт отправляли? – продолжил майор.
– В сапогах много не налетаешь...

Он тут же позвонил какому-то интенданту, поручил утеплить прибывших пилотов. На складе капитан интендантской службы обескураженно развел руками. Полки пакгауза сияли пустотой.

– Легко сказать “утепли парней”, – вздохнул он – если бы майор еще указал, где взять эту амуницию...

Вдруг капитан что-то вспомнил, пошел в дальний угол склада и скрылся в каморке. После недолгого отсутствия интендант вернулся с ворохом одежды. Он вручил каждому из четверки по выдавшей виды замасленной куртке, судя по всему ношенной техником или механиком, и по грубому плотному шерстяному свитеру.

– Вам же, хлопцы, не на свидание бегать. Зато теперь не замрзнете. Правда, с унтами вышла неувязка.

На следующий день летчиков распределили по эскадрильям. Стоянова и Абрашу сохранили парой. Сюда, в Гатчину, помимо них прибыли пилоты из разных частей, тоже недавние

выпускники летных училищ. Создавалось впечатление, что командование решило воспользоваться реальной возможностью проверить молодняк в боевых условиях, дать ему возможность пройти обкатку и набраться опыта, который вскоре может пригодиться. В тридцать девятом в Европе уже запахло большой войной.

Первый полет Абраша толком не запомнил. Он, как наказывал Полухин, не переставая крутил головой на триста шестьдесят градусов, стараясь не выпускать из виду идущую впереди машину ведущего, а справа по борту – эскортируемый бомбардировщик. Даже не заметил, как пересекли линию фронта. Ему даже не пришло в голову хоть раз взглянуть, что происходит на земле.

Следующий полет прошел уже по-другому. Он почувствовал в себе уверенность и спокойствие, исчезла нервная дрожь, мешавшая сосредоточиться. К сожалению, боевых вылетов было немного. На аэродроме число пилотов, прибывших из разных частей, значительно превосходило количество самолетов. Погода также часто мешала истребителям подняться в воздух. В таких случаях бомбардировщики шли на предельной высоте без сопровождения.

Финская авиация практически не предпринимала ответных рейдов. Судя по всему, перед ней была поставлена предельно четкая задача: охранять свое воздушное пространство. Логика финнов легко объяснялась – у русских многократное превосходство в воздухе. Изредка над советской территорией появлялись одиночные самолеты-разведчики, пытавшиеся отследить передвижение войск на земле.

Ходили слухи, что война вот-вот кончится. Осведомленные лица шепотом утверждали, что где-то идут переговоры между воюющими сторонами, а на земле армия предпринимала одну за другой попытку прорвать линию Маннергейма – финский оборонительный вал. Наши бомбардировщики изо дня в день утюжили его укрепления. Бомбардировки не стихали даже в новогодние праздники.

Шестое января стал черным днем для наших летчиков. Абраша его запомнил на всю жизнь. Непогода не позволила истребителям сопровождать бомбардировщики. Семь тяжелых

машин на большой высоте взяли курс на Выборг и Хельсинки. Финны не дали им долететь до цели. Два звена вражеских перехватчиков встретили бомбардировщики за линией фронта и методично, словно на маневрах атакуя, сбили один за другим семерку краснозвездных машин.

Командир Гатчинской авиабазы, которому, вероятно, досталось за бездействие истребителей, был взбешен. Перед строем летного состава он предупредил, что больше не желает слышать о погоде. Летать и все.

– Какие вы к черту сталинские соколы, – этой тирадой закончил он свое выступление.

Больше всего Абрашу тогда удивило, что Всесоюзное радио и словом не обмолвилось о трагедии, случившейся в балтийском небе. По-прежнему звучали исключительно победные сводки. Сообщалось об энских подразделениях, подавивших долговременные огневые точки, о разведчиках, совершивших смелый рейды в тыл врага.

На следующий день он внимательно, стараясь ничего не пропустить, слушал радио и опять ни слова не услышал о гибели семи тяжелых бомбардировщиков.

“Как же так, ведь там погибли семь экипажей – более тридцати человек, – не переставал удивляться Абраша. – Погибли по чьей-то халатности. Неужели они не заслужили доброго слова...”

Он все ждал и надеялся, что услышит хоть короткое сообщение о трагическом рейде бомбардировщиков или хотя бы прочтет об этом в армейской газете, если известие о случившемся не дошло до Москвы.

Шли дни. Четвертый, седьмой, а умалчивание продолжалось. Даже летчики базы, знавшие о гибели семи самолетов, избегали обсуждать происшествие. Все вели себя так, будто ничего не произошло. Пытаясь осмыслить происходящее, он вдруг осознал, что стал свидетелем странной ситуации. Не требовалось особой прозорливости, чтобы понять: армия вступила в войну явно не подготовленной. В условиях суровой зимы винтовки устаревших образцов не стреляли. Пехотинцам не хватало лыж, без которых было трудно передвигаться по заснеженному лесу. Зато у финнов их имел каждый стрелок. К

тому же финны с детства были прекрасными лыжниками. Танки оказались бессильны в карельских лесах.

Пехота не имела удобной и теплой зимней амуниции, в какую была одета финская армия. Буденовка и шинель на рыбьем меху не грели. Трофейная зимняя куртка вражеского солдата, легкая, но очень теплая, финские ботинки ценились на вес золота. Не случайно с передовой обмороженных привозили больше, чем раненных.

Не обошла эта беда и летчиков. Абрашин напарник Толя Стоянов в очередном полете отморозил в сапогах пальцы правой ноги. Поначалу ребята по настоянию Толи не доложили начальству о случившемся, сами попытались помочь пострадавшему, прибегая к доморощенным средствам. Их усилия оказались безрезультатными – Стоянова отвезли в госпиталь. Вердикт врачей был суров: немедленная ампутация пальцев.

Первый ведущий Абраши не вернулся в часть к товарищам. Он был комиссован вчистую. Уже после Великой Отечественной войны Абраша узнал, что в сорок первом Толя добился права летать. За форсирование Днепра ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Командир эскадрильи капитан Стоянов был сбит в сорок четвертом в небе над Кенигсбергом.

Странно, но среди обмороженных часто попадались и командиры, несмотря на то, что они, начиная со взводных, были одеты в полушубки. Свет на ситуацию пролил офицер с передовой, случайно заночевавший на аэродроме в ожидании транспортного самолета из Москвы.

Оказалось, финские снайперы – “кукушки”, как их прозвали наши солдаты за позиции, оборудованные в кронах деревьев, быстро разобрались “кто есть кто”. Белые полушубки стали для них прекрасным ориентиром. Снайперы начали подлинную охоту на командиров. Поняв причину потерь среди офицерского состава, те спешно стали переоблачаться в ватники и телогрейки. Лучше быть обмороженным, чем убитым.

Зато в газетах и по радио все было по-другому. Тогда ему, Абраше, пришла крамольная мысль о войне в двух измерениях. Естественно, мысль была сокровенная, и он предпочел ей ни с кем не делиться.

Двенадцатого марта, наконец, пришла весть о подписании мирного договора. Еще через неделю все прикомандированные отправлялись по своим частям. Накануне отъезда состоялось построение личного состава базы, на которое приехал выпившийся из госпиталя Стоянов. За время отсутствия он здорово изменился. Поседел, ходил, опираясь на трость.

Генерал из штаба округа поздравил летчиков с победой и вручил награды. Командование базы и командиры эскадрилий получили ордена, а молодняк – медали "За боевые заслуги". Правда, лейтенанту Стоянову, вероятно, в виде компенсации за инвалидность вручили высшую по статусу медаль "За отвагу".

На прощанье, задержав построение, выступил особист базы. Его речь была предельно лаконичной. Суть сводилась к рекомендации меньше болтать о том, что видели на войне.

Странное чувство одолевало Абрашу, рассматривавшего свое отражение в зеркале. Вроде первая награда должна радовать, ободрять молодого офицера. Тем более, что медали учреждены совсем недавно, и пока награжденных мало. Однако у него не исчезало ощущение, что участвовал в чем-то нечистом и непристойном, а медаль не награда, а плата за соучастие и молчание.

Он дал себе слово любой ценой избегать разговоров о награде. На все вопросы отвечал односложно, удачно скрываясь за спасительной формулировкой «военная тайна». Гипнотическое воздействие медали он испытал в очередной раз несколько часов назад, когда садился в поезд. Старый проводник, вероятно, повидавший на своем веку царских офицеров, увешанных знаками военной доблести, сразу проникся уважением, увидев медаль. Усадил его в пустое купе, а когда поезд тронулся, по личной инициативе принес стакан ароматного, крепко заваренного чая и блюдечко с вкусными сухарями.

– Дай, думаю, побалую нашего славного защитника, – объяснил проводник свое появление.

Помимо сомнения и досады в душу закралось неприятное ощущение, что вокруг что-то происходит не так. Самое главное – он сам себе не мог объяснить что именно. Это ощущение усугубила история Полухина.

Прямо с вокзала Абраша с товарищами отправился в расположении полка. Как положено, доложив в штабе о прибытии, он поспешил в свою эскадрилью. В крохотной комнатенке комэска вместо Полухина сидел незнакомый майор.

– Я ваш новый командир майор Реутов, – сказал он замешкавшемуся с рапортом Абраше. – Вас, вероятно, не успели поставить в известность товарищи.

Выслушав доклад лейтенанта, комэск задал ему несколько общих вопросов о командировке. Абраша ответил коротко, не вдаваясь в подробности. Аудиенция продолжалась не более пятнадцати минут. Выскочив из кабинета, он бросился к дежурному по эскадрилье.

– Где Полухин? – спросил Абраша, даже не поздоровавшись.

– Отбыл, – неопределенно ответил тот. По его непроницаемому виду стало ясно, что бесполезно пытаться выбить из дежурного хоть какую-то информацию.

Вечером в офицерской столовой на ужине царила привычная атмосфера. Ничего не изменилось. Летчики шутили, над кем-то подтрунивали, вздыхали по девушкам, оставшимся в городе без их внимания. Все было, как обычно. Как было вчера, три дня назад, как было, когда с ними был Полухин. Никто не вспоминал его. А был ли он вообще или капитан – плод его буйной фантазии? Казалось, какой-то искусный маг стер комэска из коллективной памяти. От этого всеобщего умолчания пахло чем-то неприятным и даже зловещим.

Оценив ситуацию, он оставил попытку разузнать хоть что-то о судьбе командира, сознавая, что его любопытство может дорого обойтись. Однако случилось, как часто случается в жизни. Когда перестаешь что-то искать – оно неожиданно само находится.

Через несколько дней Абраша отправился в город за подарками для семьи. Теми самыми, которыми не успел запастись до командировки на войну. Слава Богу, на сей раз приказ об отпуске был подписан и даже билет уже находился в кармане. У автобусной остановки столкнулся с однокашником по училищу лейтенантом Труновым.

Они учились в одном взводе, отношения были ровными, взаимоуважительными, но друзьями их нельзя было назвать. Михаил был москвичом, а провинциалу Абраше все столичные жители казались надменными, поэтому он сторонился Трунова. Случилось так, что в училище перед экзаменом по самолетным двигателям преподаватель поручил Абраше подтянуть отстающего по этой дисциплине товарища.

В общении Михаил оказался простым, лишенным какого-то ни было зазнайства и гонора. Он внимательно слушал объяснения и не обижался на Абрашу, заставлявшего по несколько раз повторять материал, разбирать и снова собирать отдельные узлы двигателей, которых на стеллажах учебного класса было великое множество. Экзамен тогда курсант Трунов успешно сдал и после этого случая полушутя-полусерьезно называл товарища учителем.

Михаил от души обрадовался неожиданному попутчику. Всю дорогу расспрашивал Абрашу о боевых действиях на финском фронте. Абраша рассказывал, следуя прощальным рекомендациям особиста, не вдаваясь в детали, усвоив уроки умолчания. Больше говорил о климатических трудностях коварного балтийского неба, о тактике и повадках финских летчиков. Трунов слушал с большим интересом, внимательно, лишь изредка перебивал наводящими вопросами.

Когда они сделали покупки, Трунов предложил отправиться в парк. Там он знал уютную торговую точку, где можно было побаловаться пивом и неплохо закусить. Точка оказалась крохотным павильоном на поляне, вокруг которого, словно грибы, были разбросаны столики. Несмотря на выходной, было малоллюдно. Видать, любители пива к этому времени разошлись.

Ребята взяли по паре кружек пива и большое блюдо раков. Столик заняли в дальнем уголке, в тени. Сначала несколько минут молча пили прохладный напиток, сдувая обильную пену. Потом Михаил учил Абрашу есть раков. Ему не доводилось ранее пробовать этих чудовищ. Он даже не мог представить раков в их доме в Бердичеве.

Неожиданно, без всяких предисловий, Трунов задал странный вопрос:

– Ты в армию надолго ? Или так, временно, проездом?

Получив утвердительный ответ, резко сказал:

– Тогда научись держать язык за зубами. В армии легче служить, когда по любому поводу говоришь “Есть” и под козырек. Мне это хорошо известно.

Абраша знал, что Михаил из семьи профессиональных военных. Отец и дядя – генералы. Первый служит в Наркомате обороны, а второй – важный чин в штабе Киевского военного округа.

Оглядевшись, хоть никого не было поблизости и, понизив голос, сказал:

– Хоменко, дежуривший в день твоего возвращения, уже наступал особисту, что ты интересовался Полухиным. Сам случайно слышал.

Там же в парке Трунов поведал историю комэска.

...В Испанию он пробирался с французским паспортом через Марсель, где сошел с парохода “Тимирязев”. Не успел покинуть территорию порта, как его кто-то окликнул:

– Сергей! Боже мой, конечно, это ты!

Полухин не мог поверить собственным ушам. Нет сомнений, это был голос двоюродного брата Якова Полухина. Они были ровесниками, вместе учились в Константиновском училище. Яша был на два месяца старше, поэтому, чтобы не путать, командиры именовали брата Полухин-первый, а его, Сергея, Полухин-второй. Последний раз они виделись в Петербурге, вместе встречали у деда новый 1917 год, приехав на короткую побывку с фронта. Двадцать лет он ничего не знал о судьбе Якова.

Оба безумно обрадовались неожиданной встрече. Оказалось, что Яша воевал в белой армии, эмигрировал и служит коммивояжером в фирме, торгующей велосипедами. В Марселе по делам.

Сергей, в интересах конспирации, назвался механиком “Тимирязева”. Благо пароход стоял на виду у причала. Яков затащил брата в портовое бистро. Они съели по тарелке буйабеса и выпили бутылку вина. На прощанье Полухины здесь же, в порту сфотографировались на память.

На самом деле оба брата слукавили. Сергей пробирался в республиканскую Барселону, а Яков – активный член бело-

эмигрантского Российского общевоинского союза тоже спешил в Испанию, только в Сарагосу, чтобы присоединиться к своему бывшему командиру генералу Фоку, сражавшемуся на стороне Франко против республиканцев. В армии фалангистов воевало около ста русских офицеров и генералов – монархистов.

Оба Полухина достигли своей цели. Только Сергею повезло больше, чем брату. Он, сбив два вражеских бомбардировщика, с боевым орденом вернулся на родину. Яков навсегда упокоился в испанской земле.

Подразделение, в котором воевали Фок и Полухин, попало в окружение. Две недели рота франкистов сдерживала яростные атаки республиканцев, стремившихся любой ценой захватить господствующую высоту. Они ворвались на позицию, когда пали три последние ее защитника – испанский капрал и два русских дворянина.

Когда республиканцы обнаружили, что двое убитых, судя по документам, русские, они передали найденные при них бумаги представителю НКВД в Испании. Все документы, естественно, отправились в Москву. Таким образом, на Лубянку попал бумажник Якова с фотографией, запечатлевшей счастливых братьев.

Пока республиканская Испания сражалась, эти документы лежали мертвым грузом, невостребованные. Когда Франко победил и все так называемые “советские добровольцы”, включая энкавэдэшников, покинули страну, к бумагам белогвардейцев-франкистов был проявлен интерес. Тогда-то и всплыл на свет злополучный снимок. Началась по всем правилам чекистского заведения раскрутка летчика-орденоносца.

– Понимаешь, – почти шепотом рассказывал Трунов, – его арестовывать приехали четверо в кожаных пальто. Забрали прямо с крыла приземлившегося самолета, на глазах у всей эскадрильи.

Михаил яростно грохнул кулаком по шаткому столику. Пустые пивные кружки, подпрыгнув, откликнулись звоном.

– Командира объявили итальянским шпионом. Якобы при участии брата он был завербован разведкой Муссолини.

– Как же так, – не выдержал Абраша, – всем известно, что на глазах защитников Барселоны капитан сбил два именно итальянских самолета.

– В том-то и дело, – пояснил Трунов, – по версии наших контрразведчиков итальянцы умышленно пожертвовали двумя устаревшими самолетами ради усиления позиций и авторитета своего агента. Надеялись, якобы, что он получит звезду Героя и займет высокий пост в наркомате или штабе ВВС.

– Подожди, – не унимался опешивший от избытка неожиданно нахлынувшей информации Абраша, – но в этих бомбардировщиках были экипажи...

– Послушай, – кто считается с людьми в такой игре, а потом ты даже не представляешь, что могут придумать в НКВД. Заруби на носу и помалкивай.

По сведениям моего дяди, Полухина увезли в Москву. Там, судя по всему, собирают жертв для очередного процесса. Вероятно, будут судить виновников поражения Испанской республики. Ведь главное – найти козлов отпущения.

... Обрато в часть в автобусе ехали молча. О чем говорить, когда все сказано. Да и тема не подходящая для автобуса, ушей много.

Всю дорогу Абраша думал, как сохранить память о первом командире. Да так, чтобы это не бросалось в глаза. Мысленно перебрал все: его привычки, повадки, но ничего подходящего не нашел. Книгу Гарсия Лорки перед отъездом в Гатчину вернул, карту местности с его пометками, как положено, перед командировкой сдал.

Долго думал и все-таки придумал. Унаследовал привычку Полухина все финансовые приходы и расходы переводить на стоимость французских булочек. Цену пачки папирос или автобусного билета, выигрыш в преферанс... Потом, когда в эпоху борьбы с космополитизмом французские булочки переименовали в городские, Абраша продолжал этот нелепый пересчет, вызывая улыбки, а порой и насмешки окружающих. Он не реагировал на это. Не будет же каждому объяснять, что таким необычным образом хранит память о капитане Полухине.

Разговор с Труновым случился как нельзя вовремя. Он прозвучал, словно последний звонок в театре. Вскоре, в один из вечеров его вызвал к себе майор – полковой особист.

Долго пытал Абрашу о Полухине. Его интересовало все: кто из офицеров части был близок с комэском, поручал ли он

командированным с кем-то встретиться или что-то передать в Гатчину, что рассказывал об Испании, не упоминал ли при этом имя Яков... Вопросов было множество. От волнения он половину забыл, но отвечал предельно медленно, обдумывая каждое слово, стараясь быть односложным. Со стороны, наверно, выглядел тугодумом и ограниченной личностью. Как кстати пришелся совет однокашника держать язык за зубами.

На прощанье майор произнес зловещую фразу, от которой Абраше стало не по себе.

– Иди, лейтенант. Пока свободен.

Ему казалось, что со дня на день придет его черед, что, скорее всего, под каким-то благовидным предлогом отстранят от полетов. Если такое случится – надо быть готовым к худшему, значит, его судьба решена. На удивление, все неделю летал, даже больше обычного.

В один из дней у офицерской столовой встретил майора-особиста, как положено отдал честь, тот в ответ козырнул, даже не взглянув в его сторону. Будто особому отделу нет никакого дела до лейтенанта, которого несколькими днями ранее там допрашивали с пристрастием.

Безразличие особиста немного успокоило. Месяц до отпуска пробежал незаметно, в хлопотах. Вот, наконец, он сидит в вагоне поезда, который через несколько часов привезет его в Бердичев. Сидит в купе, пьет остывший чай с лимоном, любезно поданный старым проводником.

Абраша мысленно прокрутил все, что произошло с ним за этот насыщенный событиями год, постарался отбросить прочь все негативное. Все хорошо и жизнь прекрасна. Он, лейтенант, летчик, впервые едет домой на побывку.

Он надеялся, что дома в кругу самых близких, наконец, выветрится из памяти война и нелепая, полная трагизма, судьба Полухина, вычеркнутого из памяти целого полка каким-то злым волшебником. Удивительно, но избавление от тягостных мыслей, не дававших покоя, пришло неожиданно и совсем не оттуда, откуда Абраша ожидал. Женька, которая еще год назад воспринималась, как сопливая девчонка, не вошла, а ворвалась в его жизнь, отодвинув на задний план все проблемы и заботы. Был ли он готов к такому повороту событий?

Безусловно, был. Ответить иначе – означало бы лицемерить. В двадцать один год свободное мужское сердце должно, просто обязано откликнуться на призыв молодой, красивой, приятной во всех отношениях девушки. Женька была именно такой.

По жизни он не был обделен женским вниманием. Типично еврейский парень, нос с пикантной горбинкой, смуглый, с красивой волнистой шевелюрой, с большими карими глазами, он выделялся среди своих товарищей – сначала курсантов, потом и летчиков, запал в сердце многих девушек. Кстати, горбинка на носу была приобретена ненароком. В восемь лет мальчик, передвигавшийся по дому исключительно бегом, напоролся на самовар в руках старшей сестры. Последствия столкновения остались на лице на всю жизнь. В детстве Абраша стыдился своего носа. Со временем комплекс прошел, а девушкам горбинка казалась симпатичной.

На первом же вечере в училище на него обратила внимание миловидная девушка, оказавшаяся дочерью начальника летной подготовки учебного заведения. Она сама подошла к Абраше и представилась. Ее звали Линой. Узнав, что молодой курсант не умеет танцевать, взялась его обучать. Он безбожно давил девушке ноги, но она терпела и улыбалась.

Лина оказалась деятельной особой, несколько раз приглашала его в кино и домой. Они даже однажды поцеловались. Как будто прощаясь. Перед окончанием училища ее отец предложил ему остаться в качестве летчика-инструктора, судя по всему, он одобрял выбор дочери. Абраша не принял предложения, обидев тем самым Лину. Она даже не попрощалась с ним.

В полку у него появились сразу две пассии: медсестра, проверявшая состояние пилотов перед полетами, и хлеборезка офицерской столовой. Медсестра Света всякий раз находила предлог задержать молодого летчика, вынудить его лишний раз заглянуть в медпункт. Пару раз предлагала вместе провести воскресенье в городе. Старалась привлечь внимание к своей персоне, но делала это тонко и ненавязчиво.

Лена, работница столовой, в отличии от медсестры, не скрывала своих чувств и практического интереса. Разузнав, что Аб-

раша любит хлебные корки, специально для него обрезала самые ароматные и выпуклые краюхи. Еще их и поджаривала в духовке. Стоило Абраше с товарищами занять свой столик, как в зале появлялась Лена с тарелкой подсушенных горбушек. Ребята по-доброму подтрунивали над ним. Мол, девушка, таким образом, демонстрирует, как сохнет ее сердце.

Абраша вел себя, словно истинный джентльмен, не позволяя даже безобидного флирта и не оставляя обеим барышням никаких шансов.

Он хорошо помнил последнее напутствие отца перед отъездом в училище. Глава семьи сказал тогда одну короткую фразу, но сколько в ней было смысла.

– Помни, Аврумале, ты – продолжатель нашего рода кознов...

Отец очень гордился кровной принадлежностью к потомкам Аарона. Его слова означали многое. Прежде всего, это значило в любой ситуации вести себя, как подобает козну. Не менее важно подумать о продолжении кознского рода. Он с детства знал, что это возможно лишь в том случае если его женой непременно будет еврейка. Она ни в коем случае не может быть вдовой или разведенной. Женька по всем статьям идеально подходила. Она была своя и этим все сказано.

Он вдруг понял, что подруга сестры всегда нравилась ему. Быть может, потому, что всегда видел их вместе и привык к ней. Будучи старшим, долго не воспринимал Женю, как взрослого человека.

Неожиданно нахлынувшее чувство Абраша встретил, как Божью благодать, и отдался ему без остатка, осознав, что не может и дня прожить без этой девушки. Его, немногословного по натуре человека, ни капли не раздражало ее постоянное щебетанье, незамысловатые, бесхитростные рассказы. Он был готов их слушать и слушать.

Абраша ловил себя на том, что с трудом дожидается возвращения Жени из училища. За пару часов до ее прихода он начинал нетерпеливо поглядывать в окошко. Мама и старшие сестры тайком понимающе переглядывались.

Время, удивительно тянувшееся до этого, понеслось, словно вскачь. Он не успевал оглядеться, пожелать любимому чело-

веку спокойной ночи, как уже наступал новый день. Потом следующий, а их у него было не так много, и расставаться с Женей ой как не хотелось. Поэтому с легким сердцем, не колеблясь, послушал ее и перенес свадьбу на год раньше первоначальных планов.

Разговора с ее родителями он не то чтобы боялся, просто не знал, как себя вести и что говорить. К счастью, все прошло легко и удачно. Они были готовы к его визиту, им льстило породниться с уважаемой в городе семьей.

Выйдя после разговора из Жениного дома, взял под козырек, сам себе представился в новом качестве:

– Лейтенант Красной Армии, летчик-истребитель, жених!

Торжественно произнес эту фразу и громко рассмеялся. Благо никого не оказалось поблизости.

Оставшиеся дни пролетели мгновенно. Казалось, в их жизни ничего не изменилось, но они стали какими-то другими. Серьезными и взрослыми. У Женьки даже изменилась походка. Это Абраша подметил сразу. Она стала увереннее и элегантнее.

По единодушному решению обеих семей его провожать на вокзал отправилась одна Женя, хотя Ася изо всех сил рвалась ей составить компанию. Сестра считала, что без ее активного участия молодые бы не сговорились, но отец категорично сказал “Нет!”, не оставив шансов на дискуссию. Ему никто не смел перечить.

На вокзал они явились за полчаса до отправления поезда. Абраша бросил саквояж на свою полку в офицерском вагоне и вышел на перрон. Они стали в двух шагах от тамбура, вплотную, нос к носу. Абраша обнял ее за плечи, а Женя нервно теребила портупею на гимнастерке, словно пыталась хоть что-то от него оставить на память.

Почему-то в таких случаях на вокзале от волнения люди говорят друг другу всякие нелепости, без которых можно прожить. Так случилось и с ними. Они вспоминали ничего не значащие вещи и говорили о них друг другу, прекрасно понимая, что говорить хочется совсем о другом. Только, когда проводник попросил лейтенанта подняться на ступеньку, Абраша сказал ей главные слова.

... Вернувшись в часть, с головой окунулся в работу. В полку началась модернизация самолетного вооружения. От того неприятного вечернего разговора с особистом не осталось и следа, словно его вообще не было.

В первое же воскресенье он, как обещал Жене, отправился в поселок навести справки о жилье. Негоже молодую жену вести в офицерское общежитие. Правда, женатые ребята советовали не спешить с жильем. Мало ли что может произойти за год.

Тем не менее, посмотрел несколько домов и остановился на комнате у пенсионерки-учительницы, жившей с незамужней взрослой дочерью. Дом был небольшой и удобный. Комната, которую сдавала хозяйка, располагала отдельным входом. В доме все сияло идеальной чистотой. Анна Степановна, так звали хозяйку, пообещала молодому летчику дожидаться его супругую.

Потекли будни. Каждую субботу он отправлял Жене письмо, а сам в течении недели, как правило, получал два. Она писала о всяких мелочах, и каждый раз напоминала не забывать писать домой. Ася и так обижалась, что семья получает от него меньше писем.

Он очень надеялся, что летчиков отпустят домой встречать новый 1941 год, но стало известно о жестких директивах Маршала Тимошенко, поставивших крест на надеждах Абраши и его товарищей. Более того, всех летчиков перевели на казарменное положение. Политработники, как заведенные, твердили о выгодах и преимуществах советско-германского пакта о ненападении, но даже несведущий, сугубо штатский человек ощущал, что грядет что-то страшное и зловещее. Мы неотвратимо двигались навстречу страшной схватке с Германией, и в какой-то момент все бумаги, подписанные с помпой высокими сторонами, сгодятся в лучшем случае для растопки печи.

У личного состава полка больше не было свободного времени. По утрам, независимо от погоды, звенья истребителей поднимались сопровождать бомбардировщики на учебное бомбометание, время от времени тяжелые машины неожиданно перестраивались, что требовало от эскорта мгновенной реакции и маневренности. Были случаи, когда истребители сосед-

него полка имитировали учебную атаку, стремясь разорвать оборонительную линию.

Потом все машины возвращались на базы. У техников, мотористов и оружейников был час-полтора проверить машины, запас топлива и боеприпасов. Летчики успевали прямо под крылом перекусить, полчаса отдохнуть и снова в воздух.

Издавна известна народная мудрость “не наешься – не лежишься”. Так случилось и на сей раз. Несмотря на старания отдельных грамотных, чудом переживших страшную чистку командного состава, командиров соединений первой линии обороны, в войну вступили недостаточно подготовленными. Об этом много писано и переписано, так что говорить об этом бессмысленно. Только душу травить.

Двадцать второго июня Абраша получил двойной удар: за три часа до начала войны умер отец. Его уход был предопределен. За два года до этого он сдавал лошадей своего хозяйства Красной Армии. Один ретивый конь никак не давался проверке. Тогда к нему, прогнав конюхов, подошел отец. Не взирая на сопротивление животного, заставил его подчиниться, но заработал при этом сильнейший удар копытом в область солнечного сплетения. Вскоре в этом месте врачи обнаружили опухоль, приведшую в конечном итоге к смерти.

Абраша, прочитав телеграмму-“молнию”, успел до начала войны у дежурного офицера получить проездные документы и краткосрочный отпуск, но опоздал на ближайший поезд. Пришлось ждать следующего, а через час майор – военный комендант станции вышел на перрон и объявил о нападении Германии. Немедленно последовал приказ всем военнослужащим, ожидавшим поездов, отбыть в распоряжение своих частей.

Всю войну Абраша вспоминал тот эпизод, оценивая свой шанс выжить вне полка, как нулевой. Безнаказанные и непрерывные бомбежки мирных пассажирских поездов превращали их в кладбища на колесах.

Через два дня полк впервые в воздухе встретился с врагом и сразу понес серьезные потери. Были сбиты опытный командир третьей эскадрильи и хорошо слетавшаяся пара. Только через пару дней летчики подразделения открыли свой боевой счет, сбив разведчика-фоккера.

Фронт стремительно отступал. Вместе с ним уходил на восток и полк Абраши. Точнее, то, что от него осталось. Не дожидаясь приказов сверху, подполковник Михеев свел остатки подразделения в две полноценные эскадрильи. Не хватало опытных командиров. Немецкие асы, прошедшие в основном Западный фронт, быстро разобрались “кто есть кто” и начали, в первую очередь, охоту на бывалых пилотов. Видимо, молодняк они оставляли на закуску или того хуже – задались целью парализовать его страхом перед могуществом германских люфтваффе.

Очередной приказ по полку был предельно краток. Принять на борты техников, механиков, мотористов, оружейников, словом, весь наземный персонал, перелететь южнее Харькова на Чугуевский аэродром, там дозаправиться под пробку и продолжить полет на восток, на новую базу. В Чугуеве командир должен был получить указание новой дислокации.

Чугуевская авиационная база была одной из самых крупных в системе Киевского особого военного округа. Ходили слухи, что там держит свою ставку маршал Тимошенко, командовавший Юго-Западным фронтом.

Перед перелетом подполковник жестко напомнил пилотам важность во что бы то ни стало сохранить материальную часть полка. Это означало любой ценой уходить от боестолкновения с противником. Каждая машина была на счету, буквально на вес золота. Ждать новой техники пока было не откуда.

29 октября 41-го полк поднялся в воздух. Эту дату Абраша запомнил на всю жизнь. Он, родившийся в марте, проживший после этого более полувека, всегда отмечал второй раз 29 октября день рождения. Отмечал в одиночку, молча. Хотя не совсем в одиночку. С той поры с ним всегда была армейская зеленая эмалированная кружка, вмещавшая фронтовую норму – двести граммов драгоценной жидкости. За полвека эмаль потрескалась, местами отлетела, но он не смел расстаться со своей реликвией. Кстати, до того дня он в рот не брал спирт или водку.

... Четырнадцать” ястребков” и два тяжело груженых “Дугласа” взяли курс на Чугуев. Сразу поднялись на предельную высоту и, прикрываясь густыми осенними облаками, легли на

маршрут. Погода способствовала. Незамеченные противником, они долетели до базы. Перед вынырнувшим из облаков полком открылась дикая панорама хаоса и беспорядка. Поначалу командир даже не засек свободную посадочную полосу. Пришлось совершить еще один заход. Всюду виднелись нагромождения каких-то ящиков и бочек, у ремонтных капониров грузились штабные “Дугласы”, в разные стороны спешили грузовики. Судя по картине, остатки руководства ставки покидали аэродром, который вот-вот станет линией фронта.

Командир каким-то чудом разглядел свободную дорожку, прилегающую к короткой посадочной полосе. Вероятно, в мирное время ее использовали для “кукурузников”. Ее длина оставляла желать лучшего, особенно для “Дугласов”, но в данном случае было не до жиру.

Подполковник повел своих на посадку. Последним, разумеется, шли “Дугласы”. На случай, если закупорят полосу, у истребителей в баках оставался минимум горючего. Слава Богу, остатки благополучно приземлились. Не успели остановиться пропеллеры, как к самолетам подлетел на немецком, видать, трофейном мотоцикле лейтенант-особист. Человек и мотоцикл были покрыты одинаково толстым слоем ядовито-желтой тяжелой пыли, делавшей их похожими на цельную скульптуру. Когда он открыл рот, оказалось, что зубы у него такого же цвета, как шлем и колеса.

Выяснилось, что подполковник Михеев точно прочувствовал место, отведенное для посадки. Комендант аэродрома требовал предельно быстро произвести заправку и покинуть базу. К площадке немедленно потянулись грузовики с бочками топлива. Лейтенант предупредил, что заправляться придется по походному. Заправщиков не хватает. Горючее будут заливать из бочек. В таких условиях любая искра могла стать губительной. Отдав комэскам команду не спускать глаз с заправки, подполковник с мотоциклистом умчался за новым заданием.

Технари работали под аккомпанемент танковых залпов противника. Летчики с нескрываемой тревогой поглядывали в сторону фронта. Казалось, вот-вот он докатится до аэродрома. Наконец, заправка была благополучно завершена. К этому времени вернулся и командир, получивший маршрут дальнейшего

следования. Пилоты, не теряя времени, разбежались по машинам. Мотористы бросились к винтам заводить самолеты.

В те времена технология завода двигателя была предельно примитивной. Моторист вручную несколько раз прокручивал пропеллер в противоположную полетной сторону, затем по команде пилота “От винта” отпускал его. Пропеллер делал несколько круговых движений, и мотор начинал работать. Иногда эту процедуру требовалось повторять. Правда, к тому времени уже появились автомобили-стартеры, заводившие самолетный двигатель легко, словно чиркнув спичкой, но их в армии были единицы. Проще было обходиться дешевой мускульной силой. Это всегда было предпочтительнее в России.

Как мотористы ни крутили винт Абрашиного самолета, он не заводился. Неудачей закончились вторая и третья попытки. Вокруг его машины уже суетились все технари эскадрильи. Больше всех хлопотал техник младший лейтенант Корша, отличный специалист, знавший машину и ее характер, как свои пять пальцев. Он ума не мог приложить, что случилось с двигателем, который, словно заколдованный, не реагировал на множество манипуляций, производимых персоналом. Чертова дюжина “ишаков” и транспортники под парами дожидались Абрашу.

Дело принимало нехороший, скорее, трагический оборот. Это он понял, увидев из кабины несущуюся без разбора дорог “полупорку”. На подножке стоял в кожанке, вероятно, высокий воинский чин. Сбоку у него болталась деревянная кобура “маузера”.

Бригадный генерал (Абраша разглядел под кожанкой на петлице “ромб”) был настроен грозно. Начав со всех известных и неизвестных Абраше матюков – язык, на котором держалась мощь и стойкость Красной Армии – комдив, а он командовал соединением, оборонявшим Чугуевский аэродром, недвусмысленно сформулировал Абрашину перспективу.

— Дивизия умирает, но стоит, – хрипло прокричал он, сорванным от невероятных нагрузок голосом. – Все равно через семь-восемь часов фрицы будут здесь. Ты что, хочешь боевую машину подарить целехонькой врагу?

Эти слова прозвучали прямым обвинением в предательстве.

– У тебя, лейтенант, есть на все про все пятнадцать минут. Взлетишь – сталинский сокол, нет... Дальше по законам военного времени.

Бригадный генерал выразительно похлопал по кобуре "маузера". Сказал и постучал шоферу по кабине "полуторки". Мол, трогай.

Абраша закрыл глаза, и неожиданно в голову пришла нелепая, самое главное, неподходящая для данной его ситуации мысль. Любил ли он Женьку или это было всего-навсего увлечение молодости, игра гормонов. Перед ним, словно на экране, появилось улыбающееся лицо Женьки. В какой-то момент девушка даже подмигнула любимому, подавая знак. Мол, не волнуйся, соберись и все будет хорошо. Даже замечательно.

Техник самолета младший лейтенант Корша, только что слышавший генерала, не мог понять, что в эту минуту происходило с командиром. Они прослужили вместе год, сработались, подружились, но таким он никогда не видел Абрашу. Летчик словно выпал из реальности, Казалось, куда-то провалился. Он сидел и что-то шептал.

Это что-то была молитва. Единственная, которую Абраша знал наизусть. Не удивительно, в хедере* он учился из рук вон плохо. Много времени проводил в коридоре, куда выгоняли с занятий за шалости и безобразия. Однажды даже умудрился приклеить задремавшему ребе-учителю бороду к столу. Почти каждую пятницу отец заходил в хедер и небольшим жертвоприношением добывал очередную индульгенцию для младшего сына. На удивление, глава семьи терпимо относился к проделкам любимца.

– Уважаемый Ицик Леверонт, – пряча в карман жертвенную купюру, в очередной раз сетовал учитель, – я боюсь даже представить, кто из него вырастет. Безбожник, босяк. За ним нужен глаз да глаз. Я не знаю, что вам посоветовать. Вся семья должно за ним следить и наказывать. Это пойдет на пользу мальчику.

* Хедер – еврейская начальная религиозная школа при синагоге.

– Дорогой реб Шмуль, не беспокойтесь, все будет хорошо, – успокаивал отец учителя. – У мальчика доброе сердце. Это – самое главное.

Пожелав друг другу хорошего Шабеса, они расходились по домам, сохранив свое мнение на счет шалуна Абраши.

Одну-единственную молитву до конца он знал исключительно благодаря маме. Сейчас он шептал ее слова, видя перед собой лицо Женьки.

“Барух ата, Адонай йелехейну мелих хаалом. Да будет благословением от Тебя Господи, Боже наш и Боже отцов наших, чтобы вести нас в мире и направлять наши стопы в мире, и доставить нас к цели нашего путешествия для жизни и радости”.

Он не помнит, как долго читал молитву. Только в мельчайших деталях повторял интонацию женщины, давшей ему жизнь. Ему казалось, что материнское начало и любовь Женьки, а в этом он не сомневался, спасут его, вытащат из трясины.

Он промолвил последнее слово молитвы, качнулся, упершись шлемом в стекло кабины, и открыл глаза. Открыл и не поверил увиденному. Абраша даже для верности тряхнул головой, будто хотел избавиться от миража. Рядом с его “ишаком” стоял автомобиль-стартер и какой-то незнакомый капитан ловко подсоединял стартовый кабель.

Выполнив несложные манипуляции, офицер призывно махнул пилоту. Мол, давай, стартуй. Абраша предельно осторожно, словно боясь повредить щиток, надавил кнопку. Она послушно ушла вглубь. Казалось, она, словно пуля, пронизала внутренность самолета. С головы Абраши густо сочился пот, будто он стоял под проливным дождем. Пот панцирем залил голову и уши. Сквозь плену пота до Абраши не долетел свист взревшего винта. Родной звук, который он мог отличить среди сотен других.

Зато позади лобового стекла Абраша ясно увидел радостно поднятые вверх руки капитана. Он словно благодарил небо за спасение еще одной человеческой жизни. Абраша понял, что спасен. Не осталось сил на эмоции. Только, как учил капитан Полухин, зафиксировал время. Из пятнадцати минут жизни, данных комдивом, осталось две с половиной.

Уже двинув машину к взлетной дорожке, он приоткрыл фонарь кабины и, перекрывая аэродромные шумы, прокричал:

– За кого мне молить Бога?

– Главный инженер аэродрома капитан Роман Файнберг из Вапнярки. Есть такой штетл...

После войны Абрашаон много раз проезжал станцию Вапнярка, но ни разу не сошел на перрон, не сделал остановку. Когда Абраша вспоминал это – всегда испытывал досаду и даже злость на себя. Всякий раз давал слово, что рано или поздно предпримет попытку найти человека, спасшего ему жизнь. Он не очень верил, что их встреча состоится. Жернова войны перемешали население страны самым невероятным образом. Однако попытаться он был обязан...

С того времени перед каждым полетом он произносил слова молитвы и знал: она поможет ему благополучно возвратиться на свой аэродром. Техник самолета, приметивший странность поведения командира перед каждым полетом, время от времени подтрунивал над ним:

– Ты, наверно, в небесной канцелярии облачность заказываешь?

Пилот всякий раз отмалчивался. Не станешь же объяснять технику, пусть своему хорошему парню, что молишься. Абраша в ответ лишь молча поворачивал офицерскую фуражку техника козырьком назад – такая у них была неизменная манера прощаться – и парень на ходу прыгал с борта на землю.

Абраша никогда и ни с кем не говорил о чуде, спасшем ему жизнь. Дедушка Пиня, проводивший много времени с внуками, объяснял им, что у каждого человека есть ангел-спаситель. Он – невидимка. Но человек незримо ощущает его присутствие. Именно он в трудную, самую тяжелую минуту земного существования своего подопечного приходит ему на выручку и подкладывает свои крылья. Красивая сказка, но дед так убедительно ее рассказывал, что дети были склонны верить.

Самого зейдалэ ангел не спас. Вероятно, был бессилен перед очередью “шмайссера”. Спустя много лет после войны Абраша узнал от очевидца, дальнего родственника, выжившего из окружения через Бердичев, как погиб дедушка Пиня, отказавшийся эвакуироваться. Он встретил первых оккупантов, вошедших в город, у калитки в свой сад. Высокий, седой, как лунь, красивый старик в ермолке. На вопрос солдата “Юден?”,

он замахнулся своей клюкой. В ответ прозвучала автоматная очередь.

Сам он больше верил не в ангела-невидимку, а в ангела, давшего ему жизнь и с первого дня существования сберегавшего его. Таким существом для него была мама. Вся семья знала и чтит историю ее жизни. Она вышла замуж не по любви, а по долгу. При родах умерла первая жена Исаака, оставив мужа с тремя детьми и новорожденной дочкой.

На первых порах вдовцу активно помогали две семьи. Перво-наперво, нашли малышке кормилицу. Когда прошло время траура, в осиротевшую семью вошла племянница покойной – восемнадцатилетняя Песя. Как было испокон веков принято у евреев, чтобы вместо матери в доме не появилась чужая женщина – мачеха, место усопшей занимала особа женского пола из ее семьи.

Девушку никто не спрашивал – хочет или не хочет. Ее послали и Песя знала (это впитывалось с молоком матери), что другого не дано. Долг перед семьей – превыше всего. Она стала женой сорокадвухлетнего мужчины и матерью своих двоюродных сестер и брата.

Изменения в степени родства не повлияли на теплоту их отношений. Напротив, они всячески поддерживали девушку, волей судьбы попавшей в сложный жизненный переплет. Муж также был добр и приветлив, стараясь любой ценой помочь ей, наладить нормальные супружеские отношения. Ему сразу пришлось по душе спокойная, не по возрасту рассудительная Песя.

Однажды наступил момент, когда она почувствовала себя полноправной хозяйкой большого дома и женой. Самое главное – она от души полюбила этого исполинского роста мужчину, немногословного, теплого и доброго. От него всегда исходила особая энергия, присущая их дому. Она уже не могла представить свою жизнь без мужа. В благодарность Песя родила ему еще четырех детей. Предпоследним был Абраша – всеобщий любимец.

Именно маме он был обязан запомнившейся молитвой. В лихие двадцатые годы, когда каждый выход из дома мог плачевно закончиться, этой молитвой она провожала отца в оче-

редную деловую поездку. Поездки были в разные от Бердичева стороны, но их цель была неизменна – добыть пропитание для большой семьи. Даже по бердичевским понятиям семья была немаленькой – вместе с родителями с обеих сторон четырнадцать едоков.

Изо дня в день картина повторялась. Утром отец укладывал в скрипучую подводку всякие товары – сухие кожи, мешки с пухом и пером, серпы, косы и прочий инструмент. Наполнив товаром подводку, он с помощью старшего сына все стягивал ремнями для надежности. Приготовления обычно занимали полчаса, и все это время суетилась вокруг мама, умоляя Исаака остаться дома. Ее последним аргументом всегда было объявление о нежелании быть молодой вдовой и кормить кучу детей.

Отец был неумолим, в какой-то мере жесток. Спокойно, с долей равнодушия, реагировал на причитания жены. Видимо, в душе считая, что каждая еврейская женщина в определенной мере истерична. Как иначе можно продемонстрировать преданность семье.

Закончив сборы, проверял наличие нагана, оставшегося в семье после гражданской войны. Совал его за пазуху и, поцеловав жену, занимал место на облучке. Тяжело груженный возок трогался с места. Тогда мама, очнувшись, маленькая и хрупкая, становилась в створке ворот и принималась чуть слышно произносить слова дорожной молитвы. Молила тихо, скромно, словно просила у Всевышнего милости и снисхождения. Изо всех сил стараясь не быть назойливой, а скорее незаметной. Так она прожила всю свою недолгую жизнь. Со стороны казалось, что ей неловко лишний раз отвлекать Бога своими мелкими житейскими просьбами.

Вероятно, мамины молитвы всегда доходили до адресата. Отец благополучно возвращался из своих опасных вылазок. В те тяжелые и голодные времена семья не шиковала, но усилиями родителей род был сохранен.

...Год войны пролетел, как один день. Абраша был не в состоянии что-то выделить в калейдоскопе военных действий. Он только запоминал новые аэродромы, взлеты и посадки. Полк постоянно менял дислокацию, катастрофически не хва-

тало пилотов. Молодое пополнение, как их летчики называли “два подлета – три подскока”, больше ломало дров, чем летало.

Абраша стал ведущим и командиром звена. Правда, его карьерному росту и вообще существованию чуть не пришел конец. Его сбили. Враг – пилот «мессера», украшенного тузами и невероятными чудовищами, оказался бывалым пиратом. Он какое-то время сопровождал поверженного противника, желая удостовериться, что советский пилот убит. Абраша решил ему подыграть, приняв неестественную позу, навзничь упершись виском в приборную панель. Немец, увидев это, потерял интерес и взмыл вверх.

Через несколько минут, выжимая из неуправляемой машины невероятное, он посадил самолет в поле на своей территории.

За этот год ему больше всего запомнилось непреодолимое желание спать. Он мог запросто на десяток минут отключиться под крылом самолета, подложив под голову шлем или, если повезет, охапку сена. Поспать в землянке, на нарах считалось невероятной удачей. Дело дошло до того, что однажды в полете Абраша на какие-то секунды «провалился». Вернувшись с задания, он честно доложил о случившемся командиру полка. Оказалось, что он не первый, попавший в подобную ситуацию. Немедленно был заведен порядок: перед боевым вылетом не менее двух часов сна под контролем медика.

Еще Абраше запомнилось великое множество писем. Конверты разного цвета, стандартные довоенные, примитивные солдатские треугольники. Он их посылал сам и, естественно, получал в ответ. Это стало его (после летной службы) повседневным занятием – писать запросы о судьбе семьи и Жени во всевозможные пересыльные пункты и центры по перемещению эвакуированных. Он ни на секунду не допускал мысли, что его близкие могут остаться на оккупированной территории.

Поначалу каждый нескрытый конверт вселял надежду, но прочитав стандартный ответ “нахождение адресата неизвестно” – невольно опускал руки. Правда, ненадолго. Уже на следующий день посылал очередной запрос.

Известно, что удача любит настойчивых. Абраша убедился в этом на собственном опыте. В конце ноября сорок второго отыскались две старшие сестры. Вместе с семьями они попали

в Магнитогорск, где работали на танковом заводе. Они прояснили ситуацию с остальными. Старший брат эвакуировался вместе с заводом в Свердловск. Средний, завуч школы, несмотря на инвалидность, был оставлен райкомом партии для организации в окрестностях Бердичева партизанского отряда. Ася в первые дни войны ушла добровольно медсестрой в действующую армию.

Самое страшное и трагичное сестры, писавшие это длинное письмо вместе, оставили напоследок. Мама умерла по дороге на восток. Умерла в поезде, во сне. Ушла из мира тихо, незаметно и, главное, не причиняя никому неудобств. Ушла, как жила.

Эта ужасная весть нашла Абрашу под Вязьмой, на аэродроме, притулившемся к небольшому селу. Пункт базирования можно было назвать селом с большой натяжкой – чуть более двадцати дворов. Селом считался лишь только потому, что лет сто назад один купец, родившийся здесь, в искупление грехов поставил на родине крохотную церковь. Судя по всему, до попадания бомбы она была удивительной красоты.

Дважды прочитав письмо, словно надеясь, что при первом чтении в текст вкралась ошибка и мама жива, медленно, не отдавая себе отчета в своих действиях, побрел прочь от самолетной стоянки. Не слышал, как его окликали товарищи, обратившие внимание на странность его поведения. Необходимо было остаться одному, осознать утрату, понимая, что свыкнуться с ней невозможно.

Абраша прошел сельцо, давно покинутое местными жителями, и оказался перед церковью. Над входом в храм темнел чудом уцелевший квадрат с изображением богородицы с ребенком. Он, по экскурсиям в училище, знал, что это – одна из самых почитаемых в России икон Смоленской богородицы. Ему вдруг почудилось, что у женщины закрыты глаза.

“Стыдно, – подумал Абраша. – Своего сына не сберегла, а теперь, сколько народу полегло, а сколько еще погибнет, пока немца одолеем. Вот и моей мамы нет, а ведь она жила праведницей...”

– Не богохульствуй, – скрипучий старческий голос откуда-то снизу прервал рассуждения Абраши, – лучше зайди в храм, облегчи душу.

Он оглянулся на голос. В углу на большой каменной глыбе, отвалившейся, по-видимому, во время бомбежки от стены храма, сидел старик в неопределенного цвета темном одеянии, похожем на монашеское.

– Вы священник этой церкви? – спросил он.

– Был когда-то. Храм уже восемнадцать лет не функционирует. Так что эти числился смотрителем.

Встретив непонимающий взгляд летчика, пояснил:

– Колхоз здесь хранил зерно. Слава Богу, ничто другое. Зерно – это жизнь, хлеб. Божья благодать. Наш бригадир Петр Семенович – мужик положительный. Пожалел меня, не выдал, взял сторожем. Так и доживаю, сберегая спасенные иконки. Я ведь всех здешних крестил. Ты, сынок, зайти. Правда, легче станет.

Абраша категоричным жестом отверг предложение, а бывший батюшка продолжил:

– По облику ты не христианин, скорее, иудей. Не думай, что пользуясь твоей минутной слабостью, попытаюсь тебя отречь от веры отцов. Это великий грех – предать веру предков. Только запомни: стены между религиями не доходят до бога. Заиди – место намоленное.

Когда Абраша вышел из церкви и обернулся, ему показалось, что богородица плачет.

... О Жене никто ничего не знал. Ее семья словно сквозь землю провалилась. Кто-то видел ее накануне эвакуации, было известно, что их семья покидает Бердичев, но куда, с каким предприятием? На эти вопросы Абраша никак не мог найти ответа. Тем не менее, он продолжал розыск любимой девушки с тупым остервенением обреченного.

Ему назубок были известны адреса почтовых отделений во всех населенных пунктах, куда его забрасывала военная судьба. Он больше доверял обычной гражданской почте, чем полевой армейской. В душе Абраша был убежден в том, что в полевой почте царит хаос, что солдаты-письмоносцы халатно, спустя рукава, выполняют свои обязанности. Ему казалось, именно по этой причине до него не доходит весточка от Жени.

В декабре сорок второго года от его полка осталось всего восемь машин. Остатки отвели на переформирование в казах-

ские степи, на аэродром Подстепное. Он находился по соседству со старинным казацким одноименным селом, известным еще во времена Пугачева (ныне аэропорт Уральска – одного из областных центров Казахстана).

Командование обещало серьезную передышку. Во-первых, полк будет доукомплектован до полного, согласно военного времени, состава. Во-вторых, подразделение получит из Саратова новые боевые машины и освоит их. По прикидкам командира, все займет не менее двух-трех месяцев.

Бросив в общежитие свои и техника пожитки, (техник по обыкновению задержался у самолета), заняв удачно в уголке две койки, Абраша привычно отправился на поиски почты.

Он огляделся и слегка растерялся. На улице, несмотря на середину дня, не увидел ни души, немногочисленные вывески – все на казахском языке. Не зная, куда податься, сделал на месте нелепый зигзаг. В этот момент перед ним резко затормозил мотоцикл “харлей”, засыпав унты фонтаном поднятого снега.

Абраша обрадованно хлопнул мотоциклиста по плечу и, перекрывая трескотню мотора, крикнул:

– Парень, тебя сам Бог послал. Скажи, пожалуйста, где почта?

Минуту-другую мотоциклист молчал, внимательно разглядывая сквозь большие, в пол-лица, очки стоящего перед ним летчика. Потом легко снял шлем и тряхнул темно-каштановыми волосами. Крупные, густые локоны изящно легли на плечи “мотоциклиста”. В седле «харлея» сидела девушка. На вид девушке было не более двадцати. Вконец растерявшись, он замолчал.

Девушка, видимо, хорошо знала, какое впечатление производит на молодых парней, поэтому не смутилась, сидела в седле, иронично посмеиваясь. Сидела ловко, привычно, время от времени поддавая ручкой газ, готовая в любое мгновение сорваться с места.

Абраша не запомнил, сколько длилось полное оцепенение, хотя, как пилот, обязан был зафиксировать все, вплоть до секунды. Но запомнил то оцепенение на всю жизнь. Стоял. Молчал. Смотрел. Девушка усмехнулась, тронула ручку газа и рванула с места.

– Сокол, будь осторожен, а то так ненароком собьют, – донеслось до него.

Он даже не запомнил ее лицо. Не понял, красива она или нет. Только знал, что прямо сейчас начнет поиски этих типично еврейских миндалевидных, темных, словно две маслины, глаз. И не успокоится, пока не найдет их.

Через пару дней он знал буквально все о девушке. Благо на все село оказалось всего два мотоцикла. Незнакомку и обладательницу «харлея» звали Ривой. Она была дочерью одесских портных, эвакуировавшихся с тамошним артиллерийским училищем.

Абраша проследил, где Рива живет и работает, но подойти к ней на улице, напомнить о случайной встрече и завести знакомство не посмел. Мешала бердичевская местечковость. Как-никак, Рива была девушкой из самой Одессы...

Каждый день пополудни, закончив изучение материальной части нового самолета, Абраша отправлялся в село на поиск земляков. Через несколько дней ему удалось найти знакомого своей семьи, по случайному совпадению дружившего с отцом Ривы. Ввел земляка в курс дела. Через пару дней, придумав мало-мальский приличный предлог, хитрые бердичевляне заявили в мастерскую родителей Ривы.

У него возникло ощущение, что девушка давно заметила неловкую слезку, предупредила родителей о возможных визитерах и ждала их. Потому как встретили Абрашу тепло и душевно. Слава Богу, знакомство состоялось без нарушения бердичевских стандартов. И случилось оно за четыре дня до нового 1943 года. Родители Ривочки оказались простыми и милыми людьми, радушно пригласили новых знакомых вместе встретить Новый год. Абраша и земляк-приятель с благодарностью приняли приглашение. Ровно через семь дней...

ОНИ

поженились через семь дней, Абраша и Ривочка. Здесь надо остановиться и помолчать. Вспомнить войну. На которой время летит совсем иначе, нежели в другой жизни. Нет, он не забыл Женю. Но Женя осталась в другой жизни. И почти не

было надежды, что та, другая жизнь когда-нибудь вернется. Для возвращения требовалась самая малость – остаться в живых...

Потихоньку, как-то незаметно, образ Жени стал стираться из памяти. Во всяком случае, во время молитвы, которую он читал перед полетом, она больше не являлась видением, хотя физически все еще присутствовала в кабине. У него не поднималась рука убрать из кабины их счастливое единственное фото. Что мешало ему это сделать? Угрызение совести, чувство, что совершил предательство или, всего-навсего, суеверие? Скорее последнее. Летчики, как моряки, будучи в массе бесстрашными людьми, часто подвержены суеверным предрассудкам. Почти у каждого имеется свой “бзик”, перед которым командование и, в первую очередь, политработники пасуют. Например, комэск два Ярцев после начала войны не расставался со шлемом, давно пришедшим в негодность. Его техник время от времени ремонтировал головной убор. Сколько раз полковой интендант вручал Ярцеву новенький удобный американский шлем, но тот в полет надевал старый.

– Ты хоть на построение полка не носи эту рухлядь, – как-то сказал ему командир, в душе смирившись со странностью комэска, – а то, глядишь, не услышишь...

Полковник громко рассмеялся и добавил :

– ...Не услышишь указ о присвоении звания Героя.

Через какое-то время Абраша все-таки убрал из кабины фото. Сделал это, не говоря ни слова Ривочке, ничего не знавшей о снимке и вообще о существовании Жени. У них никогда не заходила речь о прошлом. Ему было двадцать три, ей – девятнадцать. Они начинали жизнь с чистого листа.

Через какое-то время Ривочка, перебирая чудом сохранившиеся его семейные фото, наткнулась, к великому смятению мужа, на снимок незнакомой девушки. Первым его желанием было немедленно избавиться от фото, но жена, поняв, что произошло, тут же пресекла эту неуклюжую попытку. Сколько Абраша помнил, эта фотография хранилась в семейном альбоме и все, включая детей, знали, что такой была его первая любовь.

Они прожили с Ривочкой долгую и красивую жизнь. Жили в темпе своего беспокойного времени, не имея шансов обернуться, посмотреть на пройденное, а уж тем более расслабиться. Не жизнь, а вечный цейтнот. Сначала не давала покоя тяжелая армейская служба по дальним гарнизонам, потом адаптация к новой жизни на "гражданке". Воспитывали сыновей, нянчили внуков.

... Неурочный звонок сестры Аси, к счастью пережившей мясорубку войны – пройдя фронт, плен, побег из концлагеря – выбил его из привычной колеи.

– Милый братик, – изо всех сил стараясь сдержать эмоции, начала Ася. – У меня для тебя есть неожиданная новость.

Ася говорила деланным загадочным тоном, сделала, как бывалая рассказчица, затяжную паузу. Вероятно, провоцируя вопрос брата или желая разжечь его любопытство.

– Удивительная новость, – повторила Ася и в следующее мгновение уже не в силах совладать с собой, заговорила быстро, сбивчиво, словно опасалась забыть что-то важное и главное.

– Представляешь, я вчера случайно на Владимирской улице встретила Женю. Мы тут же друг друга узнали, словно не было этих десятилетий.

Ася замолчала, давая брату осмыслить услышанное. Возможно, вслушивалась в его дыхание, пытаясь понять по шумам в трубке его реакцию.

– У нее все в порядке. Удачно вышла замуж. Хорошая семья, две дочки, внуки. Женя безумно обрадовалась, даже расплакалась, узнав, что ты жив.

Расплакалась. Расплакалась. Расплакалась.

В телефонной трубке начались помехи, и он мог только догадываться, что дальше говорила сестра. Судя по всему, она пообещала подруге организовать встречу.

Он сидел в глубокой задумчивости и не мог представить, что скажет женщине, бывшей некогда его возлюбленной. Ему даже было не понятно, как следует к ней обращаться. На «вы» или на «ты»? Кто знает, как обращаться к человеку, с которым полвека не виделся? Называть ее, как прежде, Женя, Женька? Звучит фамильярно, особенно учитывая ее возраст. Наверно, лучше

по имени-отчеству. Абраша с трудом вспомнил, что ее отца звали, кажется, Моисей. Значит, Евгения Моисеевна. Так, вероятно, пристало больше.

– Вот и дожила, – с нескрываемой иронией хмыкнула жена, услышав пересказ телефонного разговора, – через полвека совместной жизни отправлю мужа женихаться...

Абраша даже вспотел, осознав нелепость ситуации. Ему на ум не приходили нужные в данный момент слова. Собственно говоря, он не знал, как себя вести и что следует сказать Ривочке. Каяться, говорить об ошибке молодости или что-то еще.

В следующее мгновение веселый голос жены вернул его к реальности.

– Женихаться один поедешь или с внуками? Глядишь, у твоей пассии внученьки подросли, красивые, как она сама. Может, породнимся?

Она прикоснулась лбом к его лбу – традиционный жест, выработанный ими за долгие годы совместной жизни, означавший семейный мир, согласие и понимание. На душе стало тепло, приятно и спокойно.

Однако, несмотря на столь разумное и выдержанное поведение жены, он не спешил ехать в Киев. На заводе, где он работал, уйдя в отставку, все знали, что командировки в Киев – прерогатива Абрама Исааковича.

Он брался за самые сложные и, казалось, невыполнимые поручения в украинской столице, потому что, выполнив невыполнимое, всегда находил время для встречи с сестрами. Три из них после войны перебрались в Киев и были счастливы провести с братом день-другой. В родном Бердичеве осталась только старшая сестра, Бася.

Абраша от природы был предельно обязательным человеком. Это качество усилилось четвертью века армейской службы. Ездить вхолостую за государственный счет в Киев считал недопустимым, потому встречи с сестрами всегда являлись приятной особенностью деловых поездок. Для решения командировочных задач у Абрама Исааковича имелся особый фонд. Собираясь в поездку, он забирался на антресоль, где хранился командировочный неприкосновенный запас и доставал все, что позволяло решать невыполнимые задачи.

А именно: кухонные ножи из дефицитной нержавеющей стали, изготовленные его друзьями – заводскими умельцами, фирменный одесский коньяк, бывший шутовский, полученный прямо с коньячного завода в обмен на нержавейку, марочные крымские вина и многое другое. НЗ – так Абраша по старой армейской привычки именовал содержимое антресоли, арсенал изощренного советского коммивояжера. Чего тут только не было...

Главным оружием его командировочной деятельности, откровенно все сердца и двери, были жестяные крышки для домашнего консервирования. Эта супердефицитная мелочь в советской стране котировалась, словно свободно конвертируемая валюта: миллион крышек – миллион баксов.

Они, крышки, в доме были неприкосновенны. Даже для Ривочки. Если она одалживалась – то только с ведома мужа и указанием точной даты возврата «долга». Парадокс: у счастливой семейной пары, не имевшей тайн, у которой все было общее, главный советский дефицит был разделен.

После неожиданного телефонного сообщения Аси предлагали Абраму Исааковичу множество пустяковых командировок в Киев: отвезти документы, получить нужную резолюцию или просто посидеть на совещании рационализаторов, но он находил всяческие предлоги и вдруг начал уклоняться от командировок. Рива помалкивала, хорошо зная супруга.

Он боялся встречи и не мог признаться себе в подобной слабости. В один прекрасный день все же наступил момент, когда служебные обязанности потребовали поездки в Киев. С тяжелым сердцем Абраша позвонил Асе и предупредил о приезде.

Сестра неслыханно обрадовалась.

– Женя обязательно будет!– сообщила в ответ. – Пару дней назад говорила с ней по телефону!

... Рива собирала мужа с таким усердием, словно он отправлялся на какие-то важные смотрины. Одеда его во все новое. Благо, сыновья, живущие в Москве, баловали отца модными тряпками. К Асе брат явился одетым с иголки. Ася даже присвистнула, не выпуская из зубов вечную папиросу:

– Ривочка расстаралась вовсею! Знай наших...

Женю ожидали к вечеру. Она обещала появиться после работы. Абраша был предельно молчалив, односложно отвечая на вопросы сестры, а та, как назло, не закрывала рот. Он все время пытался собраться с мыслями и хоть как-то представить, смоделировать встречу. Известно, что лучший экспромт – орпетированный.

Асин муж, заядлый курильщик, занял наблюдательный пункт на балконе, желая заранее предупредить о появлении гостя, но заболтался с соседом о футболе и прозевал Женю.

Звонок в дверь раздался неожиданно. Ася бесцеремонно толкнула брата в крохотную прихожую хрущевской пятиэтажки. Он пробовал возразить, пропустить вперед хозяйку, но увы... Ему ничего не оставалось, как открыть входную дверь. Перед ним стояла незнакомая, усталая, пожилая женщина, не имевшая ничего общего с его Женей. На какое-то мгновение она улыбнулась одними глазами, теми глазами... И исчезла.

– Здравствуйте, Абраша, – почему-то на "вы" обратилась гостя и двумя руками протянула ему традиционный торт «Киевский». Абраша тоже двумя руками ухватился за коробку, и они в четыре руки молча стали потряхивать торт. Со стороны это, вероятно, походило на какой-то неизвестный элемент японской чайной церемонии.

Японскую церемонию прекратила Ася.

– Женька, ты принесла «Киевский»? – голосом вечного распорядителя объявила сестра. – Молодец. Просто замечательно. И мы запаслись «Киевским» к чаю. Наш съедим, а твой поедет в Одессу, к Ривочке...

Абраша пробовал возразить, предложить что-то свое, но Ася, не слушая его и не замечая изменившегося настроения подруги (вероятно, ее не очень обрадовала перспектива добытого с трудом торта) запихнула Женин «Киевский» в холодильник.

Разговор продолжили за чаем. Впрочем, что происходило дальше, назвать разговором можно было с большой натяжкой. Скорее, получился вечер одного актера. На эстраде есть такой жанр, называется "чревоуещатель". Жанр безумно тяжелый. Это когда исполнитель предстает перед зрителем с куклой в руках и поочередно говорит разными голосами то за себя, то за куклу.

Чревовещательством занялась Ася, захватившая с первой минуты инициативу. Голосом актера она излагала жизненную одиссею подруги и тут же, перебив себя, голосом куклы выдавала максимум информации об Абраше и его семье.

Он слушал сестру невнимательно. Ему не давал покоя торт, заботливо убранный в холодильник, который он должен был на следующий день везти в Одессу жене. Дело в том, что он люто ненавидел то, что про себя (не дай Бог вслух!) называл символами сытой советской жизни. К ним Абраша относил красную и черную икру, осетрину, торты «Киевский» и «Птичье молоко».

Его антисписок насчитывал десять, максимум пятнадцать наименований. Все, без чего можно было спокойно прожить, но чем вождеденно старались украсить свой стол советские люди. Его бесило, он не мог сдержать себя, когда в Одессе о свадьбе или любом другом торжестве судили по цвету и количеству икры на праздничном столе.

У них в доме, в Бердичеве, не знали этих яств, но были сыты и счастливы. Обожали все, что готовила мама.

Ему казалось, где-то далеко за высокими кремлевскими стенами в удобном кабинете сидит Некто. Умный и прозорливый, он придумывает всякие символы, не дающие советским людям успокоиться, оглядеться, напротив, заставляющие их изо всех сил напрягаться и добывать эти символы ради собственного престижа.

Все советские люди, отправляясь в отпуск или служебную командировку, получали от домашних список того, что надо добыть. Часто свои пожелания добавляли соседи. Из Москвы надо было непременно возвращаться с «Птичьим молоком», из украинской столицы – с тортом «Киевский».

Абраша с грустью вспомнил безымянные, но безумно вкусные рогаики, которые мама пекла накануне субботы. Увесистой скалкой она раскатывала кусок эластичного теста, подсыпая понемногу заранее просеянную муку. Эту процедуру мама повторяла бесчисленное количество раз. Он до сих пор не мог понять, зачем требовалось столько усилий.

Наступал момент, когда оковалок теста превращался в ровное, словно для посева раскатанное поле. Мама нарезала его на квадратики. Потом насыпала в квадратики по ложке мелко

нарубленного грецкого ореха, сдобренного капельками темного гречишного меда. После этого мама сворачивала каждый квадратик в трубочку, напоследок придав ей форму полумесяца. Множество (семья-то большая!) таких новолуний она густо раскладывала на противень.

Прежде, чем отправить свое творение в сопло громадной русской печи, занимавшей треть кухни, она добавляла последний штрих. Посыпала каждый полумесяц корицей, смешанной с сахаром, и ловко смазывала гусиным пером, обмакнув его в масле. Через полчаса кухня, а затем весь дом наполнялись ароматом надвигающегося Шабеса.

А какой замечательный штрудель пекла его старшая сестра Бася?! Она каким-то известным только ей чудом обходилась минимумом муки. Все пространство между оболочкой занимали сплавленные воедино изюм, антоновка и орехи. Эту массу не требовалось кусать. Было достаточно положить ее в рот и, вкушая неповторимое удовольствие, ждать, пока она бесследно растает, оставив удивительное послевкусие.

Последний раз Бася пекла штрудель на девяносто первом году жизни. Пекла специально для него, своего младшенького братика. Тогда Абраша приехал в Бердичев повидаться с сестрой, а если быть откровенным – попрощаться. Превозмогая боль (сестра была серьезно больна), игнорируя мнение детей, она встала ради него, чтобы, как было принято в семье, приготовить любимое угощение.

Он ел штрудель, запивал его крепко заваренным чаем, целовал ее натруженные иссохшие руки, смахивал украдкой предательские слезы. Кушал, убежденный, что это – последний штрудель, привет из детства. Пирог, который не заменит никакой торт-символ.

...Театр одного актера продолжался без антракта. Абраше не было никакого дела до Асиного спектакля. Его единственной заботой было страстное желание, во что бы то ни стало избавиться от «Киевского» торта.

Он сидел и думал, почему его так сильно беспокоит торт, и ни одной мысли не приходит в седую голову по поводу Жени. Той Жени, которая сейчас сидит напротив него за столом и увлеченно беседует с Асечкой о несусветной чепухе.

Почему?

Вот Фима, муж Аси, инвалид войны, живший полвека с осколком в позвоночнике. Мужнино неприкасаемое место за столом было как раз у двери балкона. Когда Фиме основательно надоедала болтовня женщин, Фима удалялся покурить. На соседнем балконе явления Фимы дожидался сосед, большой любитель футбола и рыбалки.

Фима время от времени молча исчезал и так же, не говоря ни слова, появлялся. Повезло человеку. Абраше некуда было отступить, приходилось слушать вполуха. Оказалось, Женин муж – большой рукодельник, оснастил хитроумными полками и ящиками всю двухкомнатную квартиру. Даже сделал потайные ящики. Правда, в секретные ящики пока нечего прятать. Еще Абраша понял, что Женин супруг – типичный подкаблучник, и в семье верховодит жена. Судя по всему, веселая наивная Женька с годами превратилась во властную злобную старуху. Абраша осторожно подумал, что не смог бы прожить с этой женщиной всю жизнь. Осторожно обрадовался, тут же устыдился своей радости. Стало скучно и как-то неинтересно.

Периодически Женя прерывала дуэт со своей бывшей подругой Асей, дозванивалась до старшей дочери, давала указания, чем и как кормить заболевшего внука.

– Понос есть или стул терпим?

Женя повторяла один и тот же вопрос, настойчиво требовала “это самое” положить в спичечный коробок, затем спрятать в холодильник, чтобы завтра с утра отнести в лабораторию на анализ.

У Абраши создалось впечатление, что она забыла о цели визита. Или определенно пришла за чем-то другим. Прежде всего, зная, что Ася работает в поликлинике, пожаловалась на боли в ногах.

– Понимаешь, – демонстрировала свои толстые и отечные ноги, обращалась к Асе, отвернувшись от Абраши, – просто так не бывает. Может, порекомендуешь хорошего врача?

Сестра, у которой была куча знакомых медиков, порывшись в записной книжке, кому-то звонила. Заодно устроила для Жени правильного педиатора, способного поставить диагноз носящему внуку.

Абраша чувствовал себя лишним, тихо вышел на кухню. Впервые за четверть века, прожитых без табака, страстно захотелось выкурить папироску. Конечно, можно было стрелкнуть у Фимы и поднять с ним на балконе, но он сдержался. Оставалось дожидаться развязки – финала неожиданно мучительного вечера.

Вдруг подумалось: а что, если она так скрывает свою обиду на него, прячет ее за дурацкими разговорами? Но какая могла быть обида, спустя пятьдесят лет? И все же...

Сегодня в министерстве, в приемной начальника главка товарища Колбасюка, Абрашу разыскала Ривочка. Ривочка, когда нужно, кого угодно из-под земли достанет. Имеется, видите ли, неотложный вопрос. В гости приехал внук с подружкой. Как им стелить: вместе или отдельно?

– Не смейся меня. На пляж ходить вместе, бычков кушать вместе, а спать отдельно? Ривочка, конечно, стели вместе и радуйся, что у нас вырос здоровый мальчик.

Он вспомнил о разговоре с Ривочкой, почему-то дрогнуло сердце, словно здесь и сейчас оно не хотело никаких воспоминаний.

Опять же беспокоило, чтобы сестра сдуру не отправила его провожать Женю до автобусной остановки. Хотелось не усложнять ситуацию и любой ценой избежать ненужных объяснений. Которые, по его мнению, могли случиться.

Неожиданно и ярко, словно аварийный сигнал, в голову внедрил вопрос. Что, если Женя стала злобной бестактной старухой в отместку? Мстит неизвестному, ни в чем не повинному мужу за неудавшуюся жизнь... Вдруг, страшно подумать, но все же – вдруг с ним, с Абрашей, она бы осталась другой, осталась до седых волос прежней доброй и наивной Женькой?

Что, если он виноват?

В чем виноват? В том, что, ожидая неминуемой смерти, встретил Ривочку и не ушел, не сбежал от своего счастья? Которому не было объяснения в океане войны, окружавшем их, двадцатилетних? Прожил потом счастливую жизнь?

Имеет ли кто-нибудь право сказать ему, что за его счастье другой человек заплатил ужасную цену?

Или так выглядит последний выстрел той войны? Пуля, которая настигла его спустя пятьдесят лет?

И единственная известная ему молитва – не помогла?

Провожать Женю не потребовалось. За ней приехал на новеньких "Жигулях", купленных сообща дружной семьей, младший зять.

Как принято у евреев, прощались долго и не расходились. Приличия ради, договорились встретиться, хотя оба прекрасно понимали, что видятся в последний раз.

Вернулись в квартиру. Попытку сестры обсудить перипетии вечера мгновенно оборвал ее муж, тонко уловивший настроение родственника. Фима был правильным и настоящим мужем.

Сестра постелила. Абраша лег на диван, но сон словно рукой сняло. Он вспоминал все пережитое за последние несколько часов, но ни на чем не мог сконцентрировать внимание, выделить хоть что-то мало-мальски полезное и важное. Сосредоточиться мешала странная обида, вдруг по-мальчишески глубоко проникшая в душу.

Кто и зачем? Кто и зачем сделал это? Только что уничтожил память о той замечательной девушке и сказочной неделе, проведенной вместе когда-то? Кто и зачем?

Последнее восклицание вырвалось в ночную тишину, получилось громко, в соседней комнате встрепенулся мирно похрапывавший Фима.

– Что случилось? – пробормотал спросонья. – Ты плохо себя чувствуешь?

– Все в порядке, – успокоил его Абраша. – Я так храплю.

Перед рассветом он все-таки заснул. И тут же провалился в кошмарный сон. На его глазах холодильник, набитый «Киевскими» тортами, медленно заполняло "то самое", что Женя велела дочери хранить в спичечном коробке. Казалось, вся эта чудовищная масса вот-вот хлынет на Асину чистенькую кухню.

Проснулся, желая избавиться от мерзкого ощущения отправился в ванную, под душ. Настроил воду, долго бездейственно стоял под упругой горячей струей, смывая с себя прошедший день.

Утром театр одного актера продолжился. Только по телефону. Ася, не выпуская трубки, кормила завтраком брата и обзванивала родственников и знакомых. Сначала доложила в

мельчайших подробностях старшим сестрам, конечно, исключая тему больных ног. Потом стала звонить всем, кого могла тронуть романтическая история брата.

Он посмотрел на часы. До отправления поезда на Одессу оставалось около пяти часов. Впервые Абраша решил схитрить и сбежать от сестры раньше времени. Обычно они, родственные души, не расставались до последнего.

Абраша громко чертыхнулся, посетовал на свою забывчивость. Оказалось, накануне он “забыл” в министерстве получить важные бумаги. Со стороны, вероятно, все выглядело наигранно и неестественно, но сестра приняла обман, не моргнув глазом. Тут же бросилась провожать брата, не забыв про торт. Абраша очень рассчитывал, что обойдется без «Киевского», не получилось.

Подхватил неизменный с армейской поры немецкий саквояж, другую руку утяжелил тортом и отправился в центр Киева убивать время. Погулял по Крещатику, потолкался на старинном Бессарабском рынке. Отправился на вокзал. Как ни старался – пришел намного раньше. Занял столик в полупустом вокзальном кафе и стал дожидаться, пока пышка-официантка пересчитает выручку. Он умышленно не глядел в ее сторону, желая выиграть время. Она тоже не торопилась.

Потом Абраша долго и тщательно изучал меню, будто читал очередные военные мемуары. Кушать не хотелось, но сидеть за пустым столом в общепите не принято. Так могут принять за бездомного, хоть по виду не похож. Наконец, заказал стакан чая с вареньем и баранку с маком. По разочарованному виду официантки понял, что она ожидала большего.

Баранка оказалась тем самым, что в его детстве на идиш называли бейгел. Их замечательно в Бердичеве пек пекарь Сруль. Только в отличии от общепитовской кухни он не жалел мака.

Чай, как обычно на станциях, принесли в традиционном подстаканнике. Он тут же вспомнил тот самый чай, поданный услужливым проводником молодому летчику с медалью.

“Смешно получается, тогда я ехал навстречу Жене, – подумал он, – а сейчас наоборот”.

– Извините, гражданин, – молодой человек приятной наружности задержался у его стола, – Скажите, здесь на вокзале можно купить этот самый «Киевский» торт? Жена просила привезти.

Абраша оторвался от чая, внимательно, с головы до ног, оглядел незнакомца.

“Удивительный парень, – усмехнулся про себя, – весь город каждое утро встает на дыбы, чтобы сначала произвести , а потом добыть этот символ благополучия. Для этого включаются все рычаги блата, начинает действовать сложный советский механизм обмена: ты – мне, я – тебе. Дефицитное лекарство меняется на билеты в Сочи, дальше в обмен вовлекается финский “сервелат”. Еще пара обменных операций и человек близок к цели – торт «Киевский». А этот хочет все сразу, и без мороки?”

Абраша улыбнулся, развел руками.

Молодой человек приятной наружности занял соседний столик, заказал котлету по-киевски.

... Чай в стакане давно остыл. Абраша время от времени посматривал в окно буфета, в котором уже скоро должен был показаться его поезд на Одессу. Потом его взгляд упал на круглую тщательно перевязанную бечевкой коробку торта. Представил себя утром выходящим из вагона на одесский перрон с тортом – символом благонадежности.

“Як дурень со ступой” – пришла на ум старинная украинская поговорка. Перспектива не радовала.

Тень подходящего поезда и идея, как распорядиться тортом, явились одновременно. Он переставил коробку со своего стола на соседний, к молодому человеку приятной наружности. На ходу, вставая с места, скороговоркой выпалил:

– Это вашей жене!

Встретив удивленный взгляд, добавил:

– Моя все равно страдает диабетом.

Подхватил саквояж, поспешно двинулся к выходу. Он точно знал, с чего начнет завтрашний день. Позвонит в Москву. Сначала старшему сыну, потом младшему. Обоим скажет одни и те же слова, вопреки своему неписанному правилу ничего не советовать детям. Это будет не совет. Это будет заклинание.

Никогда. Слышите! Никогда не возвращайтесь в прошлое!

Я

написал заклинание, поставил точку и понял, что все страницы – возвращение в прошлое. Чужое прошлое. И чуточку – мое тоже. Потому что там, в том далеком и близком прошлом, некоторое время спустя на свет появился я, свидетель...

В основе этого повествования лежит история моих родителей, моей семьи. Тем не менее, это литературное произведение, и я, автор, оставляю за собой право на домысел. Меня, единственного среди многочисленных внуков, назвали Исааком в честь моего деда, достойного и уважаемого человека. Человека, умудрившегося, рискуя собственной жизнью, спасти в годы Голодомора свою большую семью.

Правда, долгие годы я не мог жить с этим именем. Ведь советский журналист, а я проработал четверть века в центральной печати, не мог быть Исааком. Достаточно того, что терпели на газетной полосе мою типично еврейскую фамилию.

Я привык к своему русскому имени, хотя охотно откликаюсь на Исаака, Изю, Игоря. Теперь в Америке еще и на Айзика. Я счел своим долгом эту семейную сагу подписать именем, которым меня нарекли родители при рождении.

*Нью-Йорк (США) – Паламос – Л*Эстартит (Каталония)*

* * *

Автор сердечно благодарит своих друзей: глубокого верующего человека киноведа и радиожурналиста Симу Березанскую, талантливого идишского писателя Бориса Сандлера и известного кинорежиссера и сценариста Исаака Фридберга за консультации и оказанную помощь в создании этой семейной саги.

Яков Шехтер

ТАЙНЫ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

Глава пятая

В первые недели после свадьбы Зяма не мог заснуть до утра. Сказывалась многолетняя привычка бодрствования. Но главное, происходящее между ним и женой приводило бывшего поруша в величайшее возбуждение. Короткие минуты близости словно втыкали в его тело тысячи иголок. Он не мог ни лежать, ни сидеть, ни даже спокойно стоять.

Зяма выходил на крыльцо и, расхаживая взад и вперед, смотрел на крыши ночного Курува. Облитые лунным светом, они влажно блестели, напоминая Зяме черные глаза жены.

А может, это ему лишь казалось, ведь в душе играла райская музыка и перед глазами плавали цветные круги. До сих пор Зяма был бесконечно далек от земных радостей, центром и смыслом его жизни была духовность, учение Торы, служение Всевышнему. Близость с женой оказывала на него оглушающее воздействие. Он и представить не мог, будто способен испытывать нечто подобное, что в мягком женском теле кроется источник столь невероятного наслаждения.

Однако через месяц возбуждение стало спадать, а спустя полгода полностью отпустило бывшего поруша. И за это время Зяма понял, что ворота учения для него закрылись.

Во-первых, теперь по ночам он боялся оставаться один. Вдруг снова заявится Самуил-Самаэль вместе с дочкой? Ведь ребе Михл предупредил: связь с демоницей не разорвана и по бесовским законам Махлат считает себя законной женой Замана.



Александр Канчик, "Тайны супружеской жизни".

Она, конечно, могла считать все, что взбредет в ее бесовскую голову, теперь у Зямы была настоящая, перед Богом и людьми, жена Броха. И, во-вторых, а может быть как раз, во-первых, этой настоящей жене вовсе не улыбалось проводить одинокие ночи в холодной постели.

От пожилых родителей Зяма, не задумываясь, уходил на учебу каждую ночь, а молодую жену закон предписывал радовать, то есть, называя вещи свои именами, ублажать в постели, особенно в течение первого года.

И тут он столкнулся с серьезной проблемой. Будучи человеком богобоязненным, ученым и обстоятельным, Зяма капитально посидел над книгами по еврейскому закону, пытаясь разобраться, какие именно действия скрываются под словом «ублажать» и в какой последовательности их предписывается производить. Книги изъяснялись невнятно, отделяваясь туманными намеками, ничего конкретного не объясняя. Комментаторы напирали на законы скромности и советовали заниматься этим как можно меньше.

Недоумение Зямы росло и достигло пика, когда он натолкнулся на прямое описание поступков одного праведника. О том говорилось, будто он делал это с такой поспешностью, словно лежал на раскаленной сковороде.

«Тогда почему это называется «ублажением», – в полной растерянности думал Зяма. – И какую радость может ощущать женщина, если муж относится к ней, точно к раскаленной сковороде?»

Вообще-то все книги завершали свои предписания настойчивой рекомендацией обратиться к сведущим людям. Предполагалось, будто в каждом месте, где живут евреи, обязательно отыщется дока, способный рассеять туман невежества и сомнений.

И действительно, был в Куруве один старичок, наставлявший молодых парней перед женитьбой. Поскольку у Зямы и Брохи обстоятельства выдались необычные, времени на подготовку к свадьбе попросту не осталось. Все пришлось делать наспех, через пень-колоду, обойдя вдумчивое приурочивание к столь серьезному шагу.

В первую ночь пришлось справляться самим, без наставлений, ведь добраться до старичка Зяма не успел. Но, предварительно полистав книжки, он решил действовать подобно тому самому праведнику.

Утром он честно признался себе, что мягкое, сладкое тело Брохи от волнения действительно было очень горячим, однако вовсе не походило на раскаленную сковороду.

Он тоже волновался. До дрожи, до озноба, до полного смятения чувств. Когда Броха ложилась в постель и, призывно по-сверкивая глазами, молча ждала его прихода, Зяму начинало колотить.

– Ну что ты, что ты, что? – успокаивающе приговаривала жена, глядя его по плечам и груди, но от ее прикосновений Зяма вообще терял голову. Такого взрыва чувств, такой бездны наслаждения он никогда не переживал и, судя по всему, Броха испытывала то же самое.

«Почему поменьше? – удивлялся поутру Зяма, когда с лучами солнца к нему возвращалась способность здраво рассуждать. – Вот же оно, счастье, не украденное, не идущее вразрез с заповедями. Настоящее, законное, полноправное счастье, радость для него и для Брохи. И его нужно побольше, а не поменьше!»

Это говорили чувства, однако тренированный, отточенный ум талмудиста немедленно выставлял перед мысленным взором Залмана пару-тройку весьма убедительных возражений. Прожив в разрыве между разумом и сердцем несколько недель, Зяма отправился к старичку за наставлениями.

От него он вышел злой, но спокойный. Выяснилось, что наставления не предусматривали ничего нового, до всей этой несложной премудрости они с Брохой успели добраться самостоятельно. Практические советы старичка годились ничего не знающему юноше перед свадьбой. Однако для человека с месячным стажем семейной жизни они были бессмысленны. К заповеди улаживания жены Зяме добавить было нечего и это успокаивало.

Злило другое: старичок давно забыл, каково быть молодым парнем в постели с молодой женой. Его советы подходили ангелам или полным праведникам, мысли которых были направ-

лены исключительно на Божественное. Обыкновенному человеку они представлялись удавкой на шее зарождающейся любви. Подумав и взвесив, Зяма решил выкинуть из головы наставления старичка.

«Хватит с нас устрожений, четко прописанных в книгах, – решил он. – Обо всех других ограничениях и запретах я начну думать лет через пять после свадьбы».

Чем заняться еврею, если ворота учения для него закрылись, а молодая жена ждет не только любви, но и денег для покупки еды, ведения дома, одежды и украшений?

Не успели закончиться семь свадебных пиров, как Зяма принялся искать парносу, достойный заработок. К его изумлению, работа отыскалась моментально. Вернее, она сама пришла к нему в дом в лице реб Гейче.

– Итак, юноша, – произнес владелец винокурного завода, степенно усаживаясь на лавку. – Чем ты намерен сейчас заняться?

Броха быстро поставила на стол свежеиспеченный медовый пряник и бросилась готовить чай. Приход реб Гейче застал молодую пару врасплох.

– Ищу парносу, – ответил Зяма. С ребе Гейче они были давно знакомы, тот посещал урок для работающих прихожан, который вел Залман. Большинство курувских евреев с утра разбегались по своим делам, но после вечерней молитвы не спешили домой на ужин, а задерживались в синагоге на час-полтора. Кто два раза в неделю, кто три, а особо заядлые – каждый день. Владелец винокурни был из заядлых.

– Очень правильное и похвальное решение, – произнес реб Гейче, не обращая внимания на медовый пряник. – Семья похожа на дом, ее нужно строить. По бревнышку, по кирпичику и на прочном фундаменте. Фундамент – это знание Торы. Его, слава Богу, ты уже заложил. Теперь нужно поднимать стены. А стены и крыша – это парноса. Не будет в семье денег, не будет счастья. Нищета и голод сильнее любви.

Броха поставила на стол две дымящиеся кружки с чаем и хотела уйти, но реб Гейче остановил ее.

– Нет-нет, я считаю, что ты обязана присутствовать при нашем разговоре. Главные решения в семье должны приниматься совместно.

Броха кивнула и уселась на лавку возле Зямы.

– Итак, как вы знаете, моя винокурня постоянно расширяется, – продолжил реб Гейче. – Раньше на телеге, развозящей бочонки с водкой по корчмам, кроме балагулы Менделя всегда сидел приказчик Гирш. Водка дело тонкое, опасное и соблазнительное, поэтому за ней нужен глаз да глаз. Менделю я полностью не могу довериться: когда речь заходит о выпивке, он немножко теряет голову. Поэтому лошадьми, разгрузкой и выгрузкой занимался он, а все расчеты с шинкарями вел Гирш. Сейчас из-за расширения дела Гирш нужен мне на винокурне. Поэтому я хочу предложить эту работу тебе, Залман.

Зяма застыл. Счастье оказалось так близко, так доступно. Разумеется, точных размеров жалования Гирша никто не знал, но разве в Куруве удастся что-то утаить? Предложение реб Гейче сулило безбедную жизнь, возможность спокойно, не трясясь над каждым грошом, поднимать детей.

– Мы согласны, – ответила за двоих Броха. Она, как и Зяма, происходила из бедной семьи, в которой о достатке приказчика Гирша могли только мечтать. Поэтому, не теряя ни секунды, Броха одним резким движением ухватила птицу-удачу за синий хвост.

К работе Залман приступил в тот же день. Сразу выяснилось, что постоянного жалования ему не полагается, величина заработка зависела только от него. Водку на винокурне ему отпускали по постоянной, невысокой цене. Залман должен был продавать ее шинкарям с надбавкой и вот она-то и составляла заработок его и Менделя. Больше продашь, больше получишь. Дороже продашь, больше получишь. Простой расчет!

Его предшественник Гирш так и поступал, но Залман, к вящему изумлению Менделя, повел себя совершенно по-иному. Наценку он установил мизерную, после вычета доли Менделя ему едва оставалось на жизнь. Зато товар расхватывали просто из рук, и шинкари Зяму обожали, ведь они хорошо зарабатывали на его честности и нескаредности.

Броха ухитрялась достойно вести хозяйство на скромный заработок мужа, а он все свободное время проводил над книгами. Ворота учения потихоньку, со скрипом, начали вновь отворяться.

Прошло несколько лет. Зяма заматерел, неожиданно быстро расплылся, оброс бородой, гибкий юноша превратился в солидного мужчину, выглядевшего старше своих лет. Да и Броха порядочно раздалась, напоминая собой конус, обращенный широкой стороной вниз. Роды не щадят женскую фигуру, расширяют бедра, оттопыривают все, что сзади ниже талии, наливают полнотой подбородок.

Зяма не замечал перемен во внешности жены. Она для него была единственной разрешенной Богом женщиной во всем мире. А раз так, какая разница, где прибавилось жира и насколько набрякли мешки под глазами от бессонных ночей, проведенных возле люльки с хныкающим младенцем?

Любил ли Зяма Броху? Хороший вопрос! И в нем стоило по-настоящему разобраться. Зяма много раз задавал его себе и не раз пытался ответить на него с максимальной честностью. Вокруг столько болтали о любви, разумеется, плотской, между мужчиной и женщиной, пусть даже в самом возвышенном, супружеском виде, но все равно приземленной. Юношей он пропускал мимо ушей эти разговоры простонародья; порушу, сосредоточенному на возвышенном, они казались грубым унижением самого слова «любовь».

Любовь... что они понимают в любви? Зяма любил запах старых книг, любил разбирать сложные комментарии, любил молиться, любил Тору и надеялся, что любит Бога. А жена, женщина, это, в общем-то, лишь помощник на жизненном пути. Помощник важный, очень удобный и существенный, иногда приносящий немалое наслаждение. Но любовь... разве любит балагула колеса своей телеги?

Это Броха была обязана его любить, ведь именно он сделал из нее сосуд. Не в грубом, примитивном смысле, как его понимают неграмотные люди. Превратив ее из девушки в замужнюю женщину, он открыл для нее прежде закрытые источники Божественного света.

«Впрочем, колеса, – думал Зяма, – неточное сравнение. Я люблю Броху, как балагула любит свою лошадку. Да, меня переполняют теплые чувства, когда я думаю о жене, да, мне важны ее здоровье и хорошее настроение, и я готов пожертвовать многим, лишь бы моя лошадка была довольна жизнью. Но можно ли назвать это любовью?»

Мысли мыслями, сомнения сомнениями, но в чужую голову еще никому не удалось проникнуть. Для всех окружающих Зяма и Броха были идеальной парой, и вечный старичок, наставлявший женихов перед свадьбой, приводил их в качестве примера для подражания.

Дом Зямы и Брохи находился возле одной из площадей Курува, где возвышалась главная синагога, перед которой обычно проводили обряд бракосочетания, ставили хупу. По дороге на площадь свадебные процессии не могли миновать их дом, и Зяма с Брохой всегда выходили на крыльцо приветствовать жениха и невесту. В память о своей женитьбе, отмеченной необычными обстоятельствами, они брали авдальные свечи, как это было на их хупе, и, прикрывая руками от ветра трепещущие огоньки, благословляли жениха и невесту.

Смотрели Зяма и Броха не на процессию, а друг на друга, и казалось, жар пламени свечей проникал прямо в их души. Сами того не сознавая, они стали добрым предзнаменованием, хорошей приметой для новой пары, и поэтому свадебные процессии вовсе не случайно проходили именно по их улице.

С годами характер Зямы становился все покладистей, а Броха, наоборот, дальше и дальше уходила от девичьей мягкости. Чрезмерная снисходительность мужа начинала ее раздражать. Ей без конца хотелось его поправлять, ведь ошибки и промахи были видны, как на ладони. Увы, со своими замечаниями Броха частенько садилась в лужу.

Как-то раз Залман вернулся из поездки в расстроенных чувствах.

– Я ведь совсем с ним не знаком, – повторял он, рассказывая жене про устроенную ему подлость. – И даже не успел сделать ему ничего хорошего! Почему же он повел себя столь низко и недостойно?

– Ты оговорился, – поправила его Броха. – Не успел сделать ему ничего плохого.

– Вообще нет, – махнул рукой Зяма. – Именно хорошего. Люди ведь не любят, когда им делают добро.

Вместо ответа Броха с озабоченным видом потрогала лоб мужа.

– Зямчик, ты хорошо себя чувствуешь?

– Вполне хорошо, а почему ты спрашиваешь? И почему проверяешь у меня температуру?

– Потому, что ты говоришь странные вещи.

– Они странные лишь на первый взгляд, Броха. Люди не любят чувствовать себя должниками, а доброе дело воспринимают как долг, требующий возврата. Если человек порядочный, он старается вернуть добро, если не выходит тому, от кого получил, то кому-нибудь другому.

А люди низкие начинают искать причину, освобождающую от возврата долга. Самый простой и чаще всего используемый выход – очернить дарителя. Мол, он такой негодяй, что ему не полагается ничего возвращать. Я с этим сталкиваюсь постоянно в своей работе и уже перестал удивляться.

– Какой же ты умный! – ахнула Броха. – Мне такое и в голову не могло прийти.

– Ну, – скромно потупился Зяма. – Это ведь не мои мысли, я только повторяю слова великих людей.

– Если повторяешь к месту и по делу, значит, они стали твоими, – возразила светящаяся от гордости Броха. – А значит и моими тоже. У нас ведь все на двоих, не только ложки и ложки!

– Конечно, конечно, – ответил успокоенный Зяма. Ответ Брохи точно вписывался в нарисованную им в уме картину супружеских отношений и не мог не принести успокоение.

Восхищение восхищением, но Броху изрядно угнетало, что ее муж, мудрец и знаток Учения превратился в заурядного приказчика на винокуренном заводе.

– Ты так много прочитал книг! – то ли восторгалась, то ли укоряла она Зяму. – Почему бы тебе ты не стать раввином, как ребе Михл, ведь ты знаешь не меньше его?!

– Меньше, куда меньше, – устало отражал ее наскоки Зяма. – Понимаешь, есть старые солдаты, которые ничего другого не умеют, кроме солдатского ремесла и поэтому застряли навечно в этом звании. А есть молодые генералы, которые с возрастом выходят в фельдмаршалы. Вот я – солдат, а ребе Михл – фельдмаршал!

– Ты тоже фельдмаршал! – возражал Броха. – Почему бы тебе не подготовиться и сдать экзамены на раввина?

– Я вижу, тебе не терпится стать ребецн, – улыбался Зяма. – Никаких шансов, моя дорогая, просто никаких. Но если ты приложишь усилия, и будешь тратить больше времени на воспитание наших мальчиков, сможешь стать матерью раввина.

Но Брохе не сиделось. Ладно, если по духовному пути ее муж не хочет продвигаться, то пусть больше зарабатывает! По ее мнению их положение становилось с каждым годом хуже и хуже. Родились, слава Богу, трое детей, а Зяма приносил домой те же самые деньги. Неплохие, но те же самые. И ни за что не соглашался что-либо изменить.

* * *

Как-то раз Залман отправился с товаром под Наленчув, городок в пятнадцати верстах от Курува. Евреев в окрестностях Наленчува почти не было, жили там преимущественно поляки и русины, и шинков по округе насчитывалось больше двух десятков. Пили крепко, но ума не пропивали. Крестьяне много и тяжело работали, жизнь мало кому из них давалась легко. В шинках искали забвение от надрывного труда и беспросветного будущего, спасение водкой было самым простым и быстрым из всех возможных спасений.

В первый постоянный двор под Наленчувом Залман и Мендель прикатили после заката, когда вечерняя роса уже блестела на листьях придорожных лопухов, а черные тени вязов делили пыльный шлях на неравные доли. Постояльный двор словно плавал в голубом тумане, полная луна ярко освещала забор с надетыми на штакетины глечиками.

Дело сладили быстро, шинкарь Дарек всегда брал два бочонка и платил на месте, не торгуясь. Еще бы ему торговаться, цены, которую назначил Зяма, в природе не существовало. Поэтому принимали его по-царски.

– Ну, куда вы поедете, на ночь-то глядя? – уговаривал Дарек.
– Переночуйте у меня в лучших номерах, отдохните, а за ужином я пошлю к бабке Циля.

Бабка Циля, жена покойного управляющего маетка одного из живших в Наленчуве панов, уже много лет готовила для польских постоянных дворов, где останавливались евреи. Давным-давно ее мужа по ошибке убили на охоте, управляющий сопровождал пана, отошел по нужде в сторону и пан, приняв его за прячущегося в кустах кабана, всадил ему в спину заряд картечи.

Когда Циля стала разбирать дела мужа, выяснилось, что денег в доме почти не осталось, а пан положил вдове мизерное содержание. В Наленчуве поговаривали, будто убийство было не случайным, управляющий прознал о темных махинациях пана, и тот решил избавиться от свидетеля. Но о каких махинациях шла речь, и насколько правдивыми были эти слухи – только Небу известно...

Циля пришлось остаться в городке, ведь пан платил, пока вдова убиенного была на глазах у всех. Содержания не хватало, и Циля принялась готовить кошерную еду для постоянных дворов.

Залман не хотел оставаться, но Мендель воспротивился.

– Зачем лошадок в темноте гонять? Дороги тут разбитые, не приведи Господь, угодят в яму, зашибут ноги или еще хуже. И спешить-то куда? Товар ведь не портится!

Остались. Мендель распряг лошадей, поставил в стойла, задал корму. Он никому не доверял своих лошадок, считая их чуть ли не членами семьи. Телега с водкой была надежно укрыта в каменном амбаре за толстыми створками ворот. Ключ от замка лежал у Менделя в кармане, и, тем не менее, он каждый час выходил проверить, все ли в порядке.

Силой его Всевышний оделил немеряной. Загнуть в узел толстенную кочергу было для Менделя детской забавой. Он мог присесть под лошадь, встать с ней на плечах и преспокойно разгуливать по улицам к вящему восторгу детей и зевак. Поляки называли его человек-гора, и покуситься на охраняемый им груз не могло прийти в голову самому последнему дураку.

Все это Менделю было хорошо известно, но, тем не менее, всегда, на любой стоянке он с часовой точностью выходил к амбару или сараю, где стояла телега, проверял замок и несколько минут стоял, прислушиваясь, не доносится ли изнутри подозрительные шорох или бульканье.

Принесли чугунок и корзину от бабы Цили. Все было тщательно обернуто в чистую холстину и завязано на несколько узлов. Зяма и Мендель помолились и сели ужинать. Подавал разбитной, ловкий половой, с плотной черной шевелюрой, похожей на конскую гриву, и жгучим блеском таких же черных глаз.

– Водочки не желаете? – спросил он, когда путники принялись за еду.

– Нет, спасибо, – отказался Зяма.

– А чья у вас водка? – степенно спросил Мендель.

– Как это, чья? – удивился половой. – Ваша, разумеется.

– Ну, подай, подай, – велел Мендель.

Половой принес бутылку и поставил на стол перед балагулой. Тот налил полный стакан, медленно выпил и почмокал губами, словно к чему-то прислушиваясь.

– Наша, говоришь? Больно хороша для нашей.

Половой только пожал плечами, мол, что есть, то есть.

С ужином Зяма не спешил. Еда – это очень важная часть жизни и относиться к ней следует осторожно и внимательно. Берет человек кусок плоти убитого животного или перетертые зерна срезанного растения и делает их частью своего тела, частью себя самого. От того, что человек ест и как он это делает, зависят трезвость мысли, ночные страхи, страсти и порывы, не говоря уже о болезнях.

Мендель обычно нещадно наворачивал, быстро уминая все лежащее на тарелках, но, оказываясь за одним столом с Залманом, следовал его повадке и тоже не торопился. Вот только подливал и подливал себе из бутылки. Половой стоял поодаль, но наготове, возможно, рассчитывая на чаевые, возможно, по винуясь указанию Дарека обслужить гостей наилучшим образом.

После ужина Зяма отправился в свою комнату и вытащил из сумки сборник новых респонсов раввинов Люблина. Ему совсем недавно привезли эту книгу, он взял ее с собой в дорогу и с

большим интересом и превеликим удовольствием просидел над ней за полночь.

Мендель не встал из-за стола. В поисках, чем бы еще поживиться, он сделал знак половому выгрести на свою тарелку все, что осталось в чугушке. Пока тот скреб ложкой по дну, Мендель решил налить себе водочки, но из бутылки выкатилось всего несколько капель.

– Освежить? – улыбнулся половой.

– Освежи.

Спустя минуту, перед Менделем красовалась полная бутылка, а на тарелке призывно дымились остатки курицы.

– Звать-то тебя как? – спросил Мендель. Половые у Дарека менялись довольно часто, и Мендель не помнил их имен и лиц. Этот ему нравился, было в нем что-то вызывающее доверие.

– Станислав, Стас.

– Выпьешь со мной, Стас?

– Дарек запрещает. Но хрен с ним, уже ночь на дворе и посетителей больше нет. Выпью.

Он принес чистый стакан и поставил перед Менделем.

– Половинку, не больше. Вдруг, кого-то нелегкая принесет.

Выпили. Мендель захрустел курицей, а половой лишь втянул носом воздух и чуть потряс головой.

– Хороша водка, – пробурчал Мендель сквозь курицу. – Хороша!

Стас перегнулся через стол и прошептал:

– Хороша, да не ваша.

– Что значит, не ваша? И чего ты шепчешь, никого ж вокруг нет?!

Половой встал и пересел на скамью рядом с Менделем.

– Эту водку подпольно гонит один поляк на заброшенном хуторе. Дарек потихоньку берет у него маленький бочонок. Цена – смешная, а товар очень хороший.

– Опасно, – покачал головой Мендель. – Если власти прознают о торговле незаконной водкой, разнесут твоего Дарека по кочкам. А пан Анджей, у которого право на курение водки в наших краях, тому поляку оторвет голову вместе с хутором.

– Потому Дарек и берет только один бочоночек, чтоб никто не заметил. Но даже на нем наваривает будь здоров!

– Рисковый парень, – хмыкнул Мендель. – А тихий-тихий, кто бы мог подумать?!

Стас снова наполнил стаканы. На сей раз, налил и себе полный. Взял горбушку хлеба, крупно посолил и произнес:

– За ваше и наше здоровье!

– Лехаим, – отозвался Мендель и опрокинул стакан в глотку.

Он пил крупными глотками, не морщась, как пьют воду. Стас зажмурился, кривясь, опорожнил стакан и набросился на горбушку.

– Чего кривишься, – добродушно заметил Мендель. – Если не любишь, зачем пьешь?

– А может, я люблю кривиться, – ответил Стас. – Так нравится товар?

– Какой товар? – недоуменно переспросил Мендель.

– Да вот этот, – указал на бутылку Стас. – Тот поляк на хуторе мой брат. Давай дело сладим.

– Какое еще дело?

– То самое! Я тебе по дешевке буду водку выставлять. Твой хозяин, реб Гейче, с каждой бочки платит долю Моравскому, плюс налоги. А эта водочка чистая, никаких наценок. Ты ее продавай и хозяину своему ничего не говори. Шинкари по твоей цене все считают, лишней бочки никто не заметит. А навар тебе будет – о-го-го! Понимаешь, тебе лично, тебе, а не хозяину.

– Да ты что! – ахнул Мендель. – Разве я вор? И думать о таком не моги!

– А кого ты обворовываешь? – удивился Стас. – Реб Гейче за свою водку получит сполна, до грошика. Шинкари будут счастливы по вашей низкой цене прикупить еще товару, им все время не хватает. Кто же останется в накладе? Казна не получит налога с этой бочки и пан Моравский заработает меньше. О них ты заботишься? Эти подлецы сосут из нас кровь, где только могут! Их провести не воровство, а святое богоугодное дело.

– Нет, я не дурак, сам голову в петлю засовывать! – замахал руками Мендель. – Нет, нет и нет.

– Ну, как хочешь, – тут же отстал Стас. – Мое дело предложить.

Мендель сидел еще с полчаса, допивая водку. Она и в самом деле была хороша. Чистая, крепкая, огнем текла по жилам и почти не ударяла в голову. Видимо, очищал ее поляк на совесть, не спешил, не экономил.

Мысли о дополнительном заработке не дали Менделю заснуть. Вернувшись в номер, он долго ворочался с боку на бок, и кровать жалобно повизгивала под весом его большого, грузного тела.

У всякого еврея хватает забот, и ото всех забот помогает только одно лекарство – деньги. Свое предложение Стас сделал как нельзя вовремя, Менделю именно сейчас были позарез нужны пять-шесть сотен золотых, которых взять было абсолютно неоткуда.

А риск... риск, конечно был, но и в самом деле небольшой. Кроме Залмана никто точно не знал, сколько водки они брали с собой в каждую поездку. И тем более, никто не мог подсчитать, сколько ее продавали в десятках шинков. Конечно, реб Гейче все записывал в конторскую книгу, чтобы потом платить налоги, но между записью и реальной жизнью существует зазор, куда вполне помещалась еще одна бочка.

Говорить с Зямой обо всем этом не имело никакого смысла. Насколько Мендель успел его узнать, он был прямой, как угол дома. Уговорить Залмана мог лишь один человек на свете – Броха. И, вернувшись из поездки, балагула отправился прямо к ней.

– Это очень интересное предложение, – по-мужски ответила Броха. – Но опасное. Нужно хорошенько его обдумать. Дай мне неделю.

Мендель ушел от Брохи обнадеженным. Он успел сжиться с мыслью о дополнительном заработке, прикинул, сколько будет ему доставаться и понял, что недостающие шесть сотен золотых он соберет за три месяца. А потом... сияющее пространство безбедного «потом» манило и тревожило грубое сердце балагулы. Он с нетерпением отсчитывал дни, дожидаясь назначенного Брохой срока, пока его не вызвал к себе Залман. До утра он сидел в конторе винокуренного заводика, а после обеда уходил в синагогу.

– Жене надо что-то перевезти, – сказал Залман, явно торопясь покинуть контору. – Ты бы не помог?

– Конечно, конечно, – замирая от радости, воскликнул Мендель. У него не было ни малейших сомнений в том, для чего Броха хочет его видеть.

– Сделаем так, – с порога объявила Броха. – Зяма ни о чем не должен догадываться. Начиная с ближайшей поездки, ты будешь ставить на телегу еще одну бочку. Пустую, на всякий случай. Вдруг одна из полных треснет, или потечет или мало ли какой случай в дороге. Должна быть запасная, куда перелить товар.

– Разумно, – согласился Мендель. – Правда, ничего такого до сих пор не бывало, бочки дубовые, крепкие...

– А вдруг? – перебила его Броха. – Стоит ли рисковать дорогим товаром? В любом случае ты уже завтра поделись с Зямой своими опасениями и скажи, что хотел бы подстраховаться. Ничего подозрительного в этом нет.

– Хорошо. А что дальше?

– Дальше очень просто. На постоялом дворе у Дарека ночью ты вместе со Стасом меняешь пустую бочку на полную. А потом втихаря от Зямы продаешь ее шинкарям чуть дешевле, чем обычно. Но с условием держать язык далеко за зубами. Шинкари люди ушлые, за грош мать родную продадут. Хоть и смекнут, что дело не совсем чисто, но будут брать и молчать. А вот от тебя, Мендель, многое зависит. Многое, если не все. Сумеешь?

– Думаю, что сумею, – ответил Мендель. – Уверен, что сумею.

С того дня начались «семь сытых лет» в семье Зямы и Брохи. Под шорох страниц, под смех подрастающих детей, под шелест листопада и раскаты летних гроз.

«Вот она, моя жизнь», – иногда думал Зяма, возвращаясь в субботу вечером из синагоги. Курув светился желтыми и розовыми огнями окон, всхрапывали в сараях лошади и коровы, неземной чистоты звезды холодно переливались в черном небе.

«До чего же хорошо, – думал Зяма. – Хорошо вдыхать этот воздух, украшенный ароматами субботних блюд, хрустеть подошвами сапог по снегу или палой траве, думать о заботах, ждать праздников, гладить детей, обнимать Броху. До чего же хорошо жить!»

Броха тратила деньги осторожно, вела дом на цыпочках, не роскошествуя, покупая лишь самое необходимое. Мало ли в Куруве завистливых глаз, скрупулезно оценивающих возможный заработок Залмана и расходы его жены? Остававшиеся монеты она увязывала в мешочки и тщательно прятала. Подрастут дети – пригодится все, до последнего грошика.

И Мендель расцвел, стал собирать приданое для двух дочерей, скрытно пополняя тяжелыми золотыми монетами захованный в заветном месте мешочек. Казалось, не будет конца этим «сытым годам», никогда не закончится спокойная, уверенная жизнь.

* * *

Увы, счастье закончилось быстро, очень быстро, слишком быстро, не протянув даже нескольких лет. Инструмент, заложивший его основу, оказался разрушителем стен. Ловко проворачивая какие-то дела в Куруве, Станислав зашел отпраздновать удачу в местный шинок, напился и с пьяных глаз болтанул лишнего собутыльникам. И все бы сошло с рук, забылось и вылетело из хмельных голов, если бы за соседним столом не сидел доносчик, мойсер Гецл.

То ли он пришел позже, когда все уже были достаточно пьяны и плохо различали, что происходит вокруг, то ли с самого начала сидел, незаметно забившись в угол, но птичка вылетела из гнезда, и тайное стало явным.

Гецл помчался к пану Моравскому, подпрыгивая от возбуждения. Давненько в его сети не попадалась такая жирная рыба! Еще бы, незаконное производство водки и безналоговая торговля ею! На что они покусились, идиоты, на что посмели поднять руку!

Пан Анджей тут же пришел в бешенство. Никто из домашних и слуг не удивился, Моравский впадал в ярость по три раза на дню, почти всегда без видимых причин. Эмилия, его жена, решила прибегнуть к испытанному средству – задушевной беседе.

– Да как я могу успокоиться, – заорал Моравский, выслушав жену. – У меня воруют, запустили руки по локоть в мой карман и нагло шевелят пальцами!

– Ну, дорогой, сколько там они могут уворовать? Мелкие лавочки, шинкари, арендаторы? Гроши, грошики!

– Грошики! – заревел пан Анджей. – Это мои, мои грошики! Размету, разнесу по кочкам. Жиды проклятые!

– При чем тут евреи? – удивилась пани Эмилия. Она уже успела познакомиться со всеми подробностями дела, ведь разговаривая с Гецлом Моравский орал так, что хрустальные подвески в люстре жалобно позванивали. – Водку поляки курили, и продавали ее тоже поляки. Поляки же и покупали. Во всей цепочке два еврея, Залман и Мендель.

– Ты ничего не понимаешь в жидах, ничего! Они всему зачинщики! Сидят в своих синагогах и целыми днями меркуют, как поляка объехать на кривой метле. И ведь объезжают, еще как объезжают! Больно много воли себе взяли. Ну, да ничего, ничего, я им руки укорочу!

– Не трогай их, – сказала пани Эмилия. – Если хочешь знать, я сама почти еврейка.

– Ты жидовка? – пан Анджей покраснел и выпучил глаза, точно вареный рак.

– Ну не совсем, но почти.

– Это как, почти? Почти не бывает!

– Еще как бывает, – улыбнулась пани Эмилия. – Вместо того, чтобы шуметь и топтать ногами, выпей бокал кларета, сядь возле меня и послушай.

– Какой, к чертям собачьим, кларет! Такие новости надо запивать только водкой!

Пан щелкнул пальцами, вышколенный лакей тут же поднес серебряный поднос с хрустальным графинчиком и фужером. Пан налил полный фужер холодной водки, выпил, не закусывая, и собрался повторить, но пани поднялась с канапе.

– Ты куда, дорогая? – развел руками успокоенный водкой Моравский. – А рассказ?

– Не могу слушать, как ты говоришь грубости. Приди в себя, тогда и поговорим.

– Я уже пришел, – почти нормальным тоном заверил Моравский. Он вспыхивал, как солома, но и перегорал моментально, уже через пять минут почти полностью забывая о приступе бешенства.

– Ладно, поверим тебе на слово, – шутливо погрозила пальчиком Эмилия, возвращаясь на канапе. – Но не больше одного фужера!

За годы супружества она хорошо изучила характер мужа и знала, за какую веревку дергать, направляя норовистого скакуна в нужном направлении.

– Убирайся, – бросил Моравский лакею, и тот немедленно вышел, тихонько притворив за собой дверь. Пан выпил еще фужер, пригладил указательным пальцем усы и осторожно опустился на канапе рядом с женой. Эмилия умела и любила говорить, а пану нравилось слушать ее рассказы, немало украшавшие их скучную деревенскую жизнь.

– В деревне, где я выросла, – начал пани Эмилия, – жил колдун по имени Марек. Да-да, самый настоящий, и все жители его боялись.

Моравский иронически хмыкнул и снова пригладил усы.

– Если ты будешь надо мной смеяться, я не стану рассказывать.

– Не обижайся на своего старого мужа, моя дорогая, ты ведь знаешь, как я тебя люблю!

Он нежно взял жену за руку и поднес к губам. Водка начала свое магическое воздействие, и сварливый, вздорный пан с тяжелым характером менялся прямо на глазах.

– Знаю, знаю. Только ты вовсе не старый, – возразила Эмилия, – а солидный и мудрый!

Она нежно провела пальчиками по щеке мужа, и продолжила:

– Как и все колдуны, Марек ссужал деньги в рост, и половина деревни была у него в должниках. Он и в молодости слыл недобрым человеком, ведь хорошие люди не станут заниматься богопротивными делами, а к старости его характер совсем испортился. И задумал Марек известить род людской и начать прямо с деревни, в которой прожил всю жизнь.

Один крестьянин задолжал ему большую сумму. Колдун специально обращался с ним ласково, предлагал хорошие условия и ссужал еще и еще, пока долг не вырос до небес. Отдавать бедолаге было не с чего, и тогда Марек пригласил его к себе, напоил водкой и предложил сделку:

– Ты приносишь мне святую гостию из костела и сердце своего трехлетнего сына, а я списываю долг и дарю тебе сто золотых. Да-да, не смотри на меня так. Если ты не вернешь деньги, я заберу твою хибару и все хозяйство, а тебя вместе с семьей выброшу на улицу. Твои взрослые дочери, чтоб не умереть с голоду, пойдут на панель, а трехлетний ребенок все равно умрет, не выдержав голода и скитаний. На сто золотых ты устроишься, начнешь новую жизнь и родишь себе еще сына, а то и двоих. Дурная работа нехитрая, а жена твоя еще в соку.

Крестьянин принялся умолять колдуна, в ногах валялся, слезы горькие лил, только тот ни в какую. Или гостию и сердце или немедленно весь долг до гроша. Понял бедолага, что деваться некуда, и согласился.

– Ух-ты! – воскликнул Моравский. – Неужели сына родного загубил?

– Гостию из костела украсть было несложно, – отозвалась пани Эмилия. – А вместо сына он зарезал поросенка и принес Мареку его сердце. У нас в деревне говорили, будто внутренности свиньи и человека похожи. Я сама никогда не видела ни тех, ни других, но так рассказывали.

Из сердца и святой гостии колдун изготовил снадобье и насыпал во все колодцы деревни. Он думал, что начнутся эпидемия, мор, но вышло по-другому. Свиньи, приходящие на водопой, началидохнуть. Крестьяне быстро сообразили, что дело нечисто, перестали поить животных из колодцев, и падеж прекратился.

– Славная байка, – расхохотался пан Анджей. – За хороший конец можно и выпить!

Он встал, подошел к столику, на котором лакей оставил графинчик с водкой, и осушил еще один фужер.

– Извини, дорогая, но эту историю я уже слышал. Правда, немного в другом виде. Жид-колдун захотел отравить поляков Познани. Но не обычным ядом, дело бы скоро раскрыли, а так, чтобы никто не догадался. Разумеется, на жизнь колдун зарабатывал ростовщицеством, как и многие из его племени.

И был у жида должник, тоже увязший по уши, а у того грудной младенец. Только не сердце ребенка колдун потребовал, а стакан грудного молока, которым жена католика младенца вы-

кармливала. Получив молоко, колдун пробрался в полночь на центральную площадь Познани, где на виселице болтался казненный днем вор. Снял повешенного, расколол ему череп и залил молоко. Прислушался, а оттуда донеслось свиное хрюканье.

– Ох, меня обманули, – застонал жид, – меня обманули!

Но делать уже нечего, пришлось убраться восвояси. А следующим утро все свиньи Познани сбежались под виселицу и стали рвать друг друга на части. Представь себе, что вместо свиней на площадь прибежали бы честные католики? Да они бы поубивали друг друга!

Эмилия улыбнулась:

– Анджей, неужели ты веришь в эти сказки?

– Но ты же веришь в свои!

– Ты просто не дослушал меня до конца. Этот колдун потом сделал, уж не знаю из чего, другое снадобье и началась страшная эпидемия. Все умирали, и поляки, и русины, и евреи. Кроме одной семьи.

Много лет назад через нашу деревню проезжал цадик из Лежайска. Из его коляски выпала какая-то книга, но никто не заметил пропажи. Книгу подобрал игравший на улице еврейский мальчик, по имени Пинхус. Он не подозревал, что ее потерял цадик, но бежал почти час за коляской, пытаясь вернуть пропажу. Кони шли резво, и Пинхус никак не мог догнать путников, пока те не остановились у речки. Цадик взял книгу и спросил мальчика, где он ее нашел? Тот ответил. Цадик погладил Пинхуса по голове и благословил, чтобы его дети никогда не болели.

Мальчику тогда это показалось странным, он сам еще был ребенком, но про благословение цадика никогда не забывал. Прошли годы, Пинхус вырос, женился, завел семью. И тогда все увидели, что слова праведника сбылись. Ни один ребенок в семье Пинхуса ни разу не заболел. Ничем, даже насморком.

Когда началась эпидемия, родители одного из заболевших детей сообразили отнести его Пинхусу и попросили усыновить. И что ты думаешь, на второй день ребенок выздоровел. Слух об этом мгновенно разнесся по деревне, и родители всех заболевших детей принесли их в ту семью. Во дворе немедленно

возвели шалаш, как продолжение дома, и в него уложили заболевших. Пинхус с женой ухаживали за ними, точно за своими собственными детьми, и те стали поправляться, один за другим.

И тут заболела я. Моя мать, недолго думая, положила меня на коляску, отвезла к Пинхусу и попросила удочерить, как остальных заболевших. Но тот отказался, ведь я была католичкой, из старинного шляхетского рода, а вовсе не еврейка. Мама стала его умолять, просить о спасении, а он ни в какую: не можем удочерить, она не еврейка. Так сделайте ее еврейкой, сказала мама. Не знаю как, не знаю что, но они провели какую-то процедуру. Я ничего не помню, маленькой была, да и в жару, но мама рассказывала. В общем, Анджей, положили меня в шалаш к другим детям, моим названным братьям и сестрам, и через день я выздоровела.

Мама, конечно, сразу забрала меня в поместье, и больше я никогда не видела ни Пинхуса, ни его семьи. Знаю только, что много-много лет подряд отец каждую осень, перед началом еврейских праздников, отправлял Пинхусу полную телегу всяких подарков.

Моравский несколько минут молчал, поглаживая усы, потом воскликнул:

– Так что, из-за этой истории я должен мириться с воровством?

– Не мирись, – мягко ответила пани Эмилия, – но и не свирепствуй. Предупреди виновных, что было, то было, но больше такого не должно происходить.

* * *

На следующий день после семейной беседы супругов Моравских Залман был доставлен к пану Анджею. Два гайдука вломились утром в его дом и велели немедленно собираться. Залман сидел за столом, завтракая после молитвы.

– А для чего пан Моравский хочет меня видеть? – спросил он спокойным голосом человека, не чувствующего за собой ни малейшей вины.

– Цыц! – рявкнул один из гайдуков. – Язык не распускай. Велено явиться. Встал и пошел! Ну?

В качестве подкрепления своего довода он поднял нагайку и со свистом ударил по столу. Тарелка разлетелась вдребезги, и кусочки каши перепачкали одежду Залмана. Бреха стояла белее стены. Она сразу поняла, в чем дело, и надеялась лишь на то, что открытость и прямота ничего не знающего мужа может их спасти.

Несмотря на обещание не свирепствовать, пан навалился на Залмана, как медведь на улей с медом. Однако, несмотря на угрозы, проклятия и зловещие обещания, жидок вел себя уверенно, как ни о чем не подозревающий человек. Все обвинения он полностью отметал, ссылаясь на подробные записи в конторской книге.

– Посмотрите на мой образ жизни, – спокойно повторял Залман. – На что, по-вашему, я трачу такую кучу уворованных денег?

– Стану я рыскать по твоей хибаре в поисках кубышек? – усмехался пан. – Спущу с тебя шкуру живьем, а кубышки твоя баба сама выкопает и принесет.

– Нет у нас никаких кубышек, – пожимал плечами Залман. – Еле-еле концы с концами сводим. Не верите, выясните у шинкарей, которым я водку продаю. Спросите, сколько они платят, сравните с тем, почем мне отпускают товар на винокурне, и все станет на место.

Пан считал себя опытным человеком, хорошо разбирающимся в людях. Уверенность и спокойствие Залмана произвели на него благоприятное впечатление. В общем-то, кроме доноса Гецла, у Моравского не было никаких доказательств. Да и сам донос, подслушанный разговор в шинке, мог оказаться пьяной похвальбой или откровенным враньем. И пан Анджей решил послушаться жену – спустить дело на тормозах.

Он, разумеется, еще долго орал на Залмана, угрожая и требуя, но, видя его неприступность, в конце концов, отпустил, взяв с него слово даже не думать ни о чем подобном. Слово Зяма дал с легкостью, ему и в голову не могло прийти, что творили за его спиной любимая жена и верный помощник.

Казалось, гроза прошла, и вновь потянулись дни, наполненные медовым шелковым покоем и привычными заботами. Разумеется, отношения со Станиславом Мендель немедленно

прекратил. От таких болтунов нужно держаться подальше, а не пускаться вместе с ними в щекотливые и опасные затеи. Но на всемирной фабрике душ делу готовился новый поворот.

Непонятно каким образом, но о незаконной продаже водки стало известно воеводе, и тот немедленно спустил с поводка полицию. Первым взяли Стаса. После двух часов основательного допроса тот рассказал о трех десятках шинкарей, которым через Зяму сбывали незаконную водку. Речь шла не про одну бочку в месяц, а о многих и многих бочонках, которые Мендель забирал в условленном месте, а Залман после продажи привозил деньги. Ущерб казне оценивался в тысячах золотых.

– Это евреи нас подбили, – кривя рот, чтобы не заплакать, каялся Станислав. – Залман все придумал, Залман нас научил, Залман нам крошки бросал, а жирный кусок тащил себе. Он всех нас обманывал, врал на каждом шагу. Я давно хотел прийти и сознаться, но боялся его мести. Он жестокий, безжалостный злодей, если узнает, что я его выдал, сведет со мной счеты!

Следователь не поверил, признание Станислава выглядело оговором. Залман родился и вырос в Куруве, его хорошо знали не только евреи. Портрет, нарисованный свидетелем, мало подходил на реального человека.

Кроме того, концы слишком легко и просто сходились в одной точке. Но все-таки следствию решили дать ход. Вызвали трех шинкарей, названных Станиславом, и трое из них подтвердили, что покупали у Залмана недорогую водку. Их показания совпадали с тем, что рассказал Залман, и следователь почти решил закрыть дело, но на всякий случай вызвал еще двоих шинкарей. И вот тут его ждал сюрприз, шинкари полностью повторили слова главного свидетеля о десятках бочонков, еврейской хитрости и обмане.

Тогда на допросы потащили Залмана. Тот повторял, что ничего не знает, не видел и не слышал, и понятия не имеет ни о чем, повторяя те же соображения, которые приводил Моравскому. Броча не посвятила его в свои махинации даже намеком, чтобы его показания оставались искренними. Но в отличие от пана Анджея, полицейских правдивость показаний Залман не впечатлила.

Допросили Менделя, но балагула молчал как рыба. Не видел, не слышал, не знаю. На том первый круг дознания и закончился.

Показания были запротоколированы и отправлены в Варшаву, поскольку крупными делами занимались следователи рангом повыше, чем мелкий полицейский чин захолустного городка. Зяму и Менделя хотели посадить, но реб Гейче подмазал, кого надо, и меру пресечения заменили на домашний арест.

Залман пребывал в полном недоумении. История выглядела более чем странной. Он ничего не слышал о подпольной водке, ни о десятках бочек. Если даже нечто подобное существовало, прямой участник столь опасного предприятия не мог проговориться, да еще в присутствии Гецла. О жизни и смерти не болтают в шинке, о таких вещах держат язык далеко за зубами. И откуда взялись шинкари, давшие письменные показания? Залман знал хозяев всех питейных заведений на многие версты вокруг Курува, но об этих слышал впервые. Почему это вызвало недоумение только у него, а полицейские словно не заметили?

Вскоре до Курува докатились слухи об особом следователе из Варшавы. Беспощадный и неподкупный, он не давал никому спуска, а следствие гнал, точно охотничья собака зайца. Для него не существовало авторитетов, все, кроме работы, было ему безразлично. Даже имя его Славомир (Славек) Дембовский судебные чиновники Курува произносили осторожно, словно боясь потревожить спящее лихо.

Зяма выслушивал эти слухи с замиранием сердца. И хоть он был полностью уверен в своей невинности, но мало ли ложных дел было состряпано в Польше? Сколько безвинных евреев казнили по фальшивым обвинениям, скольких заморили голодом и голодом в тюремных казематах, скольких забили до смерти во время следствия? Помочь ему в его деле никто не мог, оставалось надеяться только на Всевышнего.

Из дому Зяме разрешалось выходить лишь в синагогу. Путь в нее пролегал мимо полицейского участка и по вполне понятной причине, он старался преодолеть этот отрезок пути как можно быстрее. Спустя неделю после допроса, поспешая на послеполуденную молитву, Зяма увидел перед участком забрызганную дорожной грязью черную карету. Таких в Куруве не водилось, и он сразу понял – приехал следователь.

Кучер, соскочив с облучка, почтительно распахнул дверцу. Из темного нутра легко выпрыгнул приземистый господин, одетый строго, но очень, очень дорого. Мундир из темно-синего сукна, с розовым стоячим воротником, но без знаков отличия, сидел как влитой. Господин окинул взглядом улицу и решительно направился к входу в участок. Дверь хлопнула, поглотив следователя, кучер взобрался на облучок, крикнул лошадям и укатил.

Зяма стоял, словно ударенный громом. Он сразу узнал следователя. И хоть тот был в польской одежде и постригся на польский лад, превратив кудлатую рыжую бороду в короткую бородку, обознаться было невозможно. Бес Самуил-Самаэль, собственной персоной, приехал из Варшавы вести дело Залмана.

Молился Зяма плохо, посторонние мысли не давали сосредоточиться. На ум лезли слова ребе Михла, сказанные много лет назад, перед его свадьбой с Брохой.

– Будем надеяться, что это поможет, – вздохнул ребе, объяснив Залману, как бороться с бесом Самаэлем и демоницей Махлат.

– Неужели свадьба может не подействовать? – с ужасом спросил тогда Зяма.

– В духовном мире нет абсолютно точных правил и всегда повторяющихся зависимостей. Мы движемся в нем на ощупь. Надеемся, что если раньше что-то сработало, то должно помочь и в следующий раз. Станем уповать на лучшее, и Всевышний воплотит наши упования.

И вот, Самаэль вернулся. Вернулся после стольких лет. И как теперь быть, что делать?

Броха, выслушав рассказ мужа, охнула и, словно в изнеможении, опустилась на скамью. От новости у нее подкосились ноги.

– Теперь понятно, – еле выговорила она, – и почему Стас якобы проговорился и кто такие новоявленные шинкари. Это все козни демонов, Зяма, они выстроили ловушку, а мы в нее угодили.

– Побегу к ребе Михлу! – вскричал Зяма. – Он спас меня в тот раз, спасет и на этот!

– Но ты же под арестом, тебе нельзя выходить на улицу!

– Плевать! – отрезал Зяма. – Я у демонов в кармане, а это хуже, чем арест.

Дверь открыла ребецн Сора-Броха.

– Раввин обедает, – не приветливо сказал она. – А потом будет отдыхать.

– Мне нужно немедленно увидеть ребе, – вскричал Зяма.

– После сна у раввина урок, потом вечерняя молитва, потом еще один урок. Попробуй поймать его завтра утром в синагоге.

Ребецн вдруг осеклась и смерила Залмана удивленным взглядом.

– А что ты тут делаешь, Зяма? Ты же под домашним арестом!

– Пожалуйста, – умоляюще произнес Залман, – немедленно, умоляю!

Дверь скрипнула, пропуская его вовнутрь. В доме ребе Михла было пасмурно, сквозь щель между задернутыми занавесками с трудом проглядывала полоска серого неба и черный скат крыши соседнего дома. Жизнь раввина протекала в стороне от любопытных глаз, ребецн живой плотиной отгораживала мужа от бурных потоков страстей и бед человеческих.

Ребе Михл обедал. На большом коричневом столе дымилась тарелка борща, а в чистой тарелке лежали ломтики аккуратно нарезанного черного хлеба. Раввин оловянной ложкой, зажатой в правой руке, зачерпывал чуть-чуть красной жидкости, медленно, будто раздумывая, стоит ли, подносил ко рту. После каждой ложки он откусывал крошечный кусочек от горбушки, зажатой в левой.

– Еда, это очень важная часть жизни, – часто повторял он, – и относиться к ней следует осторожно и внимательно.

Слова ребе Михла настолько стали частью мировоззрения Зямы, что он давно перестал воспринимать их, как чужое и выученное. Это был уже его, Зямы, образ мыслей и стиль поведения. Поэтому, оказавшись перед обедающим раввином, он смущенно остановился у порога, переминаясь с ноги на ногу. Ребе Михл положил ложку и перевел взгляд на гостя.

– Что стряслось, Залман, на тебе лица нет?

– Он вернулся, ребе Михл!

– Кто?

– Демон Самаэль! Приехал под видом следователя из Варшавы. Это он, он заварил эту кашу с незаконной водкой. Пожалуйста, сделайте что-нибудь! Напишите мне камео, дайте лахаш-заклинание, что-нибудь, умоляю, что-нибудь!

Ребе Михл с минуту просидел в полном молчании, словно прислушиваясь к далекому, едва уловимому звуку. Зяма терпеливо ждал.

– Нет, – наконец произнес раввин, – этим уже не помочь, они хорошо подготовились. Обращаться к каббалистическим способам нет смысла, тут демоны сильнее. Нужна простая открытая вера.

– Что вы имеете в виду? – пересохшими от волнения губами едва вымолвил Залман.

– Верить полной верой, что Всевышний добр и всегда помогает своему народу. Верить, что с Небес спускается только хорошее и во всем есть польза. Во всем, даже в мышах под полом.

– И в демонах, ребе?

– Разумеется, и в демонах. Хотя они тебя хорошенько испугали, но повторяю, верь, с Небес спускается только хорошее.

– С Небес, ребе Михл? Не из-под земли?

– Залман, ты меня пугаешь! После стольких лет учения, тебе не известно, что демоны тоже слуги Всевышнего?

– Известно-то известно, – с тяжелым вздохом ответил Залман, – читал я об этом. Только в книгах это выглядит совсем иначе, чем в жизни. Объясните, ребе Михл, какая польза от Самаэля? Мне от него лишь беды и нервоотрепка!

– Залман, а разве своим семейным счастьем ты не обязан именно ему?

Зяма вздрогнул. Эта мысль до сих пор не приходила ему в голову.

– Какая именно польза, – продолжил раввин, – полностью выясняется лишь после завершения истории. Выстоял человек в испытании, ему открывается правда. А не выстоял, эх...

– Тогда благословите меня, ребе! Чтобы хватило сил выстоять! Честно признаюсь, когда я снова увидел эту рыжую рожу, у меня коленки затряслись.

– Благословение тут не подходит. Нужна молитва.

– А в чем разница?

– Благословение высвобождает уготованное тебе добро, которое из-за каких-то твоих прегрешений не могло спуститься с Небес. А молитва меняет мир. Она может принести совершенно новое, чего не было в небесных планах. А ты выпросил, вымолил, и оно случилось. Молись Зяма, уповай на милость Небес и молись.

Зяма вышел от ребе Михла обескураженным. Он ожидал действенной помощи, чего-то более вещественного, чем слов о доброте Небес и милости Всевышнего. Стоял слякотный осенний день, темнело быстро, подступало время вечерней молитвы, и Залман потащился в синагогу. Если его поймают полиция, будет, чем объяснить нарушение правил ареста.

В синагоге он сел у окна и стал смотреть, как капли дождя ползут по стеклу. Он давно привык к простому уюту молитвенного зала, увесистой глыбе резного шкафа из мореного дуба для хранения свитков Торы, потертым спинкам скамеек. Запах старых книг и свечного воска говорил о длинной спокойной жизни, наполненной до краев упованием на милость Творца и справедливость Его деяний.

Начало темнеть, пришел габай Хаим, зажег свечи, сел на скамью у восточной стены и уткнулся в книгу. Чувство уюта стало почти осязаемым, словно подкладка старого плаща, мягко обнимающего плечи и спину. Желтые дрожащие огоньки свечей и тепло, разливающееся от протопленной печки, углом противостояли сгущавшемуся снаружи сумраку, в котором воображение Зямы чертило образы демона и демоницы, устроивших на него охоту.

Потихоньку стали собираться прихожане. Зяма увидел приказчика Гирша, обрадовался и жестом пригласил сесть рядом. Гирш грузно опустился на скамью, и та жалобно заскрипела. В смоляных завитках его бороды блестели дождевые капли. До начала молитвы оставалось несколько минут, и Зяма быстрым шепотом успел поведать Гиршу о своей беде.

– Я думал, ребе Михл придет мне на помощь, – пожаловался он. – А он лишь проповедь произнес. Мол, нужно искренне верить в доброту Небес и больше молиться. Будто я и без него этого не знаю! Демонов одной молитвой не одолеешь, действия нужны!

Зяма надеялся, что каббалист Гирш вступится за него, как вступился за Шимку, сына шинкаря Пинхаса с пулавской дороги. Но тот лишь недоуменно хмыкнул.

– Даже не знаю, чем тебе помочь, Зяма. Если ребе Михл велел молиться, значит, это единственное, что можно поделаться в твоём положении.

Габай поднялся со скамейки и начал громогласно произносить кадиш, возвещающий о начале молитвы. Гирш, словно обрадовавшись завершению разговора, распахнул молитвенник и перестал замечать все вокруг себя, включая, разумеется, и Залмана.

На слушание дела его пригласили через три дня. Желтое здание суда со стрельчатыми окнами и роскошной аркой парадного входа располагалось на центральной площади Курува. Широкая мраморная лестница, покрытая ковровой дорожкой, стертой почти до подкладки каблуками посетителей и чиновников, вела на второй этаж. Он был полностью отведен под беломраморный зал в три света, в котором было зябко даже летом, а зимой пальцы сводило от сырого холода.

Стены зала были обшиты темными дубовыми панелями, стряпчие сурово взирали из-за тяжелых дубовых столов на подсудимых и свидетелей. Их серьезные лица выражали неподкупность и строгую приверженность закону. А судья, восседавший на возвышении, казалось, олицетворял собой саму справедливость в ее земном воплощении.

– Если бы не этот поц из Варшавы, – прошептал Мендель, сидевшему рядом с ним на скамье подсудимых Залману, – мы бы купили их всех скопом, по дешевке. Но они боятся Славека Дембовского больше, чем бешеная собака боится воды.

«Я тоже его боюсь, – подумал Залман. – Только совсем по другой причине».

Славомир расположился за отдельным столом, и сосредоточенно перебирал лежащие перед ним бумаги, словно не замечая сидящих напротив Менделя и Зямы.

– Приступаем к слушанию дела, – объявил судья. – Начнем с опроса свидетелей обвинения. Прошу вас, пан Дембовский.

Славомир встал, одернул мундир, чуть поклонился судье и начал:

– Ваша честь! Ввиду непредвиденных обстоятельств, два свидетеля не сумели явиться на заседание. Поэтому сегодня мы можем заслушать показания лишь одного, но зато главного свидетеля, Станислава Ольшевского.

– Потрудитесь объяснить, что произошло с остальными, – ответил судья.

– По дороге на суд зашли в шинок, поссорились, подрались, покалечили друг друга.

– Одного свидетеля, даже главного, недостаточно для рассмотрения вопроса и вынесения приговора.

Вид у судьи был недовольный, ему явно хотелось все закончить за одно слушание.

– Ваша честь, – произнес Славомир. – В деле присутствуют письменные показания свидетелей, зафиксированные следователем. Прикажите доставить из моего кабинета папку и тогда мы можем обойтись без самих свидетелей.

– Хорошо, – ответил судья. – Объявляю перерыв.

Дождь перестал, но водяная пыль все еще плавала за высокими стрельчатыми окнами. Лучи солнца, выглянувшего из-за туч, раскрасили эту пыль во все цвета радуги.

– Стройте замыслы, но они рухнут, – пробурчал Мендель. – Говорите слова, но они не сбудутся. Потому, что с нами Бог.

– А они считают, будто с ними, – ответил Зяма.

– Демоны с ними, а не Бог! А с нами все будет хорошо.

– С чего ты так решил, Мендель? Откуда у тебя такая уверенность в благополучном исходе?

– Я не Мендель, я Мендель-Зисл. А уверенность от ребе Михла.

– Ты изменил имя?

– Да. Как вся эта каша начала вариться, я сразу побежал к ребе. А он говорит – меняй имя. А я ему говорю, меня в честь прадеда назвали, не могу менять. А он, мой совет такой, а дальше решай сам. А я ему: дед перед смертью попросил моего отца назвать первенца в честь прадеда. Так и сделали. Разве можно теперь менять? А ребе говорит – можно. А я спрашиваю, почему Зисл? Во время опасности дают еврею второе имя, Хаим или Рефозль. А ребе отвечает – так надо. Ну, я пошел в субботу в синагогу и у Торы взял второе имя. Теперь я Мендель-Зисл.

– Это хорошо, – согласился Зяма. – Это помогает. Но для полной уверенности в благополучном исходе недостаточно.

– Еще как достаточно! Вчера я был на кладбище. Неловко все-таки, решил прощения у прадеда попросить. Насилу отыскал могилу. Памятник мхом зарос, накренился. Счистил я мох и прочитал: тут погребен Мендель-Зисл сын Арона-Лейба. Ребе пророчески увидел, что мое имя неполное, то ли по ошибке, то ли не знаю почему. А спросить некого, родители умерли. Имя, это ведь судьба. Если оно неправильное, от него все беды.

– А может, ребе Михл просто был знаком с твоим прадедом? – хмыкнул Зяма.

– Не-е-ет. Тот умер задолго до того, как ребе Михл приехал в Курув.

– Ну, так может, ему о нем рассказывали.

– Да что о нем рассказывать? Самый обыкновенный был человек. Простой портняжка. Это святое наитие подсказало ребе Михлу ошибку.

– Может быть, может быть, – задумчиво произнес Зяма. Его мысли моментально скакнули от Менделя на него самого. Ведь он тоже приходил к ребе за помощью, и тот посоветовал ему уповать на Небеса. А вот Менделю дал более действенный совет и, возможно, поэтому его упование сегодня куда сильнее Зямино.

– Уверен, мне бояться нечего, – продолжил балагула. – А уж если мне бояться нечего, то тебе-то, – Мендель-Зисл осекся. Он едва не сболтнул лишнего, ведь Залман по-прежнему ничего не знал о его и Брохи махинациях с водкой.

– Что ты сказал? – переспросил Зяма, по-прежнему занятый своими мыслями.

– Ничего, ничего, так, зацепился за слово.

– А-а-а, бывает – вздохнул Зяма. – Ладно, будем надеяться, что ты прав, уповать на Всевышнего и верить в благополучное завершение всей этой сумасшедшей истории.

Один из стряпчих объявил о завершении перерыва. Судья вновь поднялся на возвышение и уселся в кресле.

– Прошу вас, пан Дембовский, огласите показания свидетелей.

Славомир встал, одернул мундир и громко произнес:

– Ваша честь, произошло досадное недоразумение. Мыши, – тут он поднял со стола папку в сафьяновом переплете и показал начисто отгрызенный угол. – Этой ночью мыши уничтожили все документы.

– Я в первый раз слышу, чтобы в здании суда мыши сгрызли показания свидетелей, – нахмурился судья. – Вам не кажется, что в этом деле слишком много досадных недоразумений?

– Вы совершенно правы, ваша честь, – нимало не смущаясь, ответил Дембовский, – но я лично еще вчера читал эти показания и могу повторить их слово в слово. Однако я все же предлагаю выслушать главного свидетеля, пана Станислава Ольшевского. Уверен, что вашей чести не понадобятся дополнительные материалы.

– Хорошо, – согласился судья, – приступайте.

Станислав встал, повинувшись знаку, поданному Славомиром, и уже собрался было начать, как вдруг дверь распахнулась и в зал, звеня шпорами, ввалился шляхтич. Был он в расшитой золотом малиновой венгерке, заливчатски заломленной меховой шапке и в гусарских рейтузах, заправленных в начищенные хромовые сапоги.

– Ваша честь! – командирским голосом рявкнул шляхтич. – Прошу слова.

– Вы находитесь в присутственном месте, – холодно произнес судья, – прошу вас, прежде всего, снять головной убор и представиться.

– Виноват, ваша честь, – рявкнул шляхтич, срывая с головы шапку. – Помещик Пулавского повята, поручик в отставке Болеслав Понятовский.

Шляхтич щелкнул каблуками и чуть склонил голову, выражая почтение суду.

– Итак, – более мягким тоном произнес судья, – что вы хотите сообщить суду?

– Я бы хотел сообщить суду, – с напором заговорил Понятовский, – что вот этот пся крев, – он поднял руку и указал дрожащим от возмущения указательным пальцем прямо на Станислава, – наглый враль и подлый обманщик. Три года назад я взял его арендатором в свой маеток, он за несколько месяцев ухитрился развалить все хозяйство, продать урожай и сбежать с деньгами к чертовой матери.

– Прошу держать себя в рамках приличий, пан Понятовский, – оборвал его судья.

– Еще раз прошу прощения, ваша честь. Но поймите и меня, два года я ищу этого сукиного сына по всей Польше и сегодня утром случайно узнаю, что он дает показания в Курувском суде. Какие еще показания, – загремел Понятовский, – в яму его, в яму ворюгу и подлеца!

– Это правда? – грозным тоном спросил судья, уставившись на Станислава. Тот не ответил, но отвел глаза в сторону.

– Поскольку при рассмотрении дела обнаружилось явное нарушение процессуальности, – начал судья, – связанные с отсутствием должным образом оформленных показаний свидетелей, я возвращаю его следствию для дознания. Вы же, пан Понятовский, можете подать жалобу на Станислава Ольшевского в установленном законом порядке.

– Сейчас я подам жалобу, – вращая глазами, заявил Понятовский. – Пусть он только выйдет из здания суда на улицу, тут же и подам. Очень увесистую, основательную жалобу. И не одну!

– Слушание дела закончено, – возвестил судья, поднимаясь из своего кресла. – Объявляю заседание закрытым.

Станислав Ольшевский исчез в тот же день. Никто не видел, как он выходил из здания суда. Вероятно, опасаясь мести Понятовского, Станислав бежал через черный ход и скрылся. Шинкари, покалечившие друг друга, пропали бесследно, скорее всего, разъехались по домам залечивать раны. Грозный Славек Дембовский отбыл из Курува на следующий день, продолжать дознание без свидетелей было невозможно. А спустя месяц Залман получил официальное уведомление о закрытии дела по причине отсутствия доказательств состава преступления.

– Разбежались демоны! – радостно воскликнула Броха. – Спасибо ребе Михлу, не сомневаюсь, это он их отогнал.

Залман не ответил. Молча натянул полушубок, нахлобучил шапку и отправился к раввину.

С утра пошел снег. Он косо летел с низкого сизого неба и жалобно поскрипывал под подошвами Зяминых сапог. В домах топили печи и дымок, настоящий на запахе сгоревшей сосновой смолы, витал над Курувом. Дышалось легко и свободно,

жизнь, счастливая, длинная жизнь, до краев наполненная то радостными, то грустными событиями стояла перед Зямой аркой из черных веток тополей, осиянных холодным белым снегом.

– Вот какое странное дело, – сказал Залман, усевшись на табуретку перед креслом ребе Михла. – Я хотел поблагодарить пана Понятовского. Не деньгами, разумеется, передать несколько добрых слов и бочоночек хорошей водки. Отправил человека в Пулов, найти поместье отставного поручика. Мой человек искал его два дня, у кого только ни спрашивал, к кому ни обращался. Нет такого помещика в Пуловском повете, ребе Михл, и никогда не было. Откуда он взялся?

Раввин долго смотрел на Зяму, словно увидев его впервые, поводит седыми бровями, морщил лоб, покусывал губы, что-то соображая, а потом сказал:

– Я здесь ни при чем, Залман. Твоя искренняя, чистосердечная молитва послала мышей в здание суда. А кто отправил на заседание пана Понятовского, понятия не имею. Знаю, ты подозреваешь меня, Залман, но это не я.

От раввина Залман побежал к Гиршу. Больше некому было выудить из потаенных закровов мира ангела в виде несуществующего шляхтича, одеть его в панскую одежду и привести на суд, разрушить козни бесов.

Гирш сидел в конторе винокурни, склонившись над огромной книгой приходов и расходов. Он держал в руках линейку и остро заточенным карандашом, по-детски чуть высунув язык, аккуратно разлиновывал чистую страницу.

– Понятовский? Шляхтич в малиновой венгерке и гусарских рейтузах? – уточнил он, выслушав сбивчивый рассказ Зямы.

– Да-да, именно он. Это ты его послал?

– Я? – Гирш сморщился, словно раскусив неспелый крыжовник. – Разве может приказчик винокурни посылать ангелов? Я просто хорошо молился, Зяма. Так же, как и ты.

Больше Залману не удалось выжать из Гирша ни одного слова. Он вернулся домой, и по дороге встретил свадьбу. По заведенному у них с Брахой обычаю, они вышли на крыльцо благословить жениха и невесту.

Распогодилось, тучи разошлись, и купол вечеряющего лилового неба стоял над Курувом, словно гигантский свадебный

балдахин. Трепещущие огоньки свечей в руках женщин, обводящих невесту семь раз вокруг жениха, пляшущее пламя толстых плетеных свечей для авдалы в руках Зямы и Брохи – тихое, спокойное счастье!

И тут, только вот тут, спустя годы после собственной свадьбы, Залман понял, что любит жену.

– Ты моя жизнь, – негромко произнес он, приблизив губы к ее нежному ушку. – Ты мое спасение, моя главная удача в жизни, мой выигранный лотерейный билетик.

– А ты мой, – ответила Броха, кладя голову на плечо Зямы.

История о незаконной водке так и не была рассказана, навсегда оставшись секретом Брохи и Менделя. Не разглашаемой и закрытой от чужих глаз тайной, известной лишь двум людям на свете, подобно тайнам супружеской жизни.

Ирина Маулер
“БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ”

Издательство “Время”, Москва, 2012
Серия: Поэтическая библиотека

Ирина Маулер - самобытный, необычный художник слова. Краски у нее обязательно сливаются со звуками, и возникает тончайшая, проникновенная поэтическая цветомузыка. Рождаются поразительно одухотворенные стихи - отринув вечное верчение тяжких жерновов жизни, они парят над повседневностью. Творчество это очень светлое и буквально заряжено солнечным талантом автора.

Книгу можно приобрести, обратившись по электронному адресу : mauler13@mail.ru

ПОЭЗИЯ

Ирина Маулер

НУЖНЫ ОСТАНОВКИ

Это просто – дверь открыта в сердце,
Это странно – привыкаешь быстро,
Это песня высотой в меццо
И душой божественного смысла.

Или это – ранняя тревога,
Или это – раненая птица
Прилетает к твоему порогу,
Чтоб живой воды с руки напиться.

Это боль прыжка на круге первом,
Это радость в ширину улыбки,
Это слово черное на белом
Лепестке бумаги без ошибки.

Это невозможности надежды,
Это жженье брошенного жала,
Что в душе, как в пальце без движенья,
Столько лет забытым пролежало.

И зачем – на радость или муку,
И зачем – с конца и до начала
Ты все ищешь, ищешь, ищешь руку,
Чтоб тебя над бездною держала...

Нужны остановки

Безостановочно – ночь, день –
Нужны остановки?
Новая реальность – дома, облака, полицейские,
Суть же равна тебе, чемоданчику надежд,
Пластинке голосов, свирели сомнений.

Нужен ластик, резинка за три копейки –
Убрать лишние обиды, замороченные дни,
Серый цвет будней.
Нужны кисти и краски – красный, синий, зеленый –
Любовь, надежда, гармония.
Желтый отменить, черный убрать –
Ни расставаний, ни потерь.
Потереться о солнечный луч,
Выгнуть спину кошкой,
Лениво ловить бабочек,
Кормить белок,
Плыть на облаке надежд.
Безостановочно – ночь-день...
Нужны остановки.

Благодать

А это – Божья благодать.
Когда ни съесть, ни дать, ни взять,
Ни выгодно ее продать – подарок свыше,

А это – горы и река,
А это точная рука
Дворцы меняет в облаках
На хвостик мыши.

И паруса, и корабли
Мне в небе видятся с земли,
И руки нежные твои,
И кот на крыше...

Все это – Божья благодать,
А большего – не надо ждать,
А только слушать и дышать,
Дышать и слышать.

От А и до Я

Стрекочет кузнечик, искрится вода –
Нет, не Карибские острова –
что-то попроще,
А я выбираю себе города, в которых от шума
Не болит голова –
с березовой рощей.

А я выбираю от а и до я,
так, чтобы утиное кры –
не шум электрички.
И ночи прохладу дают и уют,
Хотя знаю, меня там не ждут –
Но это их дело, личное.

А я заявляю сейчас у реки,
Где дятел по дереву что-то стучит –
я вторю,
Что мне не пустыни горячий песок,
Что не претендую на слово пророк
По Торе.
Мне эта рябина родная до пят,
Я здесь родилась и пусть мне говорят –
чет-нечет,
Решаю сама, чем дышать и когда,
Не нравится – ваша печаль, господа, –
до встречи.

Целуются облака

Целуются облака, даже облака целуются,
Открыто, без стеснения над нашей южной улицей,

Встречаются, расстаются, тают в заоблачной выси,
Улетают картинками Шагала все выше, выше, выше...
Психология самодостаточности – занятость без точек, одни запятые,
Солнечные пальчики катапультируются часовыми
Времени, пишут без знаков препинания, азбука Морзе, мороз по коже,
Самодостаточность или одиночество – что же?
Пляжные зайчики, пыльные знаки – знают?
Зеленые попугайчики, что над бугенвиллией летают,
Или, может быть, ветка эта знает ответы?
Осень спешит перелетною ласточкой,
Красные клены считают минуты...
Занято место собою –
Достаточно ли места еще кому-то?

Лицо

Лицо стареет постепенно,
Оно становится степенным,
Послушным, резким, безразличным,
А иногда и неприличным.
Но личного всегда в достатке,
все недоплаты и заплатки,
Все недочеты и зачетки,
По щечкам выписаны четко.
На лбу – вопросы удивленья,
У губ – неверные решенья,
По шее нежной и крылатой
Когда-то, словно полк солдат,
Проходит смело и свободно
В пылу и жажде битвы конной.
Лицо стареет неизменно,
Хоть пой, хоть кровь гони по венам
Вином ли, страстью новых линий –
От времени на коже – ливни.
А если так – какое дело
Душе от этого раздела,
На дни и ночи, осень, зиму –

Душа и плоть неразделимы?
И тоже быть красивым хочет
Души морщинистый цветочек?
Но слава Б-гу, наше время
Спешит закрыть вопросов тему,
Вот-вот дождемся предложенья
"Душе – подтяжка", как решенье.

От домохозяйки до феминистки

Сегодня в семь-тридцать на улице восемь
Тебя обязательно кто-то попросит
Ответить на пару вопросов о росте
Рубля или доллара – это не просто.
Ты так далека от насущной проблемы,
Что лучше быстрее сменить эту тему.

Во время обеда, уже на работе
Тебя обязательно кто-нибудь спросит
О выставке Клода Моне и Ван Гога,
Что только вчера посетила ваш город.
Но ты, как обычно, вне этой проблемы
И быстро меняешь ненужную тему.

В семнадцать ноль-ноль ты свободна для жизни,
Из радио тут же вопрос об Отчизне
Ребром предстает и ответ беспросветен,
Поэтому надо менять эту песню.

Так что же тебя впечатляет и манит,
Какие вопросы ты носишь в кармане,
На что расточаешь улыбки и взоры,
В какие вопросы вплетаешь узоры?

Обычные – сколько монет до зарплаты
И чем залатать все бюджетные траты,

Из садика младшую, сына со школы
И маме – в аптеку зайти за уколom.

Потом отдохнуть два часа в магазине,
Отметив по списку весь перечень длинный
Картошек, морковок, сметан и селедoк,
На пятый этаж все походочкой легкой
Внести, разложить по местам и на ужин
С улыбкой встречать ненаглядного мужа.

Который уставший вернулся с работы,
Где между делами решил все заботы
По поводу Клода Моне и Ван Гога,
Проблему растущую Гога с Магогом,
Проблему инфляции ценности жизни,
Проблемы, решенья которых не видно...

Голодному мужу почет и вниманье –
Вот главная тема твоя и призвание!
Но если ты с темой такой не согласна –
Сама отвечай на вопросы бесстрастно.
И хоть далека ты от этих вопросов –
Ты можешь сама выбрать тему – без спроса.

Она

А про нее скажу – ждала,
А про него скажу – случился.
С другою, прошлою, лучистой,
А с этой дамою речистой
Он не встречался никогда.

Она сегодняшняя глуше –
Бокал вина, нарезка суши
И суша под ее ногой,
И мысли – что же будет дальше,
Бриллиант в карат на тонком пальце
И лента жизни за спиной.

Она сегодняшняя глубже,
А ушко от иголки уже –
В него уже сложней пролезть
Признаньям пылким и обетам –
Она уже не верит в это
Лет пять, а может быть и шесть.

А соловьи поют все так же,
И так же манит берег пляжный,
И даме лет уже полста –
Почти как та, но не вернуться,
А значит, надо улыбнуться
И с чистого начать листа.

Книга Эдуарда Бормашенко “СУХОЙ ОСТАТОК”

Возможна ли философия в современном мире?
Как сложить мозаику, включающую узор заповедей
и паутину уравнений современной физики?
Как сопрягаются воля к истине и воля к смыслу?
Автор, не возводя 1001-ю философскую систему,
предлагает запись своего духовного опыта
и размышления о текстах,
сформировавших его внутренний мир.
Книгу открывают автобиографические зарисовки.
Издательство Москва-Иерусалим, 2014 год, 308 страниц.
Цена книги с пересылкой – 75 шекелей.
Для заказа чеки на имя Эдуарда Бормашенко
пересылать по адресу:
Ariel, 40700, P.B. 2369, Avner str. 17, apt. 2, Israel.
Электронный адрес автора: edward@ariel.ac.il

Дина Березовская
ЛЮБОВЬ-МЕРЗАВКА

Любовь

Серёже Грекову

Давно забыты наши драмы,
Что как печать на сургуче,
На сердце оставляли шрамы.
Лишь на просвет оконной рамы
Пылинки кружатся в луче.

Но где-то в уголке, в подсобке
Найдётся в нашем барахле
Цветок бумажный для растопки,
Печенье в жестяной коробке,
Немного рая на земле.

Рутина, будни с выходными,
Варить борщи, лечить мигрень...
Мы станем старыми, больными,
Родными,
Однокоренными,
Умрём в один прекрасный день.

А в двух шагах от преисподней
Зовёт меня – иди сюда! –
Любовь-мерзавка, злая сводня.
Я отвечаю "не сегодня",
Что означает "никогда".

Слова

Меня вселенная в запарке
Спросить забыла, как дела?
Ответ, как письмо без марки,
Желтеет в ящике стола

Упрёком, брошенным не в злобе –
В ознобе суетного дня,
Уродцем, замершим в утробе,
Желанным только для меня.

И никому не интересны
Мои заветные слова,
И пара голубей небесных,
Что выпорхнет из рукава.

Птичка

Я дам остынуть голове,
Слоняясь праздно вдоль лужаек,
Где птицы бродят по траве
И в стебли клювы погружают.

Об этом их голодный свист,
Что добывают хлеб насущный,
Выклёвывая горький смысл
Из травяной целебной гущи.

И мне, с крылами налегке,
Бродить, голодной и счастливой,
Свистя на птичьем языке
Средь этой стайки кропотливой.

Засиделась до семи

Засиделась до семи,
Сердце кровь едва качает

И не то чтобы щемит,
А себя обозначает.

В створке каждого окна,
Словно лампа на штативе,
Отражается луна
В бесконечной перспективе.

И ведут десятки лун,
В те края, где всё иначе,
Где навеки каждый юн
И навеки обозначен.

Высокие окна

Так удобно творить в закутке
между тьмою и светом –
полутьма, словно ретушь,
таит паутину и хлам...
Может, мне никогда и не стать
настоящим поэтом
с этой детской потребностью
всё разложить по местам.

Так привычно в уюте и затхлости
кухонной норки
над потертой клеёнкой
витийствовать на посошок,
только всё же я ставень раздвину
тяжёлые створки,
чтобы свет апельсиново-горький
все стёкла зажжёт.

Этих окон высоких
с потёками масляной краски,
если я поднажму,
то с трудом приоткрою на треть

деревянные рамы
с остатками старой замазки –
в робкий хаос листвы,
лишь его я готова терпеть.

Мне придётся стареть,
и, наверно, меняться с годами -
может быть, мне уже никогда
не увидеть во сне
этот дом,
где высокие окна моих ожиданий
и упрямая ясность
квадратов зари на стене.

Знаки

Дом зарос тростником –
за стеблями не видно небес.
Бьёт сорочьим крылом
на ветру
полотняный навес.
Там в сырой полутьме
кто угодно с тобой ночевал,
вам уснуть не давал
за окном воробьиный привал.
Там немало босых, долгопалых мальчишеских ног
на крыльце отрянуло
последних сомнений песок
и в заглохшем саду,
где от старых шелковиц черно,
пропускало сквозь пальцы
раздавленных ягод вино.
В круге жёлтого света
легко не жалеть ни о чём,
бьётся бархатный бражник,
что в лампе навек заточён,
и не важно,

что знаки порой
распознать тяжело –
это бражник
серебряной пылью
марает стекло.

*Издательство «Ам Левадад»
представляет новые книги:*

Нафтоли Шрайбер «Сынок, женись на еврейке!»

Уникальная попытка раскрытия темы смешанных браков и их влияния на судьбу еврейского народа.

Именно смешанные браки изменили еврейскую историю больше, чем все погромы, наветы и газовые камеры вместе взятые.

Асаф Бар-Шалом «Воспоминания о прозелите»

Неповторимый колорит и восхитительная аура Риги придают особое очарование этому трогательному, искреннему, порой неожиданно острому и резкому, но даже в мелочах честному и правдивому повествованию.

Это книги, которые даже неевреям будут интересны, а евреям – необходимы!

По вопросам приобретения книг: тел. +972-54-5229879 (возможны сообщения «Воцап»), +972-58-6495000. Факс: +972-9-8911804. E-mail: naftoli_shraiber@yahoo.com

Танда (Татьяна) Луговская

МАСТЕР ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ

Мастер чайной церемонии,
Президент Академии изящных искусств,
Археолог, художник и литератор
Господин Окакура
Пишет книгу о чае.

Чай – это наслаждение миром, говорит он,
Что внятно и Востоку, и Западу.
Чай облегчает усталость и радует душу.
Глоток янтарной жидкости может дать посвящённому
Соприкосновение с учениями Конфуция, Лао-цзы и Шакьямуни.
Чайная церемония – искусство передать мысль о том,
О чём говорить не смеешь.
Это радуга, сшивающая расколотое небо любовью.
Закатный свет мягко касается бамбука,
В напеве закипающего чайника слышны
Нежное журчание ручья и шелест сосен.
Давайте же выпьем чаю!

Чай, прозрачные листья-лепестки,
Облака в ясном небе,
Водяная лилия в изумрудных струях,
Космический закон в хрупкой фарфоровой чашке
Цвета слоновьей кости.
Мы стесняем себя в мелочах,
Ибо в нас таится мало великого,
Чаша наслаждения слишком легко
Переливается через край слезами

И осушается до дна жаждой бесконечного.
Но чайный мастер, подобно умелому арфисту,
Может извлечь прекрасную музыку из струн души:
Забытые воспоминания вернуться к нам,
Надежды, раздавленные страхом, засияют вновь...
Давайте же выпьем чаю!

Чайная комната – оазис
В печальной пустыне существования,
Где усталые путники пьют золотой эликсир
Из одного источника – высшего блаженства.
Взгляните вокруг:
Мы злы, ибо слишком много думаем о себе.
Мы никогда не прощаем другим, ибо знаем, что сами неправы.
Мы носимся со своей совестью – и боимся сказать правду другим.
Мы ищем убежища в гордости – и боимся сказать правду себе.
Образование поощряет невежество.
Религия – чтение морали, освященное цветами и музыкой:
Отнимите у церкви ее украшения – что останется?
Но когда трое попробовали укус,
Прозаик Конфуций сказал про кислоту,
Будда заметил лишь горечь,
А Лао-цзы, игравший с пустотой, улыбнулся: «Сладко!»
Будем поэтами –
Давайте же выпьем чаю!

Господин Осакура завершил свою книгу
Рассказом о Рикью, великом мастере чая,
Принесшем столь много прекрасного в жизнь людей
И оклеветанном в глазах правителя.
Перед смертью Рикью провёл чайную церемонию для друзей,
Разбил свою чашку, дабы не осквернить никого несчастьем,
Долго смотрел на порозовевшее лезвие меча,
Посвятив ему, ведшему в вечность, последнее хокку,
И с улыбкой ушёл в неведомое.

Культ чая, говорит господин Осакура
(И лицо его бесстрастно, а в глазах боль),

Посвящение себя Королеве Камелий,
А не бесстыдному Вакху или кровавому Марсу – так вы понимаете?
Само по себе есть культ Несовершенного,
Слабая попытка создать хоть что-то возможное
В невозможных условиях, называемых жизнью.
Сколь много крови не пролилось бы,
Если бы враждующих успокоила терпкая, тёплая яшмовая пена!
Давайте же выпьем чаю!

Господин Осакура,
Археолог, художник и литератор,
Президент Академии изящных искусств,
Своей книгой о чайной церемонии –
Ведь такой красоте и гармонии нельзя не отозваться! –
Старался предотвратить мировые войны.

Он не смог изменить
Образа Японии в глазах европейцев,
Равно и не успокоил пыла соотечественников.

Как и в прошлом,
До спасительного оазиса добралось слишком мало путников.

Убитые – убиты.
Разрушенное – разрушено.
Сожжённое – сожжено.
Из каких лакированных чашек пили в Нагасаки?

Книга была переведена позднее.

Давайте же выпьем чаю!
О, давайте же выпьем чаю!

Живописец Бернардо Беллотто

Живописец Бернардо Беллотто носил прозвище Каналетто,
Как и несколько поколений предков-венецианцев –
Вот такое фамильное дело, традиция, вековая добрая слава.

Из прозвища очевидно, что все они рисовали каналы:
Мерно бьётся аквамариновая кровь в артериях города,
Небо льётся по ним, обнимает дома, подмигивает мостам.
Что было раньше? Бесновалось неукрощённое море,
Покрывался сизым мхом нетёсаный бесформенный камень,
Но по воле человека смирились стихии – и в воде отразились палатцы:
Ажурные, стреловидные, сводчатые, хрустально-стекольные,
Розовые, белоснежные, с арками, балконами, фресками...
"Так будет!" – пожелал человек. И так стало.

Позже это назовут "изменением реальности".

Живописец Бернардо Беллотто из Италии приехал в Варшаву.
Вместо Большого канала здесь взрезала пейзаж могучая Висла:
Глазам не было одиноко без вечнодвижущегося водного зеркала.

Каналетто – мастер своего дела, умения, закреплённого в генах,
Выписывал окна, откуда глядят бравые кавалеры и прекрасные пани,
Солнечные лучи, бегущие по крышам и ласкающие барельефы,
Плавные линии лестниц, орнаменты на фасадах.
Однако будучи итальянцем – то есть всё же немножечко Труффальдино
Живописец Бернардо не мог не... – кто сказал "соврать?" –
...приукрасить, конечно,
Привнести чуть больше изящества, утончённости и улыбки:
Там добавит лишнюю завитушку, тут скульптур понаставит,
А ещё поправит роспись... – да-да, и здесь её не хватает тоже!
...И чуть выгнет лепестки цветок, вдруг проросший сквозь камень.
Бернардо Беллотто хотел, чтобы так – было.

Позже это назовут "видением художника".

Живописец Бернардо Беллотто по прозвищу Каналетто
Скончался шестидесяти лет от роду, в тысяча семьсот восьмидесятом.
Славную жизнь завершив в не худшее время.

С той поры по Польше прокатилось немало бед, но через пол-
тора столетия
Наступила та, горше которой эта земля ещё не видала,

И в руинах лежала piękne miasto Warszawa.

Воля к разрушению – тоже воля, и взрыв разбивает камни.

Позже это назовут "преступлением против человечества". Легче ли погибшим?

У варшавян есть поговорка, повседневная, как воздух,

Приблизительно на русский её можно перевести так:

"Ещё и не то переживём, а в хорошей компании будем жить долго",

Вы ведь знаете, что Варшаву не удалось убить, правда?

Там осталась хорошая компания – и она взялась за дело.

Однако уничтожены были не только стены и витражи –

Строительная документация тоже погребена под завалами:

До неё ли было в огненных волнах агонизирующей войны?

Восстанавливали по кусочкам, ненадёжным осколкам памяти,
Пока не вспомнили об – уцелевших! – картинах итальянского мастера,
Аккуратного и подробного (в восемнадцатом веке не принято торопиться),

Полагавшего, что берега каналов обязаны быть устойчивыми,

Любовавшегося Вислой и её каменным обрамлением:

Замками, особняками, мостами... Помните, как шутил Каналетто?

В итоге по его пейзажам и отстраивали столицу.

Через пару десятилетий, конечно, нашлись фотографии старой
Варшавы,

Убедительно показавшие, где что было не так (а скучнее или
тусклее).

Как вы думаете – стали перестраивать?

Живописец Бернардо Беллотто захотел: "Так – будет!". Так те-
перь и есть.

Позже это назовут... Но мы не услышим.

Михаил Сипер

ЖИЗНЬ НА ПЕРЕГОНЕ

Дорожные плиты закончились, дальше – сплошные барханы.
Тут леса опушка, трава припудрена белым песком.
Шумят за барханами волны из зелёной безбрежной ванны,
И синее небо выкрашено одним широким мазком.

И дело даже не в том, было легко или не очень,
Погиб кто-то иль нет под несмолкаемый волчий вой.
А важно одно, то, что сейчас видим воочию —
Песок, и море, и лес, и синева над головой.

Мы знали эти края из детских сказок-страшилок,
Здесь силы дремлют в тиши из древних песен и снов,
Здесь чей-то пристальный взгляд сверлит насквозь мой затылок,
Но сзади нет никого, кроме висящих в небе орлов.

Сойдём с пыльных коней и расстегнём потную сбрую,
Тут где-то ждёт нас родник, ведь это наша земля!
Она наверняка отдых и негу дарует,
Ковёр мягкой травы вместо перины стеля.

Но чувствую я – вокруг дремлет реальность иная,
И лишь чудятся нам реки, текущие молоком.
Мираж жарких ветров, плавно сходящих с Синая,
Глаза запорошил белым, как пудра, песком.

Умри, ветер-колдун, нам напустивший тумана,
Манивший призрачным счастьем, растаявшим навсегда!
Проклятье этих земель, чушь, ерунда, фата-моргана,
И тем, кто в это поверит – безумие и беда.

Но нас глупый обман так ничему и не научит,
Опять мы рады погнаться за маревом вдалеке.
Седлай снова коней, мой утомлённый попутчик,
И где-то солнце выбелит наши косточки на песке.

* * *

Я не изгой, не имярек,
Судьбой почти не искалечен...
Довлеет мне двадцатый век,
В нём был я молод и беспечен.

Прости, дымящий город мой,
Что я тебя тогда покинул,
Зато улыбчив и живой,
Мне повезло – в тебе не сгинул.

Смешны мне Логос или Деос...
Я заставлял себя расти,
Дабы на мускулюс глутеус
Вмиг приключения найти.

Как ждал безмолвно у двери я,
Чтоб ты простила и пришла...
Ты – как Синявскому Мария,
Как Сальвадору ты – Гала.

За мной вострили глаз да глаз,
А я бежал к тебе дворами,

Но это словно свой оргазм
Пересказать кому словами.

Вильнула жизнь на перегоне,
Отпало всё, чему был рад,
Как будто на святой иконе
В лом переплавили оклад.

В прыжке от прежнего трамплина
Хотелось быть самим собой...

Ты остывай, моя волына,
Полишинель, пошли домой!

Смотрю, внимаю, маракую,
Как бес хромой над морем крыш...
Ништяк, что прожил жизнь такую,
И пахнет счастьем внук-малыш.

* * *

Человек, покупающий книги,
Не сотрёт на стене: «Не убий!»,
Он не любит камлание и крики —
Ты за это его полюби.

Он неспешен и тем интересен,
Как Моисей на Синайской горе.
Посмотри, как он счастлив и весел
У изрядно потёртых дверей.

Он зайдёт в свой мирок домотканый,
Где сквозь полки не видно стены,
Где заржавленный душ вместо ванны,
Где нуждаются в латке штаны,

Унитаз где дремуч и растрескан,
Как ему и положено быть,
Словно у Дионисия фреска,
Но как это другим объяснить?

Над планетой летят неудачи,
Осыпая дождём города.
Это кто там безудержно плачет?
Подходите поближе сюда —

Тут смывает отчаянья миги
(Только часто к нему не ходи)
Человек, покупающий книги,
Прижимающий книги к груди.

НА СТАНЦИИ МОНЗИНО

Ах, как долго порез заживает, и что-то внутри,
Непрерывно пульсируя, стонет без звука и смысла.
Я прошу, не молчи, я прошу, не молчи – говори,
Только ты далеко. И молчание сетью повисло.

А на станции Монзино в илистый берег волна
Утыкается мордой и лижет прибрежные травы.
Одиноко и пусто. И ты тоже где-то одна.
Вот они, времена. И, конечно, такие же нравы.

Ни собаки, ни кошки. Нет даже скрипучих ворон.
Только рыбы в волне демонстрируют чёрные спины.
Что, друзья-короли? Вновь на всех не хватает корон,
Как бы слух ни ласкали придворные наши акыны.

А на станции Монзино стыки у рельсов стучат,
Будто жизни оставшейся время угрюмо считают.
Я уже погружён в природу родную не рад,
И улыбки мои, словно птицы, в леса улетают.

Я лопату вонзаю в живот чёрно-масляных строф,
Где тропинки и грядки рифмуются неосторожно,
Где на грязи времён есть цепочка глубоких следов –
Это я проходил, даже там, где пройти невозможно.

А на станции Монзино дождь зарядил на весь день,
Мокнет домик фанерный у грядок картошки и лука.
Солнца нет, как же тень мне теперь навести на плетень?
Ничего не могу. Только выпить. Такая вот штука.

ЮЛИЮ КИМУ

Юлий Черсанович,
Столп Несгибанович,
Мне передайте секрет,
Как быть Мудревич

И Нестареевич,
Где взять на это ответ?

Вы Улыбаевич,
Вновьначинаевич,
Честны, поскольку честны?
Мы Васлюбящие,
Слаболядащие,
Встреч с вами ждём, как весны.

Юлий Черсанович,
Полностанкович,
Непрекратим, как река,
Знайτε – вас любим мы,
И не забудем мы,
И не отсохнет рука.

БАНЯ

Зачем мне жрать в сочельник водку,
Соседям глупости крича?
Куплю я новую вехотку
И в баню с ней на Ильича.

Народу тут совсем немного —
Дементыч с Санычем сидят,
Да возле шкафа спит Серёга,
И больше наших нет ребят.

В углу сереет фикус драный
С нечётким словом на коре.
Пространщик Кося даст стаканы,
По восемь бульков и харэ.

Потом за жизнь и за рыбалку,
За Таньку с третьего окна,
Которой надобно бы палку,
Да больно гордая она.

Какой-то поп вчера базарил
С большим на цепочке крестом,
Но я весь вечер прогусарил
И не прочухал, что с Христом.

Чего нам разные евреи
Христом своим проели плешь?
У нас в большой Гиперборее
Своих святых хоть жопой ешь.

Поддай ещё, Дементьич, пара,
Побольше, но не дохрена.
Хрустит спина, а я не старьй,
Но всё равно хрустит спина.

Пойду домой, сегодня праздник,
Да, впрочем, праздник и вчера.
Я – выпивоха и проказник.
А город – чёрная дыра.

МАСТЕРСКАЯ

А. Зинштейну

Обычный двор-колодец,
По-питерски унылый,
Мозаик нереальных
На стенах слабый след...
И барельеф-уродец,
И воздух мутно-стылый,
И лестниц вертикальных
Заржавленный корсет.

Заплачет дверь в парадном,
Меня в себя впуская,
И я начну ступени
Считать до облаков.
Но вот придёт награда

На полдороге к раю –
От всех забот спасенье,
От бед и дураков.

Там крыши за оконцем,
А тут, как на параде,
Картин, кистей, пластинок
Невероятный вид.
Изломанное солнце
Холсты лучами гладит
И облака пылинок
Беспечно золотит.

Хозяин моет кисти,
Потом сжимает тюбик,
И вмиг ползёт колбаска
На разноцветный стол...
Тут нет избитых истин,
Он просто это любит —
Вплетать шальную краску
В привычный ореол.

А мы едим пельмени
И запиваем водкой,
Потом мы водку глушим,
Пельменями заев,
Внимая перемене,
Мгновенной и короткой,
Что возникает в душах,
Как в песенке припев.

Куда б я ни стремился,
В какой бы путь напрасный,
Куда б ни шла дорога,
Останется со мной —
Как заново родился
В той мастерской прекрасной,
Невдалеке от Бога,
Под крышей жестяной.

Павел Лукаш

ПРО ЭТУ ГРЕБАНУЮ ЖИЗНЬ

* * *

Фриштык из кофе и пашота –
царюю на трухлявых пнях,
горюя о прошедших днях,
когда и впрямь бывало что-то
(ну, как на днях)...

Но, говорю я, с Новым Днём! –
возможно, что-нибудь напишем,
хотя давно уже не пишем
здоровьем – дело-то не в нём
(хотя и в нём)...

Пока же, для шлифовки слога,
пишу для дочек, рассказал,
где что лежит – базар-вокзал,
поскольку, собственно, не много
(а вот, сказал)...

* * *

А сейчас посмотришь на часы
(что, конечно, чистая условность),
и потом в окно – там многословность
средиземноморской полосы.

Многокрикость – я бы так сказал –
что же им не спится спозаранку
(будто бы имеет обезьянку
злобно-ненасытный динозавр –

тоже, разумеется, орет).
Вот, люблю я зиму – это счастье –
дождь в окно стучит, молчит народ,
моего не требуют участия.
А весной всё наоборот...

* * *

Он редко убирает в хате,
и целый год в одном халате,
и караоке не поёт,
и много пьёт.

Он бизнес-классом не летает
(ему на это не хватает),
и у него, наверно, сплин –
не ангел, блин!

Перехожу к мытью посуды,
приятельские пересуды
от истины не далеки –
не дураки...

* * *

Бывает, окажусь не с теми,
но бессознательно по теме –
по пьяни – ангел пролетит.
Привет, почётная отсталость,
поскольку, что еще осталось –
не умный в том, что мне претит.

В загробной жизни – нету дома,
раз без похмельного синдрома,
и как-то, в общем, не болит...
Сосать из тюбика пюре-то –
в астральном до-ре-ми-до-ре-до –
сумеет и не инвалид.

Вот, не курю – курю при этом,
не пью – но пью, – и не об этом

про эту грёбаную жизнь...
Работы нет – дресс-код остался.
От пустословия до станса
поди попробуй – продержись...

* * *

Случилось плохое дело
не так далеко от нас –
полиция прогудела,
пожарные, амбуланс...

А тут теневой садочек
раскроен под пикники –
полно садо-мазо точек,
где жарятся шашлыки.

Несчастные мясоеды,
которым придут кранты,
веселые внуки, деды,
собаки, отцы, коты

и полчища мясоедок –
и все пожирают плоть
под сенью косых беседок
(мэйд мэрия и господь).

Я просто пошел за водкой
направо-наискосок –
за лично-моей двухсоткой
сквозь этот тупой лесок.

И просто хотел отвлечь я
себя от душевных нош,
и брынза была овечья,
и финский столовый нож...

* * *

Где-то тут он в ус не дует,
смотрит детектив.

Где-то там она колдует,
очи закотив.

Там заклятия благие –
на любовь и фарт...
Тут занятия другие –
видимо, инфаркт.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ЧЁРНОГО ХОДА

1

Роли – и плохие, и хорошие –
все на том же пандусе проросшие.
Не ищи героя или свинтуса
выше крыши или ниже плитуса.

2

Всё что «вира» или «майна» –
то случайно или тайна.
То что «майна» или «вира» –
всё в теории эфира.

3

Благодарный, благородный,
и давно белобород,
уважаю вкус народный –
раз вкушает так народ.

4

Не попию шотландский мальт,
пропущу Башмета альт –
может быть, для куражу,
водки выпью, в цирк схожу.

Если в самогон добавить тоник –
ты уже на правильном пути.
Говорил мне опытный дальтоник:
«Жизнь прожить – дорогу перейти!»

* * *

Что-то там в альтернативе –
типа покер –
если верить медицине,
или похер.

Посмотреть на руку-ногу –
всё же пашут:
ноги ходят, руки машут –
понемногу.

Долговременный дресс-код –
та же память.
Это как в квартире кот –
не забанить.

Словно шепотом вокруг:
«ну, и что ты –
прямо так наденешь, вдруг,
майку-шорты?»

Но захочешь известить:
что напротив,
и желаешь навестить, –
я не против.

Вещи не перемещать,
текст не править...
Мне потом всё возвращать,
это – память.

ПРО МЕНЯ

1

Охмурят химерою,
обольстят заботою...
Потому что верую –
больше не работаю:

не меня кодируют,
не меня складируют...
Где они лидируют –
мне не аплодируют.

2

Говорят про хобби и
я в непонимании –
ищут приключения
на седины с просинью...

У меня-то фобии,
у меня-то мании –
разве что лечения
допустимы осенью.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

Поскольку происходит, вроде,
круговорот воды в природе,
и при жаре и под дождем,
мы, всё-таки, цунами ждем,
а значит, строго между нами,
еще дождемся и цунами.

БЫЛО

Там советская шинель,
там же босс – режимный пёс

(что не про Коко Шанель,
и не путать с Хьюго Босс)...

Знать бы, что кому дано –
инженеры и поэты...
Было папино вино,
папины же сигареты...

Это были просто дети
в той стране: «Большая Раша» –
приходил апостол Петя,
приходил апостол Паша...

«Не ходите, дети, в школу –
Пейте, дети, Кока-Колу!»
Было, чтоб белым-бело –
Кока-Колы не было.

* * *

Вот собака – с виду злая.
Обойду, её не зная...

Что вы, что вы, он же добрый –
доберманонеподобный:

он хороший, он ученый,
он всех любит, кто не чёрный...

Глажу этого ублю... –
я ведь тоже всех люблю.

ВЕЧЕРНЕЕ...

За папу, за маму,
за бабушку Маню...
Та, что без деления –
от давления.

А вот эта –
от диабета.
Глотай (а не смотри) и
от аритмии.

От холестерина –
вот те на...
И, кроме –
для крови...

Еще одна,
чтоб не шок
опять...
И на
посошок –
чтобы спать.

Вышла новая книга

Феликс РАХЛИН – "Афулей Первый и Шлёма Иванов".

Лирика, юмор, сатира.

Издательство "Достояние", Израиль, 2014.

С фотографией и автопортретом автора. Художественное оформление обложки Нинель Шаховой (Афула)

Автор книги - лауреат израильской литературной премии имени Виктора Некрасова (2014). Живёт в г. Афула.

Цена книги - 25 шекелей (включая стоимость пересылки).

Обращаться к автору по тел. в Израиле 04-6528488,
из-за рубежа - +972-4-6528488.

Андрей Торопов

ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

* * *

Оперный бабай
и какой-нибудь ешкин кот
сели в ночной трамвай,
и теперь их никто не найдет.

Они ехали в ночной клуб
или крутой ресторан,
обнимал их ночной июль
или брат растаман.

И попали в ночную хронику,
а не в лирический стих,
Басов поймал электроника,
но ничего не постиг.

* * *

Купишь себе новые джинсы,
Скушаешь пьесу Алана Милна,
Провинциальное качество жизни
Мыльно, стабильно, нещепетильно.

Сбросил бы с возу балласты сразу,
Занялся бы настоящим делом,
Стал бы героем на первой базе,
А не любовником перезрелым.

Там варианты совсем иные,
А результаты намного баше.

Здесь лишь короткие выходные,
Игры в загадочный черный ящик.

Но когда лепишь из мухи чудо,
То добавляется оптимизма,
Если сумеешь сварганить блюдо
Самого главного пофигизма.

* * *

«Вчера вечером я приехал в Париж», –
Написал ей в письме Руссо.
Почему, почему молчишь
И забыл вдруг слова на «со»?

И Эльмаша пустой водой
Ты наполнил свои тюки,
Напророчил, как козодой,
Счастья полные бурдюки.

И пора каравану в путь,
Карты контурные слагать,
Не искать в завершении суть
И дороги обратной ждать.

Просвещение, реализм
И нескромных сокровищ бунт.
«Что такое твой акмеизм?» –
Не запутай себя, адъютант.

Ты забыл все слова на «со»,
Потому что простак Руссо
У Талькава украл лассо
И патенты на колесо.

* * *

Каждый день уменьшает
Груз непрожитых лет,
Неизвестное тает,
Исчезает секрет.

Ты – король положений,
В изложении – нем,
От своих прегрешений
Остаешься ни с чем.

* * *

Повернулось счастье ко мне спиной,
Я остался брошенный водяной.
Натянул рюкзак и пошел в поход,
Вот такой вот бардовский поворот.
И тогда митяевский Таганай,
И тогда же визборовский Домбай.
А теперь июньским и теплым днем
Вспоминаю горьково о былом.
Пусть она останется стариной,
Я такой же ласковый водяной.

* * *

Он был типичным историком
И добрым был алкоголиком,
Он был несчастным любовником,
Но стал шинельным чиновником.
И вот октябрь наступает,
Поэт шинель надевает,
И ради своей зарплаты
Сливается в бюрократы.
Такое преображение
Достойно стихотворения,
И так теперь каждый день
Он делает дребедень,
Не смейся над ним, тюлень,
И гордый лесной олень.

Ингвар Донсков

УЕЗДНЫЙ ГОРОД

(зарисовка)

На магистрате старые часы
Двенадцать кряду – отзвенели мерно.
Уездный город. Полночь. Брешут псы.
Бредёт гуляка к дому. Пьян, наверно.

Объяты сном базарные ряды.
Накрапывает дождь. Блестит брусчатка.
Небезопасно шляться без нужды,
Когда мещане спят в постелях сладко.

Бредёт гуляка прочь. Навеселе.
Пропах развратом и бенедектином.
От девицы, искусной в ремесле,
Которую ласкал в угаре винном.

До дома, почитай, ещё верста.
И лаковые хлюпают штиблеты.
Ему б найти сейчас рублёв полста!
На немку бы хватило, Генриетту!

Да Бог с ним! И за ним мы не пойдём.
Не ровен час – прогулка выйдет боком.
Уездный город. В нём мы и живём.
А вы мне – о прекрасном и высоком!

КРЫСОЛОВ

Я понял в чём тут дело, Крысолов.
Вся магия – в искусстве обещаний.
Слилась волшба произнесённых слов
С мелодией скрываемых желаний.

Мы были дети. Мы не знали зла.
Ты поманил, пообещав подарок.
А дудочка – манила и звала...
Мир за дверями был запретно-ярок!

Ты столько нам всего наобещал!
Мы были дети. Мы не знали страха.
Мы верили – идём на карнавал!
Венчали этот путь – костёр и плаха.

Я понял в чём тут дело, Крысолов.
Под каблуком хрустит скелет крысиный.
Теперь и сам я знаю силу слов!
Но... выхода не вижу из трясины.

АТЛАНТИДА

Атлантида.
Красная Империя.
Золушкин хрустальный башмачок...
Я, смешная рыбка-латимерия –
Критику попался на крючок.

Там у них – метро и эскалаторы.
А у нас – тоска да комары.
Умывают руки прокураторы,
Знающие правила игры.

Я смешная рыбка-латимерия,
Бедный, деревенский дурачок.

Атлантида.
Красная Империя.
Золушкин хрустальный башмачок...

Выпотрошен вежливо и выслушан –
Рыбный день сегодня, человек.

По костям разобран – хвостик выброшен.
Заморозь меня – сибирский снег.

Стужа. Лёд и холод. Спит мистерия.
Но оттаает, дайте только срок –
Атлантида.
Красная Империя.
Золушкин хрустальный башмачок...

ДЕТСКАЯ ИГРА

Петух или курочка? – Помнишь такую игру?
Травинка в руках и... бескрайнее небо над нами.
И я был уверен – что я никогда не умру!
А нынче шагаю на кладбище – к папе и маме.

Оградки, надгробья – не место для детской игры.
Петух или курочка? Этот вопрос неуместен.
Взлетали до неба воздушные наши шары!
Блаженное время – где верный ответ неизвестен.

Петух или курочка? Травы да синь-небеса...
Всё было и будет. Но будет, я знаю, не с нами.
Наивные дети... и звонкие их голоса...
Под этими синими, словно сапфир, небесами.

Травинка в руках и... слеза на небритой щеке.
Петух или курочка? Можно играть бесконечно.
Мы просто травинки, плывущие вниз по реке.
Красивой до дрожи реке, но... увы, быстротечной.

ПТИЦЕЛОВ

Загорелая плоть. Соболиные брови.
И, предательски твёрдый, девичий сосок.
Юность жаждет обжечься. Мне это не внове.
Но не стану шептать – ах, как я одинок!

Я играл в эти игры ещё до потопа.
Триста тысяч историй в моём дневнике.
Я украл бы тебя – как Юпитер Европу.
Но молчанья печать на моём языке.

Обнажённые плечи. Ложбинка ключицы.
Лишь дотронься – и всё это будет твоё.
И ресницы – как крылья встревоженной птицы –
Ожидают обиды и... жаждут её.

Ты щебечешь игриво, порхаешь по-птичьи.
Это магия женских, проснувшихся сил.
Только я не охотник, а ты – не добыча.
Сотню пойманных птиц я давно отпустил.

Я не твой Одиссей. Не грусти, Пенелопа.
Но меня не устроит синица в руке.
Я играл в эти игры ещё до потопа.
Триста тысяч историй в моём дневнике.

ИГРЫ С МЕЛОМ

Поиграем во взрослые игры – в любовь и разлуку?
Мы агенты печали – вот новая наша легенда.
Эта гонка по трассе – похожа на выстрел из лука.
Это наш ипподром – мы заложники финишной ленты.

Поиграем в погоню – а что нам ещё остаётся?
Пожиратели времени бьют под капотом копытом.
А красотка с рекламных щитов в сотый раз улыбнётся -
Нам напомнив – никто не забыт и ничто не забыто.

Поиграем – в бетонные кольца и белые стрелы?
В лабиринтах столицы мы знаем все мели и рифы.
Обгоняем по встречной нагруженные каравеллы,
Увернувшись от хватки пикирующих гиппогрифов.

Поиграем – в дорожные знаки и тайные цели?
По двойной и сплошной – до упора вжимая педали...
Притворяясь себе – что вот этого мы и хотели...
И соврав, не краснея – что с детства об этом мечтали.

Яков Шехтер

«ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ КУМРАНСКОГО УЧИТЕЛЯ»

Роман в трех частях. Книга первая «Поцелуй Большого Змея».
Издательство «Время» Москва.

В руки писателя при экстраординарных обстоятельствах попадает старинный дневник. За дневником охотится некая тайная организация. Но остро-детективную интригу наших дней совершенно затмевают те события, что произошли, по всей видимости, два тысячелетия тому назад. Герой романа, автор дневника, юноша необычайных способностей, приходит в обитель кудесников, живущих в подземельях на берегу Мертвого моря. Похоже, что он - тот, кто впоследствии станет основателем одной из главных религий мира...

«Книга Якова Шехтера – это Гарри Поттер для взрослых».
Алексей Самойлов

Александр Царовцев
ЕВРЕЙСКАЯ ШПАНА

ЕВРЕЙ

...Всегда несвоевременный
но вечно современный
Вневременной поверенный
Творца в делах Вселенной...

* * *

Давно не молодая
Еврейская шпана
От хохота рыдая
Хмелеет без вина

Хотя и не безвинна
Зато себе верна
До вора и раввина
Дистанция равна

Пусть бедой пугают
Безумные врачи
Глумятся попугаи
И каркают грачи

Пусть борода седая
Да ночью не до сна...
Идёт немолодая
Еврейская шпана!

* * *

И правда ведь привередник
Но не баловень – баловник
Предвечного собеседник
Не пророк и не проповедник
Не праведник – проводник

БЕСТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Бесконечных снов хороводы
Путь запутанный в край безвестный
О мучительнейший из переводов
С бессловесного на словесный!

ЗА ГОРИЗОНТОМ

Сквозь полог лишь ответ Бога
Как дальний маяк в пути
Но вот – чем прямой дорога
Тем дальше к Нему идти

* * *

Мёрзнут ноги, стынут руки
Счёт пошёл на третью треть
Как бы сдаться на поруки?
Где бы сердце отогреть?

* * *

Вот как это – остаться бестелесным
Не видеть отражений в зеркалах
Вдруг стать не местным в этом мире тесном
Когда не властны мэлех* и малах**?

* царь (ивр.)

** ангел (ивр.)

СМЫСЛЫ СЛОВ

Какая там политика
Скорее уж поэтика
Но потому и критика
Что всё по сути этика

ЭТИКА-ЭСТЕТИКА-ЭРОТИКА

В детстве восхищали
Несущиеся вскачь кони
И фехтующие мужчины
Но вдруг в отрочестве
Вниманием завладели женщины –
Сначала их лица, потом тела
А вот теперь кажется
Что нет ничего на свете
Более совершенного чем коты

Наталья Зейфман **«Еще одна жизнь»**

Осенью 2016 года в московском издательстве «Время» тиражом 1000 экз. вышла книга воспоминаний Натальи Зейфман – об отъезде семьи в Израиль в 1991 году (воспринятом как конец жизни и начало новой), о московском лефортовском детстве в сороковых-пятидесятых, о работе в Отделе рукописей ГБЛ, о Каверине, о историке П.А.Зайончковском... Дина Рубина, представившая книгу в аннотации, говорит о ней так: "Эта книга – не триллер и не детектив, – необыкновенно увлекательное чтение!". Книгу можно приобрести у автора, обратившись по электронной почте: nataliazeifman2015@gmail.com.

Дмитрий Рябоконт

Я УДАЛИТЬСЯ ВАС ПРОШУ

Императоры, жрецы и монахи,
Гладиаторы и черные монахи,
Фрицы, санитары и матросы
В очереди курят папиросы.

Франкенштейны, упыри и фрики,
(И луна отбрасывает блики),
Минотавры, монстры и скелеты
Двигутся и курят сигареты.

А за ними – зайцы и лягушки,
И ежи, и разные зверушки
Двигутся к величественной арке,
(Звезды и луна льют свет неяркий).

Там, на арке, – колокол подвешен
Поминальный. И исход – успешен,
Двигутся герои торопливо
К морю и отвесному обрыву.

Из руин собора льется месса,
Или служба в небо Херсонеса,
Я стою, уже не беспокоясь
Ни о чем. Затем – в хвосте пристроюсь.

"писатель Дима Рябоконт"

Б.Р.

Какой еще писатель? – Неврастеник,
Желающий лишь славы, девок, денег,
Мятущийся в сетях сплошных интриг,
Мечтающий забыться хоть на миг.

Мечтающий напиться и забыться,
И хоть на час, на миг от мира скрыться
В стране волшебных, лучезарных грез,
Где нет страданий, ненависти, слез.

Где нет непониманья, безразличья,
Где ангельские голоса и птичьи
Повсюду раздаются в тишине,
В небесной глубине и вышине.

Его все раздражает, бесит, мучит, –
Особенно реклама, грязь и кучи
Дерьма, а также – множество машин,
И дорогой ближайший магазин.

Писатель – нерв великого народа,
Но, извините, этого уroda
Давно уже с трудом переносу,
Засим,– я удалиться вас прошу.

Валерий Скобло

МЕНЯЮ КВАРТИРУ

Как умеешь и там, где сумел,
Обрабатывай явно и тайно
Этот крохотный личный удел,
Что достался в наследство случайно.

От надежд отрешившись вполне,
И с брезгливым презрением к славе,
Что тебя презирает вдвойне,
К этой сладкой и липкой отраве.

За пределами зла и добра.
Карандаш и листочек мусоля,

С темноты, до рассвета, с утра...
Значит, это и есть твоя доля.

Без оглядки на ленты, венки –
До последнего взгляда и слова,
До разлуки, последней строки,
До последнего вздоха земного.

* * *

Как-то представить себе все труднее
Встречу ли здесь... или там – за порогом.
Нет, невозможно... Но им там виднее,
Как осчастливить в житье нас убогом.

Ну, и пускай... Жить привычно с невзгодой.
Не оглушить себя травкой и водкой.
Ты приплывешь, как себя не уродуй,
Волнами памяти, ставшей короткой.

Жизнь раскололась на две половинки,
Ты получаешь письмо без помарок...
И, как звучало с известной пластинки,
Это последний подарок.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
(Из цикла "Объявления")

Меняю квартиру в кирпичной "хрущевке":
Жилой – 42 и два метра в кладовке,
Три комнаты, светлые... тамбур, балкон,
Санузел с ванной не совмещен,
Четвертый без лифта в пятиэтажке.
Приватизация... все бумажки.
Кухня – 8, большой коридор,
Оставлю и мебель – о чем разговор?

Нужно укромное место на свете –
Не в этой стране, не на этой планете,
И лучше вне Солнечной даже системы.
С пропиской, я знаю, возможны проблемы.
И даже – пусть холодок по коже –
Согласен в другой Галактике тоже.
Я сильно придиричив, поверьте, не буду,
Но только... но только – подальше отсюда.

И повторяю устало я миру:
Меняю квартиру... меняю квартиру...

Ехиэль Фишзон

АЗНАВУР ОБЛАКОВ

1975. Николаевский сквер. Сентябрь

Мы сойдёмся у ног исполина
и поёжмся: сладкая дрожь;
с кожурой золотого налива
схож рассвет – твердолоб, светлокож.
Неизвестно какая прохлада
притаилась за ветра щекой:
рыхлый мрамор из Царского Сада
или мгlistый душистый покой –
вечный сон соловьёв и настурций,
или выхлопом взмыленный бриз,
иль решительный, без контрибуций
и аннексий мороза сюрприз.
Пахнет брызгами света и вогкой
паутины пьянящей гнильцой;
неизвестно, кто вымазал воском
этот город весь заподлицо;
в его наледи, плоти и тверди
вогнан был я, как гвоздь, поутру,
среди прочей студенческой сельди,
обменявшей на ветер жару,
чтоб расти на граните и лёссе,
на корнях, на траве, на кости
косогора, в чьём жёстком откосе
взглядом памяти можно спасти
оптом всех – кия, щека, хорива,

всех – добрыню, рудого панька,
турбинных, всех, кто падал с обрыва
на Лукьяновке...
Здравствуй, тоска,
пожелай мне прямого объятия,
даже, проще, всем руку пожать,
чтобы клёны, как старшие братья,
доверяли листвою опадать
на сентябрьский наклонный асфальт
в перестуке каштановых смальт.

1976. Сталинка. Октябрь

Ночь приходит, словно сторож
солнца, на ночную смену,
нацепив луны околыш
и с усов сдувая пену;
этой сыростью и хмелем
камни вымыты окраин,
где готовят карамели
Карл Маркс и Фридрих Сталин –
фабрика под стать району,
а район под стать эпохе,
и роняет тополь крону
в пять минут, на полувздохе
ветра в форменной шинели;
облюбованной вохрою,
пахнет сахаром и прелью,
дышит луком и махрою,
стонет матом, льнёт слюною,
кровью харкает у бровки
нацелованный войною
мир в газетном заголовке.
Чуть намокшая страница
катит яблочком, и мчится
ей навстречу сна синица
в руки к гражданам ложится.

1979. Политехнический институт. Январь

Курок луны меняет лежебока
на турникета выстрел и патрон
туннеля – несусветная морока –

с морлоками кататься на метро.
Но что же делать, если сыпят счёты
в отчётности костлявую графу
и день слепой глухонемой работе
под рёбра сунет палец на фу-фу.
Нас держит в жизни листик под копирку,
чужих словес чуть выцветший ковёр;
вот небо наконец и в небе дырку
пробило солнце – главный контролёр.
«Трамвай идёт не за угол, а прямо...»
я перечту, завидуя.

Строка

звенит и стружкой брызжет.

Пилорама

поэзии работает. Пока.

Пока мы дышим, друг, пока мы дышим,
и выбегаем слова посреди,

и наблюдаем: как лежат на крышах
плечом к плечу замёрзшие дожди
по-ротню, а в садах по-батальонно,
и целый полк налип на колее,
мне теплота трамвайного вагона
дороже мирумира на Земле.

За доброту заиндеветшей дверки
нальём и выпьем залпом, не дыша,
равняясь, как солдаты на поверке
на грудь четвёртой слева – хороша!

1983. Оперный театр. Май

Покажи мне зелёную мглу,
что когда-то была золотую,

и болтала на каждом углу
колокольной пасхальной пятою;
а сейчас веселит первомай
эта зелень на месте церквушек
и висят, словно мать-перемать,
звуки здравниц и лязг побрякушек.
Вот морозу бы вдарить, нет – дождь
мостовую мыл перед парадом
и заснул как одышливый вождь,
наверху, над бульваром и садом...
Шёлк колена, и шорох тепла,
и знамён притуплённые херы,
что за женщина здесь протекла,
неожиданно, вспышкой холеры
заразила, дохнула, смогла
душу паводком, сушу весельем
изменить, но исчезла, как мгла,
перед самым любви новосельем,
раньше слов, прежде взмаха руки,
первый такт увертюры не слыша.
Дождь, проснувшийся вдруг, ручейки
на трудящихся вывалил свыше –
враз закончилось шествие;
нам
быть рабами –
чем это не Яффа –
возле почты бродить, телеграфа,
толковать о неверности дам.

1985. Выдубичи. Июль

Юный ветер поет, азнавур облаков,
видишь: кнопка его, запятая,
иль, вернее, значок монастырских крюков,
свищет, ласточкой к нам долетая.
А под кручей Славутич в седых зеленях,
чуть завидя, завидует ветру
и лодчонка, как гребень, в его простынях

не даётся лучу-петиметру.
Солнце правит потоком небесных жильцов,
Елисейских полей Заднепровьем:
от далёкого бора сосновых дворцов
до полей, вечно пахнущих кровью.
Воровская любовь, золотые деньки
да могильных оград паутина,
где заметней, чем целая жизнь, пустяки:
тихий смех, влажный взгляд и пожатые руки,
звон реки, милицейских нарядов свистки,
запах липы да медленных пчёл медяки,
и расстёгнутый ласточкой под сквозняки,
воротник синь-небес палантина.
Как томительна шуба июльской жары,
но от гирла Десны к нам припёрло
тёмной тучи мучительные тартарары,
чтоб, как свитер, пролиться на горло,
дождь лежит пеленами и липнет платком,
мы как горлинки спрячемся в нише
старой церкви, но больше не будем потом
ни в саду, ни под ветхих ворот косяком,
ни на трезвую голову, ни под хмельком,
среди кустов бузины, где поёт шепотком
нестареющий ветер в пространстве густом,
ни на тверди, ни в ней и не выше.

1987. Тарасовская улица. Снова сентябрь

Коромысло начала учебного года,
блик зелёной воды под зрачком,
этих девушек, нет, не лепила природа,
но ловила весёлым сачком
в апельсиновых рощах щеки и подмышки,
да в лимонных лопатках-холмах,
(под портфельной чешуйчатой кожей не книжки
колосятся – желанья впотьмах),
среди хлебной реки живота, с горьковатым
миндалём молодого пупка,

между тонких лодыжек с сандальным пиратом,
открывающим остров носка.
Снова капают первые листья под ноги,
на булыжный, чуть матовый скат,
и в каштановых крыльях тевтонские боги
вниз, с горы как на гору летят,
слово «броккен» стучат об седые брусчатки,
не забывшие клёкот подков...
этих девушек, нет, не природа, а счастье
принесло на ладони звонков,
этих девушек с белой руки прикормили
маета и теплынь и возня
голубей в ослепительно сладостной гнили
во дворе после школьного дня,
этих девушек грешное яблоко глаза,
затащило в синодик страстей,
чтоб лежали, как взглядом надбитая ваза,
и, как смятая вздохом постель.
Для чего наша память, зачем наша слабость,
для кого запечатаны в мозг
острый локоть, затылка внезапная сладость
и ладони коричневый воск...
Оторвись, давний день, как сандальная пряжка,
и, покуда сапожник мой пьян –
оставайся со мной, словно песня и пляска,
полезай, будто память, в карман,
отвори ворот города, весь нараспашку,
так купеческий сын пропивает рубашку –
с кем, когда – не припомнит, иван.

Наталья Новохатняя

КЛЮЧИ К ПРИДУМАННОМУ РАЮ

Мамалыга

С тарелки глядит золотистым зрачком.
Увидеть в её немигающем взгляде,
Как стебель гигантский в зелёном наряде
По-птичьи забавно трясёт хохолком.
А может, село у подножья холма,
А может, церквушку – сияет невестой...
Хозяйкой любовно замешано тесто –
Плацинды? От запаха сходишь с ума!
Тягучая дойна, и осень, и снег,
Сметанный сугроб на упитанной горке...
Следы преступления на подбородке –
Исчезла до крошки волшебная снедь.
Вино, словно Лета, по горлу течёт.
И вестник богов из невидимой дали,
Изысканно-томный, изящно-крахмальный...
Но вредной капустницей выпорхнет счёт.

* * *

...А этот двор, весь в неге золотистой,
вот-вот проснётся, зашумит крылами
и забубнит на разных языках,
из общего лишь «кофе» различимо.
Ещё «люблю». А впрочем, разночтенья
возможны тут. Молдавский вариант
«юбеск» звучит немного по-другому.
Посмаковав как лакомство (неплохо),
мы дальше двинемся. Девушка –

халат в безумных красках, хмурый вид –
встаёт на цыпочки и вешает бельё.
Вдруг рот в зевке так сильно растянула,
того гляди, полмира заглотнёт,
бельё уж точно, помоги нам, Боже!
Помог. Закрыла. Мир пока спасён.
Мальчишка мчится чуть быстрее ветра,
Пузатый дядя топчется на месте,
облаенный дворовым псом.
Причина? Ну, во-первых, это пузо.
Ещё – привычка лаять по утрам,
глядишь, за службу выпросишь подачку.
Или получишь в морду, как свезёт.
Ах нет, пожалуй, возвратимся к крыльям.
Пернатых много, гулят и трещат,
и что-то мимоходом выясняют,
забыв о небе. Небо же везде.
Оглядывает двор, и птиц, и дядю,
с бельём девицу, и само бельё
(да-да, ведь небо тоже любопытно!),
при этом светом делится так щедро –
бери скорей! И я беру, беру...

ВОТ ОПЯТЬ НА РАССВЕТЕ ПРИСНИТСЯ

1

Затихал воспалённый закат.
Ночь, как странница, в дом приходила,
Одиночества муку делила
И её умножала стократ.
Помолиться б – померкли слова,
Ни одно не засветит звездой.
Помнишь, счастливы были те двое?
Но откликнется память едва ль.
Как в тумане: корма корабля,
Взмах руки – взлёт испуганной птицы...
Вот опять на рассвете приснится,

Потускневшим узором коря.
Солона, словно море, щека
Одиссеевым вечным проклятьем.
Но уверенно рвёт вдовье платье
Серебристой оливы рука.

2

В прерывистом дыхании ветров,
Напевах моря, яростных и нежных,
В улыбке Эос, перекличке снов
Едва сбываться робкою надеждой.
Соль на губах насупленных камней.
Тревожны в поднебесье крики чаек.
Как мало Хронос отмеряет дней
Для слов любви, всё больше для печали.
Желтеет глаз недремлющей луны,
Не оторваться (помни Пенелопу).
Но не дели с другою наши сны,
Сверкать ему тогда зрачком Циклопа!
Когда бы слово возвратить назад...
Но облака привычные на страже:
Летуч и белоснежен их отряд.
Да сохранит безумных и отважных.

3

...Как полдень млел. Медовый, был он слаще
И рук, и губ... Они сбывались чаще,
Чем сны. Те, впрочем, вовсе не сбывались,
Как странники захожие, скитались.
А вот сегодня – и смешно, и чудно –
Явился странник. Кто он и откуда?
Он подошёл, погладил ветвь оливы.
Та побелевшей потянулась гривой
Навстречу ласке. Кто к ней глух, ответь?
Но промолчала, молодея, ветвь...

НОН-ФИКШН

О книге Кати Капович «Суп гаспачо»

Алексей Сальников

ПЬЕРЫ РИШАРЫ

...и, разумеется, сразу же согласился с Гандлевским на второй странице этой книги. Во-первых, как не могу быть не согласен с Сергеем Марковичем (то есть вполне могу, но все же больше в вопросах, литературы не касающихся), а во-вторых, да, ну, что уж тут, совершенно верно: развязка почти всех рассказов относится к последним двум-трем предложениям, что больше характерно для множества стихов. Другое дело, что не совсем разделяю мнение, будто в рассказах «ни о чем чрезвычайном не говорится». Такое событие, например, как потеря, к счастью, не в трагическом смысле, чужих детей во время интифады – вполне себе история незаурядная и волнующая, но это кому как, наверно.

Первые рассказы сборника сделаны очень по-довлатовски. Этот необъяснимо притягательные, отчасти выдуманные вещи, похожие на стопроцентный нон-фикшн, сворачивающие поначалу в сторону повести, но затем, к счастью ли, или сожалению, рассыпающиеся на отдельные истории совершенно разных людей, причем, удивительно близких и понятных, радующихся тому, что у них есть, и несчастных из-за того, что они рады именно этому.

Больше всего удивляет, что к рассказам Кати Капович совершенно нельзя ни прилепить, ни прислонить слово «эмигрантские». Как-то незаметно получилось за последние десять, что ли, лет – но несмотря на всякие жуткие события в мире, безжалостные политические споры, разделяющие людей на кучки согласных друг с другом товарищей по интересам, все стали

невероятным образом ближе. Все, в принципе, черпают новости и шутки к этим новостям из близких источников, каждый может, при желании, взять и уехать не в Америку, так в Европу, может податься бог знает куда, хоть собрать рюкзачок и в ИГИЛ вступить, если есть такая фантазия. Перед этой скоростью, с какой люди обмениваются текстами в сети, чувство границ и отчуждения отчасти стусеивалось. Серию «Симпсонов» про современную американскую поэзию, про поэтический фестиваль, могли срисовать с любого поэтического фестиваля в любой из стран. Всякие бытовые штуки и заботы постепенно устаканились до усредненной какой-то нормы, почти одинаковой по всей Земле. Одни, невзирая на возраст и национальность, бегут смотреть, как супергерои совершают прыжки на тросах на фоне хромакея, другие, не взирая на возраст и национальность, не выносят всего этого. Собственно, нахожусь у Кати Капович в фейсбучных друзьях, и другие связи фейсбука дали возможность писать эту рецензию, вот так это теперь и работает, уже не разобрать ни близких, ни далеких, почти нет разницы, в каких декорациях происходит спор двух поэтов о поэтах третьих, на какой почве произрастает неприязнь к хозяину съемного жилья, где треплют нервы официантке – в Штатах или России – оказалось, что подобные сценки происходят невероятным образом одинаково во всем мире.

Книга хороша чем-то таким, что можно назвать спокойствием, но это не змеиное такое, не удавье, а вот, вроде как сел вечером, закурил на кухне, ложкой там что-то помешиваешь и вроде бы думаешь о чем-то, а при этом ни одной мысли в голове и нет, похоже на усталость, но не усталость, хотя и усталость тоже, да.

Еще, буквально каждый рассказ полон БОльшим объемом, чем кажется, если просто глядеть сколько страниц он занимает, это девятнадцать раз повторяющееся чудо книги, и в такой избыточности каждого текста тоже, конечно, есть что-то от стихов, да и не может не быть, если они много лет подряд чуть ли не циркулируют у автора в крови, при все при том, эта поэтическая составляющая никоим образом не мешает читателю именно прозы Кати Капович – прозы совершенно естественной, похожей на что-то дружеское, рассказанное между прочим,

когда после, допустим текста «Кто спасет Бэтмена» хочется самому, чуть ли не как в детстве вклиниться со словами: «А вот у меня, а вот у меня...» Такое мало кто может на самом-то деле.

Герои, которые навсегда теперь поселились в рассказах, выдуманные, взятые из жизни и помещенные на страницы, будь то отец, приехавший к дочерям, дед, которого внезапно стесняется внучка, мать на свадьбе дочери, фотограф, чья жизнь меняется невероятно где-то за пределами текста, больная Ма, и другие – все они удивительно обаятельные и удивительным образом неловкие, чем-то похожие на роли Пьера Ришара в семидесятые, хочется, чтобы их знали, чтобы их помнили, чтобы самому их помнить среди других литературных персонажей, хочется каким-нибудь способом вытряхнуть из Кати Капович огромный текст, где похожие на данных героев люди были бы объединены одной большой историей, наполненной любовью и одиночеством.

После всего вышенаписанного удивляет и обижает своей несправедливостью тираж книги, и это повторяющаяся обида на все русскоязычное литературное сообщество. Ну, елки-палки. Как так-то? Двести пятьдесят экземпляров.

Илья Корман

ВРЕМЯ ТРЕТЬЕГО БРЕГЕТА

В США, в издательстве Литтера (Littera Publishing LLC), вышла, тиражом в 250 экземпляров, книга «Суп гаспачо» – сборник рассказов Кати Капович. Уже при первом, ещё беглом, просмотре становится ясно: рассказы талантливы, интересны, заслуживают медленного прочтения. Что ж, давайте и в самом деле прочтём не спеша; что тогда получится?

Девятнадцать рассказов, из них восемь взяты из предыдущего сборника – «Вдвоём веселее» – того же автора. Причём самые, на наш взгляд, лучшие рассказы первого сборника – такие, как «День битвы при Геттисберге» – во второй не вошли. По какому принципу отбирались восемь рассказов – не ясно.

Как бы то ни было, перед нами девятнадцать рассказов. Есть – от первого лица, и есть – от третьего. Есть – с явным присутствием автобиографического материала («Бегунья», «Доктор Ганцмахер»), и есть – без оногo («Микки и другие звери»). Наполненные юмором и – без такового. В одних действие происходит ещё в советские времена и на советском пространстве, в других – в иных землях и странах (в «Докторе Ганцмахере» – Израиль, но в основном – в Америке, а в «Черешне» и в «Над Канадой небо сине» – во время перемещений из страны в страну).

Надо заметить, что в «советских» рассказах советское – лишь фон, внешняя атрибутика, по духу же они совсем не советские. Равным образом в «зарубежных» рассказах напрочь отсутствует ностальгия (а в «Фамилии» можно усмотреть апологетику американской жизни – в речах «дедушки Даниила»). В целом же апологетика «зарубежья» отсутствует, и Катя Капович смотрит на мир (и на себя) трезво: «Я поменяла две страны и два языка, а что изменилось в моем мироощущении? Мне все так же неуютно в мире» – рассказ «Нас не спросили».

Но судить обо всём сборнике по одной этой «идейной», «любимой» цитате было бы неверно. Правильнее было бы присмотреться ко всей совокупности «зарубежных» рассказов – и попытаться найти в ней некую доминанту, пусть даже «доминанту в развитии». И такая доминанта найдётся! – степень укоренённости героев в новой жизни, степень готовности справляться с испытаниями.

Так, в первых двух рассказах героиня оказывается в совершенно экстремальных ситуациях. В «Кто спасет Бэтмена» её направляют в психиатрическую лечебницу, где она оказывается в компании таких же социальных (и психологических) аутсайдеров. В «Супе гаспачо» (этот рассказ дал имя всему сборнику) героиня, измученная бедностью, совершает кражу в магазине и попадает в тюрьму: «Мой отец просидел в тюрьме восемь лет (в Молдавии – И.К.) и, освободившись, сказал, что ни о чем не жалеет. Я провела в тюрьме восемь часов и могу сказать только одно – лучше свободы ничего нет».

Несмотря на экстремальность ситуаций, оба рассказа наполнены юмором – как бы для противовеса.

Но в следующих рассказах подобных экстремальных ситуаций уже нет, и страх тюрьмы (или там психлечебницы) исчезает: настолько герои (бывшие советские люди) уже укоренены в новой жизни. Правда, Мачо Джо в четвертом рассказе собирается сесть в тюрьму, но он, кажется, не из бывших советских, и кроме того, он тюрьмы не боится, как не боится вообще ничего. И если в «Микки и другие звери» герой выглядит неудачником, и его действительно настигают крупные неприятности («это старший брат прошёл трудную адаптацию», а Микки – нет), то речь всё-таки не идёт о тюрьме, это во-первых, а во-вторых – к концу рассказа должен прозвучать спасительный телефонный звонок, после которого всё наладится. Да, о тюрьме больше речь не идёт. Речь может идти о потере работы и о долгих её поисках («Нас не спросили»; но работа в конце концов находится), о смерти близкого человека («Белые горы»), о любовных коллизиях – словом, о том, что происходит со всеми и везде.

Ну, а последний рассказ, «Девушка с татуировкой», вообще уже чисто американский. Итак, от резкой неустроенности и асоциальности героев в первых рассказах – к полному американизму последнего. (При таком «общем взгляде» предпоследний «Рассказ медсестры» выпадает из ряда. Написанный от «я», лишённый спасительного юмора и спасительных же «отступлений», в конце оказывающийся воспоминанием о давней любви, он при любом взгляде стоит наособицу).

Скажем несколько слов о «спасительном юморе» – он тоже бывает разным. Он может исходить из текста от «я»: «Миша (писатель Федотов – И.К.) жил неподалеку. Ничем не примечательный снаружи каменный дом, в котором он жил, внутренним устройством напоминал конструкцию, описанную писателем Короленко в повести «Дети подземелья». Помет, как Миша называл свое потомство, состоял из какого-то количества детей от разных браков. Я говорю «какого-то», потому что точного количества детей никто точно не знал, даже сам Миша. У евреев вообще не принято считать детей – Бог дал, надо радоваться. Он и радовался, не пересчитывая, а дети все подтягивались из разных стран под отеческий кров, чтобы счастливо зажить в короленковском подвале». (Короленко в «Докторе Ганцмахере»

присутствует явно, а Достоевский – неявно. Дело в том, что слово «помет», в смысле потомства – это скрытая цитата из «Братьев Карамазовых»: «Позвольте же отрекомендоваться вполне: моя семья, мои две дочери и мой сын – мой помет-с. Умру я, кто-то их возлюбит-с?»).

А может – из «авторского» текста: «– Дедушка, как дела? – спрашивала Дженни, бросая сумку под стол.

Он старательно поднимал сумку, *ставил в угол за плохое поведение*». (Рассказ «Фамилия». В данном случае автором, возможно, не ставилась – сознательно – задача ввести в текст юмор/иронию. Юмор возникал как бы сам по себе, – или, вернее, как «тень удачно выбранного образа»).

Может скрываться в репликах другого персонажа – адвоката Мэтта, например («Суп гаспачо»). Они, его реплики, вызывают смех в зале – и даже слабую улыбку на лице женщины-судьи.

И, наконец, юмор может присутствовать в диалогах, сдобренных пояснениями от «я»: «– Скажи что-нибудь афористичное! – потребовал Миша, застыв надо мной с третьей чашкой чая в руке.

– «Панасоник» убивает либидо!

Миша сел за машинку и застучал.

– Можешь ведь, когда не умничаешь!».

* * *

«Брегет», может быть, один из лучших рассказов сборника. Присмотримся к нему повнимательнее, опираясь на статью в журнале «Часовой бизнес» (Timeseller), 2006, № 5: https://www.timeseller.ru/articles/vremya_mezhdu_strok.html

«"Пока недремлющий брежет не прозвонит ему обед" – эту цитату из пушкинского Евгения Онегина всегда приводят в качестве доказательства популярности часов Breguet в России, а сама компания неизменно включает ее в свои рекламные буклеты.

Действительно, имя Breguet к концу XIX века в нашей стране уже стало практически нарицательным, его использовали для обозначения точных часов вообще, заменяя понятие "хронометр". Этим, например, умело воспользовался популярный стилизатор Борис Акунин: его герой Фандорин никогда не смотрит

на часы, он смотрит на "брегет" (именно так, с маленькой буквы).

Пожалуй, Breguet действительно являются самыми часто встречающимися в литературе часами, и не только в русской, но и во всей европейской. Например, в "Графе Монте-Кристо" Александра Дюма Breguet с будильником носил злодей Данглар. Также Брегет упоминали Мериме в "Письмах из Испании" (1830 год), Стендаль в эссе "Рим, Неаполь и Флоренция" (1817), Бальзак в "Евгении Гранде" (1833), Виктор Гюго в "Песнях улиц и леса" (1865), а в "Ярмарке Тщеславия" Уильяма Теккерея (1848) главная героиня Бекки Шарп носила бижутерию марки Lego и маленькие часы Breguet с крышкой, украшенной жемчужинами.

Но что касается России, самым оригинальным литературным воплощением Breguet стоит считать не единственное упоминание марки Пушкиным, а рассказ Александра Куприна "Брегет" (1897)».

Так пишет «Timeseller», а мы продолжим уже от себя: «Самым оригинальным» – и самым развёрнутым, самым полным воплощением – рассказ Куприна был на момент публикации, и оставался таковым лет этак шестьдесят, пока не появился рассказ Льва Шейнина «Брегет Эдуарда Эррио». И вот, стало быть, теперь, через сто с лишним лет после Куприна – Катя Капович создаёт ещё один русский рассказ о брегете. Делая, можно сказать, брегет – героем рассказа. *Молчаливым, страдательным героем.*

Рассказывается история брегета, с заходом в войну. «Мой слушатель обычно кивал головой: вещь с историей». Брегет показывают гостям. Кто-то из гостей его крадёт. Брегет обнаруживается в ломбарде. Его выкупают. Таков, в самом общем виде, сюжет. (Интересно, что во всех трёх рассказах с брегетом происходит одно и то же: он теряется и – находится. И ещё интересно, что все три рассказа – «исторические». Так, у Куприна основное действие происходит после возвращения гусарского полка из «венгерской кампании», то есть после участия русской армии в подавлении венгерской революции 1848-1849 годов. Рассказ Шейнина написан в 1958-м, но происшествие с французским политиком имело место в первой по-

ловине двадцатых. Об «историчности» третьего рассказа будет сказано ниже).

На примере «Брегета» Кати Капович можно проследить особенности её творческого письма. Дело в том, что её рассказы строятся не только на сюжете, но и на отступлениях от него (а также на отступлениях от отступлений – так сказать, на отступлениях второго порядка). Вот, например, продавец в ломбарде, возвращая брегет владелице, заворачивает его в газету. Тут же следует отступление о том, что героиня, оказывается, опубликовала в этой же газете, но несколько ранее, статью «Время и бытие в стихах молодых поэтов Молдавии», и приводятся такие-то и такие-то замечания журналиста, а также и самой героини, по поводу этой публикации.

Этот приём отступлений доведён, можно сказать, до автоматизма в «Бегунье». Место действия – Кишинёв. Шестнадцатилетняя Зоя участвует в спортивном забеге. «Начавшийся на стадионе бег вылился за ворота в переулок. Утренний ветер здесь дул, как в большой трубе, мостовая качалась влево-вправо. Дальше дорога брала вверх, и Зоя перестроилась в правый ряд. (И сразу же, без абзаца, без какого-либо графического сдвига – отступление. – И.К.) От мамы Зоя слышала, что до войны на месте стадиона было спортивное поле, обнесенное деревянным забором; трибун тогда не было, в правом конце стояло несколько длинных скамеек. В первые же дни войны, когда горели соседние дома и лавки, всё это тоже сгорело. Зоина бабушка, школьная учительница, весь июнь и начало июля вместе с другими женщинами тушила пожары. Но шестнадцатого июля стало днем эвакуации, потому что город сдали».

Тушили пожары «весь июнь»? Но ведь война началась, как жется, только 22-го?

А забег продолжается. «А вон вдали показалась деревянная эстрада. (И сразу – отступление на эстрадную тему – И.К.): Когда-то, когда Зое было шесть лет, ее взяли на выступление одного певца. Он пел под гитару, у него был хриплый голос. Песни она слышала дома, папа крутил их на магнитофоне – Зоя запомнила. Особенно песни про войну и тюрьму. Они с родителями сидели в первом ряду, и она тихонько подпевала ...

Певец заметил, что она поет, и вытащил ее на сцену. Не понимая до конца смысла песни, она пела с ним, сидя у него на руках».

Если этот эпизод не выдуман, то знают ли о нём высококоведы?

(При чтении «Бегуни» – а также и «Брегета» – вообще возникает немало вопросов, о чём мы поговорим ниже).

«Мама уже дома попросила никому не рассказывать про выступление. Зоя никому не рассказывала». И о фотографиях в семейном альбоме нельзя рассказывать...

«Они сидели в гостиной на диване, и мама называла имена Зоиных двоюродных дедушек и бабушек. Тогда в первый раз Зоя услышала про то, что многих убили. «Вот этот выжил и живет в Америке!» – с грустной улыбкой добавила мама, указав на портрет мужчины в шляпе. И она повторила просьбу никому не передавать их разговор».

Но как трудно хранить всё в себе! «Осталось совсем немного. Она же спринтер! Сейчас она выйдет на финишную прямую и разовьет скорость. Зоя не знала, что ей делать со всеми теми вещами, которые мама ей рассказывала. Пробегая мимо старой деревянной эстрады, Зоя подумала, что расскажет это Сереже, когда они снова разговоятся».

Сереже ... да. Но и всем тем, кто прочтёт рассказ «Бегунья».

Но проблема «лишнего» знания, которое лучше держать при себе, а не высказывать всем вокруг – проблема эта существует и в свободной Америке. Например, читаем в «Мачо Джордж собирается в тюрьму» (кстати, в очередном отступлении): «Когда-то я работала продавцом в книжном магазине, и коммерческая выучка у меня осталась. Она, видимо навсегда оседает в организме, как радиация. Сначала я, кстати, была с покупателями честна. Если книга мне не нравилась, я отговаривала покупателя ее брать. Задвигала Коэльо поглубже, прятала «Код да Винчи».

Менеджер завел меня в кабинет.

– Ты кем работаешь?

Я растерялась. Выпил он, что ли, думаю. Я знала, что он держит в сейфе бутылку с коньяком.

– Ты здесь работаешь продавцом! – объяснил он и вдруг не на шутку разбушевался. – Цель продавца – продать книгу. Не обсудить, не дать свою никому не нужную оценку, не спрятать ее черт знает куда, чтоб потом никто не мог найти, а продать. Поняла?

– Поняла, – трусливо ответила я.

– А теперь иди и работай! И чтоб никакого литературоведения! – прокричал он мне в спину».

Задвигала Коэльо, прятала Дэна Брауна... Это с одной стороны. А с другой – читала своей одиннадцатилетней дочери Кафку («Суп гаспачо»).

Что ж, понятно: культурная планка в рассказах установлена весьма высоко.

(Строго говоря, мы только что провели логически ущербное рассуждение, молчаливо предположив, что две героини, говорящие о себе «я» – одна в «Супе гаспачо» и другая в «Мачо Джо собирается в тюрьму» – это по сути одна героиня, по крайней мере в культурно-психологическом отношении. А полагалось бы, вместо молчаливого предположения, дать доказательство. Но, предвидя его, доказательства, длинноту и здесь неуместность, мы уповаем на читателя, который «прочтёт рассказы и убедится в нашей правоте»).

Интересно проследить, как герои, обстоятельства и события рассказов сборника соотносятся с «большой историей» – с действительностью, если угодно. Тут у автора «не всё гладко». Но сначала проясним, что значит «гладко».

Вот, в «Докторе Ганцмахере» есть персонажи: журналистка Эмма Сотникова и писатель Миша Федотов. Легко убедиться (обратившись, например, к Интернету), что и «в жизни», «в действительности» эти «персонажи» существуют; можно прочесть их писания. Их бытие в рассказе (т.е., художественное) ни в чём не противоречит «реальному». Это и значит: «гладко».

А с другой стороны, вот «Мачо Джо собирается в тюрьму»: «До него я знала только одного человека, который затягивался сигарой. Тот во время службы в советском флоте спрыгнул с корабля и плыл до Турции две недели. Я с ним познакомилась в Израиле. Он работал океанографом...» Нетрудно догадаться, что речь идёт о Славе Курилове. Можно найти в Интернете и

прочесть, кто не читал, его вещь «Один в океане», где этот побег подробно описан. Но только почему «две недели», когда – три дня? Почему «до Турции», когда – до Филиппин? Вроде бы и мелочи, но – «царапают глаза». (И сюда же – искажение названия повести Солженицына в «Фамилии»). Не всё, стало быть, гладко.

А в «Брегете» – и того пуще: «За этим брегетом мой не лишенный сентиментальности дед однажды вернулся домой в очень неудачное время, а именно 22 июня 1941 года, когда все остальные родственники и знакомые, кто как мог и на чем мог, старались уйти из пограничного с Румынией городка. Румыны были коллаборационистами, в шесть часов она (так! – И.К.) так рьяно принялись истреблять евреев, что самому архитектору геноцида Адольфу Эйхману пришлось вылететь из Германии, чтобы обуздать их пыл».

«...в шесть часов» – откуда эта «шизофренически точная цифра» (выражение из «Доктора Ганцмахера»)? И про Эйхмана, мягко говоря, ну никак не верится, что он так забеспокоился.

И кто нам растолкует вот эту фразу из «Бегуни»: «По параллельной дороге уже шли румынские солдаты и стреляли в бегущих людей – таких же, как они, евреев»? Надо ли понимать так, что румынские солдаты были евреями?

Короче говоря, интерфейс рассказов и «большой истории» – слабое место автора.

И ещё надо сказать, что на страницах сборника удручающе много опечаток, а он не защищён авторским правом, и при всяком несогласованном копировании опечатки будут воспроизводиться, и всё новые читатели будут ломать голову над словом «фингератор» и сожалеть о встреченных ошибках.

Александр Крюков

«ВОЛШЕБНИЦА...»

*Амалия Кахана-Кармон – без сомнения –
первая леди ивритской литературы.*

Менахем Бен, видный израильский литературовед

В конце января нынешнего года стало известно о том, что в возрасте 93 лет ушла из жизни Амалия Кахана-Кармон – одна из ведущих писательниц новой ивритской прозы периода 60-х – 90-х годов, начинавшая как представительница знаменитого литературного «поколения ПАЛМАХ». В последние годы в силу возраста А. Кахана-Кармон отдалилась от творчества и публичной жизни в целом, однако её имя прочно вошло в анналы ивритской прозы XX века, а произведения хорошо известны израильтянам старшего поколения и неоднократно переводились на многие европейские языки.

А. Кахана-Кармон родилась в кибуце Эйн Харод в 1926 году и выросла в Тель-Авиве. Окончила филологический факультет Ивритского университета в Иерусалиме. Была медсестрой в подразделении ПАЛМАХа, участвовала в Войне за независимость, служила радисткой.

В 1950-1958 годах вместе с мужем жила в Великобритании и Швейцарии.

Вкус к литературному творчеству А.Кахана-Кармон почувствовала очень рано: «Моя литература началась со школьных сочинений. Я писала их, потом ночью обдумывала, переписывала заново – они мучили меня, не давали покоя. ...Я изо всех сил сопротивлялась писательству. Лишь бы не стать писателем, избежать этого. Что мне и удавалось довольно долго».

Её первый рассказ был опубликован в газете левосионистского молодёжного движения «Ха-Шомер ха-цаир».

Однажды, уже в 50-е годы, приехав домой в Израиль на время из Англии, А.Кахана-Кармон случайно обнаружила конверт со своими записями времен армейской службы. Это были впечатления о захвате еврейскими частями Беэр-Шевы в период Войны за независимость – событиях, в который будущая писательница участвовала лично. Воспоминания о тех временах подтолкнули Кахану-Кармон к написанию рассказа, который получил название "Беэр-Шева... Беэр-Шева... Беэр-Шева – столица Негева". Потом были написаны еще два рассказа. Вскоре они были опубликованы в Израиле сразу в двух разных изданиях.

Первая книга рассказов "Под одной крышей" была опубликована Каханой-Кармон в 1966 г., когда она жила в Швейцарии.

В 1971 г. писательница издала исторический роман «И луна в Аялонской долине». В этом произведении автор хотела отразить процесс изменения отношения к традиционным идеалам сионизма, который начался в Палестине еще в первые десятилетия XX века. Дети представителей первой и второй алии уже не воодушевлялись идеями отцов, стремившихся на землю предков, чтобы в прямом смысле своими руками превратить ее малярийные болота в цветущие сады и апельсиновые рощи.

Любопытно, что главными героинями романа являлись две девушки – Наома и Емама, через образы которых автор осуществляла свои основные идейные замыслы. Представляется, что именно в ходе работы над романом "И луна в Аялонской долине" А.Кахана-Кармон сделала окончательный выбор в пользу художественной разработки именно «женской темы» в своем творчестве.

В 1975 г. прозаик написала монодраму «Произведение в духе высокого стиля для сцены».

Она рассказывала о себе: «Я пишу очень медленно. Над последней книгой (тогда это была повесть «Наверху в Монтифере». – А.К.) я тоже работала восемь лет и не надеюсь, что следующую напишу быстрее. Я почти все из написанного вычеркиваю, оставляю несколько страниц, а от страницы – несколько слов».

Еще в 60-е годы писательница полностью отказалась от сюжетной прозы и занялась поиском выразительных средств, позволяющих обнажить скрытые пружины в отношениях между людьми и в противостоянии конкретного человека миру в целом. В свете вышесказанного показательной является книга «Наверху в Монтифере» (новелла и два рассказа).

Все три входящие в сборник произведения объединены общей темой, хотя она и разрабатывается на разных уровнях детализации. В каждой из трех историй героиня показана после своего рода духовного взлета, который дает ей новые силы и делает более свободной. Такое происходит с ней после встречи с мужчиной. Сами встречи разные по содержанию: если в открывающем книгу рассказе это вроде бы всего лишь случайная сексуальная связь между незнакомыми людьми, то в заключительном, самом большом по объему рассказе сборника – «После ежегодного бала» – это разговор, в котором пожилая женщина вспоминает историю любви, долгие годы наполнявшую всю ее жизнь.

В первом рассказе «Я не парализована, а ты не немой», действие которого происходит в 80-е годы, повествуется о израильтянке, которая, будучи парализованной, направляется в английскую деревню (где она уже жила 21 год назад с мужем и маленькой дочкой) для поправки здоровья. Второе по порядку размещения в книге произведение – новелла «Вид с моста Зеленой утки» – посвящено истории жизни некой еврейской женщины в Европе XVII века. Еще двенадцатилетней девочкой она была украдена из своей семьи во время антиеврейского погрома, прожила долгие годы в среде чужих людей и даже влюбилась в своего похитителя. В рассказе «После ежегодного бала» события происходят в Англии на грани XIX – XX веков, а персонажи – простолюдины, чьи образы ранее не занимали видного места в произведениях Каханы-Кармон.

В книге «Наверху в Монтифере», а также в ряде публицистических и критических статей А.Кахана-Кармон пытается найти некий код, с помощью которого можно было бы распознать и понять женские чувства и реакции, не имевшие ранее адекватного отображения в литературе на иврите.

Мужчина и женщина, считает Кахана-Кармон, по своим намерениям и жизненным устремлениям совершенно разные социально-биологические организмы, или, как она пишет, – «разные народы». В результате они обречены на такой трагический по своей сути тип взаимоотношений, при которых мужчина неизбежно является хищником, а женщина – жертвой, добычей. Такое распределение «ролей», по мнению писательницы, предопределено тем, что мужчина по своей сути ближе к дикой природе, животным, чем женщина. Вот в чем основа его господства над ней, однако в этом же и его слабость, «ахиллесова пята». Женщина более гуманна, человечна, одухотворена – в этом источник ее большей, чем у мужчины, эмоциональной и духовной силы. Каждое из этих двух существ тянется к другому именно в силу своих фундаментальных различий и каждое из них вынуждено играть предопределенную именно ему роль в этой фатальной системе взаимоотношений.

Все три произведения, составляющие сборник «Наверху в Монтифере», художественно отражают вышеизложенную концепцию автора. Мужские персонажи предстают в облике необузданных, диких, жестоких существ, которые откровенно наслаждаются, используя свою разрушительную силу, и которые не чувствуют никакой вины за страдания своих жертв.

Женские персонажи сборника выписаны в виде слабых существ, с которыми мужчины делают все, что им заблагорассудится. Так, Тамар – героиня рассказа «Я не парализована, а ты не немой» – фактически сослана мужем в деревню после того, как доктора отчаялись излечить ее от поразившего ее паралича. В рассказе «После ежегодного бала» мы видим душевнобольную Сару Джейн, чье сумасшествие вызвано чудовищным отношением к ней со стороны Колина – мужского персонажа. Он цинично соблазнил наивную девушку, которая искренне влюбилась в него. Более того: затем он стал торговать ее телом, стремясь расплатиться таким образом с долгами, которые он наделал, занимаясь азартными играми. Когда же Сара Джейн забеременела, Колин бросил ее, фактически приговорив свою жертву проводить остаток жизни в приюте для душевнобольных.

Клара – героиня новеллы «Вид с моста Зеленой утки» – также незащитное существо: еврейская девушка, чей отец был убит на ее глазах, принуждена жить с Питером – человеком, который оставил на ее щеке метку раскаленным железом, беспричинно избивал ее, приковывал к кровати, морил голодом продолжительные периоды времени – то есть унижал и мучил ее долгие годы пока она, наконец, не сумела вырваться на свободу.

Такова внешняя сторона событий в составляющих книгу произведениях. Однако их неявной, но более важной содержательной стороной является неиссякаемая жизненная сила женских образов, их глубокие эмоции и неумирающая вера в жизнь, существующие несмотря на все те страдания, которые довелось испытать героиням книги. Одновременно становятся видны и явные слабости мужчин, прежде всего – их духовная неполноценность, ущемленность.

Постепенно все четче проступает еще одна мысль, подсудно проводимая автором. Физическое превосходство мужчин над женщинами Кахана-Кармон с известным допуском приравнивает к силовому господству гоев над слабосильными сынами Авраама, Ицхака и Якова. Последние, в свою очередь, превосходят неевреев в духовной силе, вере и надежде. Таким образом писательница образно приравнивает положение женщины в мире к положению евреев среди народов. Это также своего рода аллюзия на название известной песни Джона Леннона «Женщина – это что негр в Америке». То есть можно понять страдания женщин, взглянув на положение евреев в мире и истории, евреев, которых ненавидели и презирали, как считает автор, именно за их особую духовность.

Однако тот факт, полагает Кахана-Кармон, что, как женщины, так и евреи подвергались насилию на протяжении истории человечества, означает не только их слабость. Из унижения, угнетения, отрицания их человеческой ценности рождалась их духовная сила – сила высокоорганизованной и духовно богатой личности, душа которой никогда не сдастся, хотя это и грозит ей очень многим.

Вместе с тем, считает прозаик, положение женщины более трудное, чем положение еврея, поскольку она изолирована и

не может рассчитывать на поддержку, которую, например, получает Государство Израиль от мирового еврейского сообщества. Более того – хотя публично еврей был вынужден оказывать почет и уважение гою, то тайно он мог презирать и даже ненавидеть последнего. А женщина вынуждена любить мужчину, который третирует и унижает ее. Таким образом, поскольку она обречена любить своего врага – мужчину женщина попадает в фатальную ловушку – она должна выбирать между любовью, которая занимает центральное место в ее внутреннем мире, и самоуважением, которое для нее также очень важно.

Когда Клара вспоминает свое ужасное существование в Монтифере (отсюда название сборника), «под сенью хлыста и полного забвения», она понимает, что выживание было единственной целью ее жизни, целью, которая оправдывала все средства. Непрерывно оскорбляемая Питером, она не имела другой возможности выжить, кроме как забыть о "чувстве самоуважения и гордости". Но такое самоотрицание постепенно превратило ее в бездуховное существо, как бы пустое внутри.

Однако на этом история Клары не заканчивается. Убежав от Питера, она безответно влюбляется в чернокожего раба. То есть, пока она любит кого-то, готова всем добровольно пожертвовать ради этого мужчины, она обречена страдать. И несмотря на большую разницу между могучим землевладельцем Питером и чернокожим рабом, только что освободившимся от своих цепей, оба эти мужчины сильнее Клары, поскольку они не нуждаются в ней так, как отчаянно она нуждается в них – объектах своей любви.

Таким образом, резюмирует автор художественное изложение своей философской концепции, независимость подразумевает готовность быть в одиночестве и жить в мире, в котором нет чуда любви. То есть, считает Кахана-Кармон, стремление к любви есть «ахиллесова пята» женщин.

«До недавнего времени, – говорила писательница в одном из интервью, – в главном потоке израильской литературы не было места тому, что хотят и могут сказать женщины. Выбор у женщины-писательницы был прежде таков: или писать от лица мужчины, или писать о том, как мужчины видят женщин. Если

же они выбирали третье – писать о своих чувствах и переживаниях, то это рассматривалось как тривиальные пустяки. ...Сейчас видны перемены. Вдруг все заметили, что женщины-писательницы несут в себе новое, сильное, ясное, молодое видение жизни».

В 1991 году был опубликован роман «Провожая её домой». Он также написан в ключе основной творческой темы А.Каханы-Кармон – мир отношений между женщиной и женщиной. На этот раз сюжет более камерный: в книге рассказывается о пылкой любви звезды израильской сцены стареющей актрисы Меиры Хеллер к молодому мужчине (он моложе ее на 23 года) – художественному критику и переводчику Мосику.

В этом произведении автор использовала несколько специфических приемов для достижения поставленной цели – показа состояния души влюбленной женщины. Так, наиболее откровенно Меира высказывает свои чувства Мосику по телефону, не зная, что тот все записывает на магнитофон. Свою смысловую нагрузку несут в романе рассуждения о современной живописи, как эффективном средстве самовыражения. Для Меиры образцом художественной правды является знаменитая картина Малевича «Черный квадрат», соотносительно с которой актриса стремится оценивать искренность и истину жизненных ситуации и эмоций.

Таким образом, задействуя особые художественные приемы, Кахана-Кармон продолжала в своем творчестве линию на изучение «анатомии души женщины», ну а мужчина продолжает в книгах писательницы играть роль своего рода зеркала, в котором отражается главная героиня.

В том же 1991 г. увидел свет роман «В соответствии с часом».

В 1996 году был издан сборник новелл и рассказов «Будем жить здесь», в который вошли одиннадцать ранее уже опубликованных новелл и рассказов писательницы из ее книг, изданных с 1971 по 1984 год.

В 2006 году вышел последний сборник рассказов Каханы-Кармон «Встреча, полвстречи», названный словами из знаменитого стихотворения национальной еврейской поэтессы Рахели.

Глубокий психологизм, верность избранной теме, особый иврит – сочетание разговорного языка с танахическими оборотами и аллюзиями на известные сюжеты из Писания – всё это в конце 80-х – начале 90-х годов выдвинуло Кахану-Кармон в группу ведущих прозаиков Израиля. Она также автор большого количества социально-философских эссе и литературоведческих работ. Литературный редактор и поэтесса Ноит Барэль на днях так оценила язык произведений Каханы-Кармон: «Её проза – это почти поэзия: по мелодике, ритму и вниманию к каждому слову».

Не любящая делать комплименты израильская литературная критика, тем не менее, ставила произведения Каханы-Кармон в один ряд с романами Амоса Оза и Алеф-Бет Егошуа – главных писателей современного Израиля.

Её литературное творчество высоко оценено в израильском литературном сообществе: она лауреат Государственной премии Израиля по литературе за 2000 год, премии Президента Государства Израиль и премии им. Х.-Н. Бялика. Романы и повести Каханы-Кармон также удостоивались престижных зарубежных литературных наград.

По прошествии месяца со дня кончины писательницы, с основательной статьей о её творчестве и его месте в общем русле развития современной ивритской литературы в газете «Гаарец» выступил видный израильский литературовед Шимон Зандбак. Он с глубоким сожалением отметил, что судьбе было угодно почти одновременно лишить израильскую литературу двух выдающихся авторов – Амоса Оза (28 декабря 2018 года) и Амалии Каханы-Кармон (16 января 2019 года). Эти прозаики-философы своим творчеством подняли литературу на иврите на высокий общегуманистический уровень, позволив евреям, живущим в Израиле, осознать себя единым народом на земле исторической родины.

Лаконично и эмоционально охарактеризовала творчество Каханы-Кармон Хагит Адлер, исследователь женской прозы в ивритской литературе: «Она просто волшебница, но несмотря на её поразительную способность расписывать жизнь словами, как красками, всё же главное в её творчестве – мысль».

Ирина Маулер и Михаил Юдсон беседуют с Александром Крюковым

Александр Крюков: Третье пришествие «Ве-шаву баним ли-гвулам...»

Александр Александрович Крюков, ведущий российский филолог-гебраист (автор и переводчик 12 книг и более 300 статей), профессор МГУ, доктор наук по ивритской филологии, один из первых и до сих пор немногих в России переводчиков ивритской художественной литературы на русский язык, хорошо известен в Израиле, так как живет здесь уже много лет. Правда, не только по своему желанию, но и по долгу службы. В 2007 году он, будучи в Израиле представителем российского Федерального агентства Россотрудничество, вместе с командой помощников-изральтян основал и открыл в Тель-Авиве на улице с чудесным названием Геула Российский культурный центр. Благодаря его тогдашним усилиям с тех пор там проходит активная культурная жизнь русскоязычной общины Израиля.

В 2013 году Александр Крюков перешёл на работу в российский МИД и последующие 5 лет работал советником Посольства России в Тель-Авиве, а летом прошлого года он вроде бы вернулся в Москву, на свою основную научно-педагогическую работу в МГУ? Впрочем, спросим у него самого...

– Александр Александрович, прошло уже ровно полгода, как вас не было в Израиле. Что случилось, вам надоело у нас и вы решили вернуться на Родину?

– Всё очень просто, уважаемые Ирина и Михаил: в июне 2018 года мне исполнилось 65 лет, и по существующему в России положению я должен был оставить госслужбу – работу в Посольстве.

– Скажите, а как вообще случилось, что «русский паренёк из рабочей семьи» (ведь так?), вдруг написал на 5-м курсе учёбы в Институте стран Азии и Африки МГУ дипломную работу «Партийно-правительственная элита в Государстве Израиль, 1948—1978 гг.»? Израиль – это случайность, или сознательный выбор?

– Тут целая история: поступив в 1974 году в ИСАА, я хотел изучать мальгашский язык (на нём говорит население острова Мадагаскар), однако решением администрации института, за которое, кстати, благодарю её всю жизнь, я в приказном порядке был включён в группу, которой впервые в истории МГУ предстояло изучать иврит. Как вы, друзья, знаете, на иврите это называется «эцба ха-горал» – «перст судьбы». Хотите верьте – хотите нет, но это был уже второй такой знак в моей тогда молодой жизни. Первый был ещё раньше: в 1971 году меня призвали в армию и отправили служить в... Еврейскую автономную область. А, каково? Из родной Москвы попасть под Биробиджан, и это ведь были не сталинские времена, да и я ни коим образом не принадлежу к избранному народу.

...Ну вот, в ИСАА мы учили иврит, историю и литературу еврейского народа и Израиля, а на 5-м курсе написали соответствующие дипломные работы. Мне всё нравилось, поэтому и закончил институт «cum laude».

– С 1981 по 1991 год вы работали старшим научным сотрудником Института социологии АН СССР, занимались анализом израильских СМИ. Тема вашей кандидатской диссертации 1986 года «Система средств массовой информации Государства Израиль». Что бы вы могли сказать об израильской прессе сегодня, когда живете здесь много лет, так сказать, «в гуще событий»?

– И тогда, и сегодня меня удивляет, пожалуй, совершенно нормальная для демократического государства ситуация – отсутствие официальных и даже официозных СМИ, прежде всего печатных изданий. У правившего и тогда «Ликуда» не было своего печатного органа!

Вы же помните, Ира и Михаил, что главной газетой у нас в Советском Союзе всегда была «Правда», а за ней в кильватере выстраивались «Комсомольская правда», «Пионерская правда» и

т.п.. То есть, у каждой группы населения был свой направляющий печатный орган, а у бакинских нефтяников – «Вышка»...

В Израиле у тогдашних идеологических сателлитов Кремля, прежде всего партии МАПАМ, тоже было свое, правда, не очень популярное в еврейском народе издание – газета «Аль ха-мишмар» («На страже», как вам название?), у Гистадрута – также не существующая уже много лет «Давар». Но такой как у нас «Правды» у еврейского народа в Сионе не было. Общенациональные газеты – «Едиот ахронот», «Маарив» и «Гаарец» всегда были независимыми (разумеется, с некоторым учетом политических взглядов их владельцев), правда, последняя изрядно «полевела». Зато сегодня, в преддверии апрельских выборов, у «Ликуда» даже открылось своё телевидение.

– Ваша вторая, докторская диссертация – «История возникновения, онтология и развитие разговорного иврита в Израиле» посвящена исследованию языка. За что вы его любите?

– Иврит – это, действительно, подарок судьбы. Это не только язык, средство коммуникации, иврит, по моему глубокому убеждению, проверенному уже десятилетиями работы с ним, это океан, микро– или же макрокосмос, ноосфера, пользуясь очень ёмким термином академика Вернадского. В иврите заключено всё – история еврейского народа, его религия, культура, национальный характер – всё! Каждому только надо поднять это из глубин языка, но желательно делать это с профессиональным преподавателем. Такой преподаватель был у нас в университете – Илья Иосифович Рабинович, фронтовик, кавалер ордена Ленина.

– В 1991—2006 годах вы были доцентом ИСАА МГУ, преподавали разговорный иврит, основы художественного перевода с иврита и ивритскую литературу XX века. Это было время массового отъезда евреев из только что распавшегося СССР. И это было время тяжелых экономических и идеологических потрясений для всех продолжающих жить на этом, уходящем под воду материке. Кому вы тогда преподавали иврит, кто интересовался ивритской литературой XX века? Как вы интеллектуально выживали в то время?

– В экономическом плане, действительно, был ряд трудных лет, начало 90-х, однако, как говорили наши бабушки: «Пережили Гитлера – переживём и это!» Так оно и вышло. Да и кто бы сомневался, что Россия и россияне не справятся с очередным трудным периодом в драматической и великой истории нашей страны?! Вспомните слова классика русской поэзии Н.А. Некрасова: «Вынесет всё – и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе...»

Сегодня Москва, да и вся Россия удивляют иностранных туристов тем, как одеваются, на чём ездят и что едят россияне. Уже лет 15 назад по числу «мерседесов» Москва обошла Берлин. А каким роскошным, красивым и ухоженным городом стала наша столица! Большая заслуга в этом нынешнего мэра Собянина. В театры очереди, рестораны и кафе полны, кинотеатры переполнены любителями нового российского кино. Скажу прямо, как житель Тель-Авива уже более десяти лет: по чистоте и порядку ему до Москвы далеко...

В 90-е годы иврит учили две категории людей: потенциальные израильтяне и студенты ВУЗов, где изучали гебраистику и Израиль: ИСАА, МГИМО, Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, Еврейского университета в Москве, Российского гуманитарного университета и ряда еврейских учебных заведений, что расцвели в Москве.

«Интеллектуально выживать», как вы говорите, не было никакой необходимости – напротив, ещё в середине 80-х годов прекратился период идеологического диктата, монополии КПСС на духовную жизнь народа. Всё можно читать, смотреть, иметь собственное мнение на культурно-информационный процесс в стране и мире. А какой творческий взрыв в интеллектуальной жизни – множество новых авторов, направлений, обществ и коллективов. Кстати, вам, Ира и Миша, содержанием и интересным профессиональным литераторам, а также всем русскоязычным израильтянам, интересующимся литературным процессом в России последней трети XX века, настоятельно рекомендую прочитать блестящее эссе Виктора Ерофеева «Русские цветы зла» в его сборнике «Лабиринт Один» (М., 2002). Книга есть в библиотеке РКЦ.

– С 2007 года по август 2013 года вы работали представителем Федерального агентства Россотрудничество в Израиле, директором Российского культурного центра в Тель-Авиве. Расскажите, пожалуйста, о первых шагах работы РКЦ, как это было? И отличается ли РКЦ сегодняшний от РКЦ тех лет?

– Ну, высокую оценку работы того РКЦ вы, уважаемые друзья, сами дали в начале этого интервью. Спасибо. Работа РКЦ и его нынешнего состава сотрудников под руководством Дениса Сергеевича Пархомчука, профессионального гебраиста, хорошо знающего Израиль и саму культурологическую работу, мне очень нравится. Мы «поднимали целину», а сегодняшний РКЦ значительно расширил спектр проводимых мероприятий, запущены новые кружки и творческие группы, активизирована выездная работа, чаще приезжают разные интересные делегации и исполнители из России, наше здание заполнено посетителями с утра до вечера. Страшно сказать – даже в шабат...

– Уровень вашего иврита очень высок. Вы перевели на русский язык с иврита произведения Эфраима Кишона, Эмуны Ярон (Агнон), Йорама Канюка, Амоса Кейнана, Орли Кастель-Блюм, Менахема Тальми, Этгара Керета, Гилы Альмагор, Узи Вайля, Меира Шалева и некоторых других наших авторов, благодаря вам они теперь живут в пространстве русского языка. Вы их переводили уже в Израиле? Кого было переводить наиболее трудно и из-за чего?

– Произведения всех упомянутых вами авторов я переводил в России, однако со многими из них встречался в ходе поездок в Израиль (с Этгаром Керетом дружу и сейчас), многократно говорил по телефону, поэтому большинство переводов можно считать авторизованными. Кстати, о Керете: вот уже 20 лет, начав в конце 90-х знакомиться с его творчеством, я считаю, что и сегодня это один из самых одарённых и интересных авторов. Рад, что жюри национальной литературной премии им. П. Сапира в нынешнем году согласилось со мной.

Очень интересно было разговаривать с великолепным Эфраимом Кишоном, которому в израильской сатире до сих пор нет равных.

Живя в Израиле, я публиковал свои переводы в «Еврейском камертоне» – приложении к «Новостям недели», открыл для себя и русскоязычных читателей новых, интересных авторов, например, Дани Сандерсона, лидера культовой израильской рок-группы «Каверет».

– *А стихи кого из израильских поэтов вы переводили на русский язык?*

– Немногих: Александра Пэнна, Меира Визельтира (его стихи, кстати, бывшего москвича, мне особенно нравятся), Егуду Атласа.

– *Ваша объёмная (500 страниц!) монография «Современный разговорный иврит» – замечательный, можно сказать классический учебник. Его не собираются переиздавать?*

– Это, уточню, не учебник, а книга о языке – его истории, возрождении и развитии. Но она очень насыщена примерами языка из разных времён, демонстрирует уровни иврита и может практически помочь людям, уже знающим основы языка. Вышло уже два издания. Часть тиража закупила знаменитая книготорговая сеть Стеймацкого, и книга продавалась в её главном магазине на ул. Дизенгофа.

– *Хотелось бы услышать ваше мнение о русскоязычной израильской литературе, создаваемой нашими соотечественниками сегодня. Кого вы цените, кого любите читать, кого бы хотели перевести на иврит? К сожалению, наше государство выделяет минимальные средства для переводов с русского языка на иврит, а в России есть фонды для перевода с иврита на русский?*

– В Израиль эмигрировало немало интересных одарённых литераторов из Советского Союза, включая отдельных, кто стал известен ещё на Родине. Перечислять, конечно, не буду – боюсь кого-нибудь не назвать, и кто-то из друзей обидится на меня. Эта писательская когорта, на мой взгляд, насчитывает до 20-25 сильных авторов. А вот, не взирая на лица, как говорится, могу признаться, что только в последние лет десять открыл для себя глубокого, оригинального прозаика по имени Михаил Юдсон, великолепного знатока истории и течений в российской и мировой литературе. Рад, что, наконец-то, как говорят на иврите, «ху яца ме-ха-арон», и его профессиональная звезда заискривилась почти в полную силу.

В России, разумеется, есть государственное и спонсорское финансирование переводов на русский язык, в том числе – с иврита. Мне, правда, издать том переводов Керета помогло посольство Израиля в Москве. А другие книги публиковались обычным коммерческим издательством, даже гонорар платили, как, впрочем, и издательство «Гешарим – Мосты культуры» за первый в России сборник рассказов Кишона.

– А что вы можете сказать об израильском социуме, об обществе, окружающем вас здесь? И отличается ли оно от сегодняшнего российского?

– Ну, друзья мои, это огромный вопрос, тема отдельного основательного и могущего быть очень интересным разговора. В двух словах – израильское общество чрезвычайно дискретно – и по группам на возрастной вертикали (речь идёт о представителях разных волн иммиграции в страну), и по горизонтали: верующие – «хилоним», сефарды – ашкенази, коренные – «ватиким» – «новые израильтяне» и т.д. Недавно появился феномен «новой качественной алии».

В России последние 20-25 лет идёт бурный процесс расслоения и даже поляризации населения: по материальному положению, политической ориентации (при ощутимой огромной усталости от заидеологизированности в советские времена), месту проживания и даже сексуальной ориентации...

– Наверняка, за годы жизни здесь вы нашли новых друзей, или вы предпочитаете дружескому времяпрепровождению общение с семьей? Что любите делать в свободное время?

– Друзей-израильтян у нас с супругой Ниной (специально перед поездкой в Израиль она освоила разговорный иврит) немало. В большинстве своём это деятели искусства – художники, писатели, музыканты, учёные-филологи. С некоторыми я познакомился, когда начал приезжать в Израиль на конференции и форумы ещё в конце 80-х годов прошлого века. Кто-то из них бывал у нас дома в Москве и на даче под г. Чехов.

В свободное время люблю заниматься физической культурой (первое, что купил по приезде в Израиль, была небольшая штанга) и гулять вдоль Яркона в парке Ганей Егошуа, переводить короткие рассказы с иврита и... я заядлый киноман – смотрю по 1-2 фильма за вечер.

– Вы в январе 2019 г. вернулись в Израиль, чему рады местные творческие люди, хотя бы однажды сотрудничавшие с вами. А вы рады этому продолжению сотрудничества? В какой роли сегодня вы здесь и что хотели бы успеть сделать за время своей новой каденции?

– События разворачивались стремительно: заканчивая по-польскую службу, я получил приглашения на академическую работу в два московских ВУЗа – ИСАА и Государственную классическую академию им. Маймонида. И вдруг руководство ФА Россотрудничество предложило мне вернуться в РКЦ в статусе советника. За 12 лет я настолько отвык от Москвы, что предпочёл Тель-Авив...

И вот, в частности, что нового хочу сделать в эту свою третью командировку: мы решили запустить в РКЦ курсы иврита для русскоговорящих соотечественников. Это будут следующие направления преподавания: нормативный, правильный иврит, обучение чтению прессы, разговорный иврит и сленг, а также разговорный иврит и его цветущий сленг. Может быть, и основы литературного перевода с иврита – всё это я вёл в ульпане и Клубе переводчиков при Израильском культурном центре в Москве.

Мы тогда даже издали два тома переводов «Бикурим – первые плоды».

– Что вы хотели бы пожелать нам, своим соотечественникам, живущим в Израиле?

– Много хочу пожелать... Если задали прямой вопрос, получите прямой ответ.

Если уж вы приехали сюда, на «историческую родину еврейского народа», то нужно полностью принять жизнь здесь такой, как она есть. Израиль – современное, развитое, интересное государство со своими непростыми проблемами и большими достижениями. Главное – овладеть ивритом, чтобы коренные израильтяне не смели покровительственно поправлять вас, хлопывая по плечу, хотя сами они говорят с массой ошибок. Познакомиться, если уж не изучить, с историей, культурой и литературой своего народа, а не ссылаться на то, что «мы приехали из страны Достоевского и Толстого».

Вместе с тем, не забывать свою жизнь до отъезда. Большинство из вас – умные, сильные по жизни, хорошо образованные люди, состоявшиеся и немало достигшие там – у нас и уже здесь, в Израиле. Кстати, хороший пример тому – вы, Ирина, интересный литератор, известный бард, самобытный художник, чьи работы посетители РКЦ увидят не далее, как в марте.

Наконец, пора перестать обижаться на Россию и россиян: понятно, что были обиды, был местами антисемитизм (а где его нет? Только там, где нет евреев), были бытовые трудности, а здесь их у вас нет? Вы разве живёте в центре Тель-Авива в «Мигдалей Акиров»? Живите полной жизнью, не оглядывайтесь. Здоровья и успехов!

Даниэль Клугер

«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?»

В конце правления фараона Рамсеса III, одна из его наложниц составила заговор с целью помешать возведению на престол законного наследника. Она намеревалась сделать царем Египта своего сына. Заговор был раскрыт (скорее всего, благодаря доносу кого-то из участников). Фараон назначил специальную следственную комиссию, перед которой предстали заговорщики. Все они признались (как сказано в дошедших до нас протоколах судебных заседаний, «под палками»). И вот такая любопытная деталь содержится в этих протоколах: преступникам, представшим перед комиссией, были заменены имена. Так, в протоколах фигурируют: Пенхевибин («Мерзкий Пенхеви»), Паракаменеф («Ослепленный Ра»), Шадмесджер («Отрезанное ухо»), и т.д. Вряд ли любящие родители дали такие имена этим людям при рождении. Скорее всего, новые имена призваны были стать частью наказания – в том числе, и физического¹.

И ведь действительно: есть нечто в именах человеческих, влияющее на то, как воспринимается носитель. Конечно, в наше время это влияние несколько иное, но оно есть, есть.

Вот, например. Представьте себе, что открываете новую книгу, а в ней, в самом начале сказано следующее. Жил в городе Л. (ранее С-П.), что на реке Н., некий гражданин по имени Александр Сергеевич Полушечкин. Работал в какой-то малоинтересной конторе, ссорился с начальством, вечерами рисовал очень хорошие пейзажи и даже портреты. Терпеть не мог

¹ См.: И. М. Лурье. «Очерки древнеегипетского права XVI – X веков до н.э.». Л., Изд. Государственного Эрмитажа, 1960.

директора – за то, что тот положил глаз на красавицу-жену Полушечкина...

Что, дорогой читатель, сразу же подумаете, что попал вам в руки пасквиль на трагическую историю великого русского поэта? Но с чего вы так решили? Имя-отчество совпало? А если бы персонажа звали, скажем, Федор Михайлович? Или Михаил Юрьевич? Или Владимир Ильич? Или, прости Господи, Леонид Ильич?..

То-то и оно. Есть имена, которые, хотел того автор или не хотел, непременно вызовут ощущение подтекста в произведении, буде автор, случайно или намеренно, даст эти имена своим героям. А. С., М. Ю., В. И. и так далее.

Разумеется, эту особенность читательского восприятия писатели иногда используют вполне сознательно. Например, тот же Артур Конан Дойл дал придуманному «королю шантажа» имя Чарльз Огастес² (рассказ «Конец Чарльза Огастеса Милвертона») – а так звали жившего несколькими десятилетиями ранее подлинного лондонского шантажиста Чарльза Огастеса Хауэлла. Хауэлл был секретарем знаменитого прерафаэлиты – поэта и художника Данте Габриэля Росетти, и источником своего существования сделал именно шантаж представителей викторианской богемы из круга друзей покровителя и работодателя. Скандальная известность Ч. О. Х. вызывала соответствующее отношение к персонажу – Ч. О. М., описанному Дойлом. Именно этого и добивался писатель. Финал рассказа А. К. Дойла – убийство шантажиста на глазах Шерлока Холмса и доктора Уотсона, которое совершает знатная дама, ставшая жертвой «короля шантажа», – тоже отсылал к финалу «прототипа», загадочному убийству Ч. О. Хауэлла. Мрачная деталь – оставшаяся во рту убитого монета, – наводила на мысль о мести шантажисту.

Такая двусмысленность, связанная с именем литературного героя, порою прочнейшим образом застревает в памяти. Про-

²Забавное совпадение: сыщика Дюпена у Эдгара По – первого сыщика в мировой литературе, по мнению последующих исследователей, звали Шарль Огюст (в рассказах автор обозначает лишь инициалы – Ch. Au.) –

читав однажды полное имя знаменитого летчика Линдберга – Чарльз Огастес, я немедленно вспомнил о его полном тезке (но не однофамильце!) из рассказов А. К. Дойла. Оттуда ниточка в памяти моей произвольно потянулась уже к историческому лицу, циничному и жадному Чарльзу Огастесу Хауэллу, убитому кем-то из жертв.

Определить, сознательно ли писатель дает своему персонажу имя известного человека или же случайно так вышло, представляется очень сложным. Если, конечно, не сохранились в черновиках, письмах, дневниках прямые указания.

Но, коль скоро имя (имя-отчество) героя книги вызывает у читателя (в данном случае, у меня) цепочку ассоциаций, он (в данном случае, я) начинает обращать внимание на те, зачастую, мелкие детали, которые подтверждают первоначальный эффект узнавания. «Ба, да вот о ком идет речь, оказывается!»

Так и случилось со мною, когда...

Собственно, вот.

Двойник господина Л.

«Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризовой шинели, и с виду настоящий жид – я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие; я поворотился им спиною, подумав, что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений»³. Так А. С. Пушкин описывает свою случайную встречу с осужденным по делу декабристов В. К. Кюхельбекером. «Неразлучные понятия жида и шпиона», однако, не вынудили поэта повернуться спиной к человеку, который, в отличие от Кюхельбекера, действительно соответствовал такому определению – и, главное, к человеку, бывшему Пушкину близким другом. По крайней мере, во всё время кишиневской ссылки.

³ А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. М.: ГИХЛ, 1959—1962. Том 7. – С.

Человеком этим был отставной подполковник Иван Петрович Липранди. Почему-то историки, к месту и не к месту, упоминают «испано-мавританские корни» рода Липранди, а кто-то даже объявил предков Липранди испанскими грандами мавританского происхождения. Разочарую и читателя, и историков: ни одного мавра по фамилии Липранди мне найти не удалось. Зато во множестве представители этого семейства присутствуют, например, на сайте «Еврейская генеалогия Аргентины». Скорее всего, испанские «мавры» Липранди были испанскими евреями Липранди.

Так что с первым понятием тут всё в порядке. Что до второго, до шпионства – подполковник Липранди был создателем первой в русской армии военно-полицейской службы, да и в Бессарабии, где пришлось ему служить в пору южной ссылки поэта, он, по поручению генерала М. Ф. Орлова занимался расследованиями различных щекотливых дел в дислоцированных там военных подразделениях:

«В декабре 1821 года, по поручению генерала Орлова, я должен был произвести следствие в 31-м и 32-м егерских полках. Первый находился в Измаиле, второй в Аккермане. Пушкин изъявил желание мне сопутствовать, но по неизвестным причинам Инзов не отпускал его. Пушкин обратился к Орлову, и этот выпросил позволения. Мы отправились прежде в Аккерман, так как там мне достаточно было для выполнения поручения нескольких часов»⁴

А после отставки он занимался организацией русской разведывательной сети на прилегавших к границе турецких землях, о чем со сдержанной гордостью поведал много лет спустя в воспоминаниях...

Такая вот ирония истории⁵

Пушкин познакомился с Липранди в Кишиневе, куда был послан в 1820 году. Здесь поэт служил в канцелярии бессараб-

⁴ И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. Сетевая публикация: <http://ves-pushkin.ru/liprandi-iz-dnevnik-i-vospominanij.html>

⁵ Подробнее о сыскной и полицейской деятельности И. П. Липранди см., например, мой очерк «Жид и шпион» в кн. Перешедшие реку. Очерки еврейской истории. М.: Пятый Рим, 2017. – С.

ского наместника генерала И. Н. Инзова. Судя по воспоминаниям Липранди, Пушкин часто сопровождал его в поездках по Бессарабии. Новые впечатления он черпал не только из поездок, но и из увлекательных рассказов нового знакомого – о войне 1812 года, в которой Липранди участвовал, о бесчисленных дуэлях и романтических приключениях, о примечательных личностях, с которыми подполковнику доводилось встречаться – например, о знаменитом сыщике Видоке, у которого он учился сыскному делу, о княгине Екатерине Багратион – вдове героя Отечественной войны 1812 года, в парижском салоне которой ему доводилось бывать... Пушкина так увлекло это знакомство, что поэт сделал Ивана Петровича Липранди прототипом самого романтического своего героя – мрачно-таинственного Сильвио из повести «Выстрел»⁶.

Сравним пристрастную, но в чем-то справедливую характеристику, данную Липранди известным и популярным в XIX веке мемуаристом Ф. Ф. Вигелем – и описанием Сильвио у Пушкина:

«[Липранди] всегда был мрачен, и в мутных глазах его никогда радость не блистала. В нем было бедуинское гостеприимство, и он готов был и на одолжения, отчего многие его любили. Ко всем распрям между военными был он примешан: являясь будто примирителем, более возбуждал ссорящихся и потом предлагал себя секундантом. Многим оттого казался он страшен; но были другие, которые уверяли, что когда дело дойдет собственно до него, то ни в ратоборстве, ни в единоборстве он большой твердости духа не покажет» (Ф. Ф. Вигель)⁷

«Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы.

<...>

⁶ Традиционно «Выстрел» считается реалистическим произведением, в котором отдельные приемы романтизма лишь пародируются А. С. Пушкиным – что относится и к романтическому флеру вокруг фигуры героя.

⁷ Ф.Ф. Вигель "Записки" (под редакцией С.Я. Штрайха) / Захаров, М.: 2000.

Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета... Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случилось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил...»⁸

Примечательно, что в советской экранизации «Выстрела» роль Сильвио исполнил Михаил Козаков. Если судить по сохранившимся портретам И. П. Липранди, они очень, очень похожи. Не знаю, известно ли было режиссеру Н. Трахтенбергу о том, что прототипом Сильвио был именно Липранди, но кастинг, что называется, в десятку. И вновь – ирония истории: «жид и шпион». Замечательный артист Михаил Козаков, как известно, был евреем, в начале 1990-х годов даже репатриировался в Израиль. Потом, правда, вернулся, но речь не об этом. Что до вербовки молодого артиста сотрудниками КГБ, он сам о том поведал с экрана телевизора. Как, однако, прихотливо сплетаются судьбы – через десятки лет, через сотни лет... Кто-то бессмертный и, в общем, не вполне добродушный, язвительно посмеиваясь, играет со всеми нами в какую-то странную игру, тасует судьбы, мешает карты... как говорил Пушкин (по другому поводу): «Бывают странные сближения». Вернемся же к литературе. Именно она, именно литература нагляднее всего демонстрирует нам эту игру, все ее выигрыши, проигрыши, чье-то плутовство, чью-то удачу.

«Выстрел» открывал цикл «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», изданный А. С. Пушкиным в 1831 году. В примечаниях к повести Пушкин указывает источник этой (и

⁸ А. С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина / Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10-ти тт. Т.

других) истории: «В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестью рукою автора надписано: слышано мною от *такой-то особы* (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А.Г.Н., «*Выстрел*» подполковником И. Л. П., [Курсив мой. – Д.К.], «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня» девицею К. И. Т.»⁹.

Несмотря на явно умышленную перестановку инициалов (И. Л. П. вместо И. П. Л.), примечание явно указывает именно на *подполковника И. П. Липранди* как на источник сюжета. Учитывая славу Липранди-бретера (он ведь спустя короткое время даже в отставку ушел из-за скандала, поднявшегося в связи с очередной дуэлью), можно вполне предположить, что за отложенной дуэлью Сильвио и графа скрывается какая-то из реальных дуэлей эксцентричного пушкинского друга.

Интересно другое. Перестановка инициалов в примечании предпринята Пушкиным еще и для того, чтобы убрать бросающееся в глаза сходство имени и отчества вымышленного автора повестей Ивана Петровича Белкина и реального рассказчика Ивана Петровича Липранди. В то же время нельзя исключать, что Пушкин сделал своего Белкина тезкой реального рассказчика не случайно, а вполне сознательно. Впрочем, доказательств тому у меня нет.

Разве что некоторые намеки в самом тексте. Вот, хотя бы:

«Иван Петрович Белкин ... в 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк (числом не упомяну), в коем и находился до самого 1823 года...»¹⁰

Иван Петрович Липранди начал службу значительно раньше, но именно в 1815 году оказался под непосредственным командованием генерала М. И. Воронцова, начальника Русского оккупационного корпуса, а в начале 1823 года вышел в отставку (правда, вернулся на службу уже через несколько месяцев – чиновником для особых поручений).

⁹ А. С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина / Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10-ти тт. Т.

¹⁰ Там же.

Так, на полях этой истории обнаруживаются реальный Иван Петрович Липранди и придуманный Иван Петрович Белкин. Еще раз обратим внимание – первый второму подсказал сюжет повести «Выстрел». «Родителю» же Белкина, как полагают, подсказал он сюжеты «молдавских» (или бессарабских) повестей «Кирджали» и утраченных «двух повестях, которые он составил из молдавских преданий, по рассказам трех главнейших гетеристов: Василия Каравия, Константина Дуки и Пендадеки, преданных Ипсилантием, в числе других, народному проклятию за действие и побег из-под Драгошан, где, впрочем, и сам Ипсиланти преступно не находился».¹¹

Впрочем, не только.

«Бендеры представляли особую характеристику своих жителей. Независимо от того, что здесь сосредоточивались всевозможные раскольничьи толки нашего исповедания и еврейского, но и фабрикация фальшивой мелкой монеты и в особенности турецких пар, выделяваемых просто из старых солдатских манерок; подделка ассигнаций, паспортов и других видов. Чтобы запастись ими, стекались из отдаленных мест. Замечательнее всего было то, что до вступления на наместничество графа Воронцова в Бендерах, кроме солдат, никто не умирал с самого присоединения области, и народонаселение города, или форштата, быстро усиливалось. Бендерское население не иначе было известно, как под названием «бессмертного общества»»¹².

Что же это за странное такое «бессмертное общество» и источником какого произведения стала информация о «неумирающих» жителях Бендер?

Для начала – очередная история о двойниках, связанная с упомянутыми в «Дневнике» Липранди «раскольничьими толками еврейского исповедания». Речь, разумеется, идет о хасидах. Сразу предупреждаю: история детективная. Даже криминальная. И, хотя случилась она несколькими десятилетиями позже поездки Липранди и Пушкина, но проливает свет на «бендерскую загадку».

¹¹ И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. Сетевая публикация: <http://ves-pushkin.ru/liprandi-iz-dnevnik-i-vozpominanij.html>

¹² Там же.

Двойник господина Ф.

Что такое хасидизм? Само слово происходит от еврейского слова «хасид» – благочестивый, таким образом, слово «хасидизм» можно истолковать как «учение благочестия». Сегодня это течение никто уже не называет раскольничьим; почти половина нынешних религиозных евреев относится к тем или иным хасидским общинам. Но в XVIII – начале XIX вв. правительство Российской империи считало хасидов еврейскими сектантами, откуда и появилось соответствующее название в записки И. П. Липранди. Важным элементом хасидского мировоззрения являлось и является совершенно особая роль главы общины – «адмора»¹³ или «цадика»¹⁴.

В данном случае, «цадик» – не столько определение душевных качеств раввина, сколько еще и титулование: цадиками называли глав хасидских «дворов». Опять-таки, «двор» – это, с одной стороны, община, объединение хасидов определенного толка, а одновременно, двор – в квазимонархическом смысле, ближний круг цадика-«монарха». Хасидских дворов сегодня известно свыше ста. Есть более многочисленные и влиятельные, как, например, ХАБАД-Любавичи, вижницкие или сатмарские хасиды, есть менее, насчитывающие всего несколько десятков семей.

В начале XIX века жил в местечке Ружин Киевской губернии хасидский цадик Исроэл Фридман. Здесь он основал свой «двор», почему и получил прозвище «Ружинский цадик» или «Ружинский ребе». Его последователей стали называть «ружинскими хасидами». «Двор» р. Исроэла был едва ли не самым пышным и богатым из всех тогдашних хасидских дворов. Здесь был целый штат слуг, шутов и музыкантов, здесь буквально была в глаза роскошь убранства дома (скорее, дворца) ребе.

¹³ Адмор (ивр.) – аббревиатура еврейского словосочетания «адонейну, морэйну вэ-рабэйну», «наш господин, наш учитель и наставник», один из титулов главы хасидской общины.

¹⁴ Цадик (ивр.) – праведник, один из титулов главы хасидской общины.

Такое почти нарочитое пренебрежение обычаями скромности, которых придерживались многие хасидские цадики того времени, имело в учении Ружинского цадика особое, мистическое значение. Я не намерен сейчас здесь разбирать его смысл, поскольку речь мы ведем о другом.

Ружинский цадик пользовался огромной популярностью и непререкаемым авторитетом как чудотворец, провидец и мудрец. Он был правнуком р. Дов-Бера из Межерич, знаменитого Магида¹⁵ из Межерич, как его обычно называли, – ученика основателя хасидизма Бааль-Шем-Това.

Его популярность широко распространялась и за пределами еврейского мира. В «Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона», в частности, приводится такой факт:

«Часто к нему приезжали за советом русские и польские помещики. Профессор В. Маер (*Die Juden unserer Zeit*, Регенсбург, 1842; приведено у С. Городецкого в «Евр. старине», 1909, III, 36 и сл.) посетил его в 1842 г. и застал у него фельдмаршала князя Витгенштейна, который «оказывал ему большое уважение и изъявил желание подарить ему красивый дворец в одном из местечек князя, если бы только тот согласился переселиться туда»¹⁶.

Вот именно авторитет и широкая известность, как в еврейском, так и в нееврейском обществе, привели р. Исроэла Фридмана к участию (вымышленному или реальному) в трагической и кровавой истории. История эта случилась в 1838 году и получила громкую огласку как «Дело о еврейском самосуде в Подолии или Ущицкое дело». Известный историк С. Дубнов, публикуя документы об этом инциденте, предварил их следующим пояснением:

«От бесправной массы, замкнутой и обособленной, не знавшей языка того государства, которое зачислило ее в состав своих подданных после раздела Польши, русское правительство Николая I потребовало отбывания воинской повинности натурою. Еврейские родители должны были отдавать своих сы-

¹⁵ Магид – проповедник.

¹⁶ Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона в 16 тт., репринтное издание. М.: Терра, 1991. Т. 13.

новой на 25-летнюю военную службу в далеких восточных областях государства, в чуждую враждебную среду... Люди всеми способами уклонялись от несения этой незаслуженной кары. Утаивались ревизские души, подделывались документы, рекрутов ... прятали от зоркого ока «ловцов». Но нашлись «мосеры» – профессиональные доносчики из среды евреев, которые ради денег или из мести сообщали властям о подобных проделках отдельных лиц или кагалных управ. Возмущенный народ иногда расправлялся с этими «мосерами» своим судом: их избивали или даже убивали...

<...>

Такова подкладка ... «Ушицкого дела» 1838 – 1840 годов. По Высочайшему повелению, 80 евреев из разных местечек Подольской губернии были преданы военному суду по обвинению в убийстве двух доносчиков – Оксмана и Шварцмана...»¹⁷

Тут следует сказать, что, если представителей других народов в Российскую армию призывали в возрасте 18 лет, то евреев – с 13-ти. Власти рассудили, что, коли религиозное совершеннолетие в еврейских общинах считалось с 13-ти лет, то рекрутов можно набирать с 12-ти лет – видимо, чтобы их не успели женить. Понятное дело, что такое варварское решение многократно усиливало общий трагизм ситуации. Тем более что «ловцы», хватавшие уклонявшихся от службы подростков, возраст определяли не по документам, а на глаз. И в рекруты попадали не только тринадцатилетние подростки, но и десятилетние и даже восьмилетние мальчики, если «ловцам» они казались достаточно подростками.

В ходе следствия стали известны ужасающие подробности. Шмуля Шварцмана, жителя Новой Ушицы, назначенные кагалом убийцы заманили в баню, там убили, тело расчленили, а части сожгли в банной же печи. Оксмана, портного из соседнего местечка Жванчик и фактора местного русского начальства, перехватили по дороге в губернский город (он встревожился из-за исчезновения товарища), убили, а тело утопили в реке. Когда

¹⁷ Пережитое. Сборник, посвященный общественной и культурной истории евреев в России. Т. I. 1908, раздел «Документы и сообщения». – С. 1 – 2.

тело Оксмана было обнаружено, в Новую Ушицу был срочно направлен полицейский следователь из выкрестов – инкогнито, под видом еврея-ортодокса, странствующего проповедника «магида». Ему удалось выведать подробности, после чего подольский и волынский военный генерал-губернатор Д. Г. Бибииков распорядился об аресте, судебном следствии и последующем наказании 80 участников и соучастников преступления.

С. Дубнов пишет:

«...Начальники [Кагала – Д. К.] ... будто бы получили одобрение от ружинского цадика Фридмана и дунаевецкого раввина Михеля...

<...>

Рассказывают, что 30 человек, «прогнанных сквозь строй», не выдержали шпицрутенов и умерли на месте экзекуции»¹⁸.

Было ли со стороны Ружинского цадика прямое одобрение убийства, мы не знаем. «...Хасидский цадик Израиль [так у автора. – Д. К.] из Ружина, обвиненный в том, что он якобы дал «псак» (...раввинистическое разрешение) расправиться с доносчиками... При самом тщательном расследовании обстоятельств дела вина... не была доказана...»¹⁹

Тем не менее, судебные власти р. Исрозла арестовали. В тюрьме он провел почти два года – двадцать два месяца. После освобождения он вернулся в Ружин, однако жизнь его резко переменялась к худшему. Отныне начальство относилось к нему с большим подозрением. О почтительных визитах за советом более не могло быть и речи, зато регулярные набеги чиновников, обыски, вызовы в губернскую управу, неусыпный полицейский контроль – все это сделало жизнь Ружинского адмора весьма тяжелой. В конце концов, вместе с семьей р. Исрозл Фридман переехал в Бессарабию – в Бендеры, затем в Кишинев. Однако и здесь его не оставляли в покое. Ружинский ребе бежал за границу – на Буковину, принадлежавшую тогда Ав-

¹⁸ Пережитое. Сборник, посвященный общественной и культурной истории евреев в России. Т. I. 1908, раздел «Документы и сообщения». – С. 7.

¹⁹ Йоханан Петровский-Штерн. Евреи в русской армии. 1827 – 1914. М.: Новое Литературное Обозрение, 2003. – С. 57.

стрии. Еврейский историк Самуил Городецкий пишет по этому поводу:

«Бегство Ружинского цадика за границу еще более усилило подозрительность русского правительства, и оно стало добиваться возвращения его, как если бы он был политическим преступником. Бессарабский губернатор сильно притеснял жившую в Кишиневе семью рабби Исроэла и грозил ей всякими репрессиями, если она не склонит беглеца вернуться в Россию.

<...>

Из трудного положения ему удалось выпутаться путем одного из тех ревизских ухищрений, к которым тогда нередко прибегали с целью уклонения от воинской повинности. В Садагоре когда-то пропал местный юноша по имени Исроэл Зонненфельд, родители которого вскоре затем умерли. Лета пропавшего по метрикам совпадали с летами рабби Исроэла. И вот последний решил присвоить себе имя этого пропавшего австрийского подданного. Он подал начальнику Черновицкого уезда заявление, что он, Исроэл Фридман из России, на самом деле есть австрийский подданный Исроэл Зонненфельд...»²⁰

Вот мы и добрались до примечательного события в жизни Ружинского ребе – события, отсылающего нас к рассказу И. П. Липранди о «бессмертном обществе» Бендер. Именно об этом рассказал А. С. Пушкину его кишиневский друг. В Бендерах в течение нескольких лет не была зарегистрирована ни одна смерть. Причину выявило специальное расследование: оказывается, имена умерших передавались беглым крестьянам, которых в Бессарабии скопилось великое множество – именно по той причине, что можно было получить соответствующие документы. Умершие, в период между переписями («ревизиями») числились в «сказках» (ведомостях) живыми. Этой брешью в бюрократических процедурах и воспользовались злоумышленники из чиновников. Не исключено, что в расследовании принимал участие и сам Липранди, исполнявший в Бессарабии военно-полицейские функции.

²⁰ Самуил Городецкий. Садагурская династия / «Еврейская старина», 1909.

Судя по истории с Ружинским ребе, спустя четверть века ситуация не изменилась – в Бессарабии по-прежнему в изобилии числились в ревизских «сказках» мертвые души. И р. Исроэл Фридман («Исроэл Зонненфельд»), ничтоже сумняшеся, воспользовался этим. Или же оговорил себя, признавшись, что воспользовался. Видимо, подробности расследования дела о «бессмертных» (или, напротив, «мертвых») душах стали известны достаточно широко, и не только в России; власти Австрии посмотрели на его признание-самооговор сквозь пальцы (наверняка, пальцы эти были хорошо смазаны еврейскими деньгами), отказав России в выдаче «австрийского подданного Исроэла Зонненфельда». У российских же властей не нашлось возможности доказать, что беглец на самом деле являлся российским подданным Исроэлом Фридманом, к тому же – замешанным в опасном преступлении. Возможно, впрочем, и тут сработала все та же еврейская смазка. В следственных документах, правда, речь шла не об Исроэле, а об Абрамке Фридмане, тоже раввине. Если это так, то Фридманов было двое, и тогда дальнейшее поведение Ружинского ребе, махинация с документами «мертвый» – «живой» (если она имела место) – с его стороны было лишь перестраховкой. Хотя, с другой стороны, для властей – что тот жид, что этот. Что тот Фридман, что этот.

Ружинский ребе поселился в местечке Садагора (Садагура, Садгора) близ Черновиц, где вскоре стал столь же популярным цадиком. С тех пор его последователей называли уже не ружинскими, а садагорскими (или садагурскими) хасидами.

Я бы предположил, что информированность И. П. Липранди в данном вопросе связана с его полицейскими обязанностями. Не исключено, что он-то как раз и проводил следствие по «бессмертным» бендерцам. Кроме того, рискну предположить, что следствие ни к каким серьезным изменениям не привело: спустя четверть века, судя по истории Ружинского ребе, механизм передачи документов умерших беглым продолжал действовать.

Рассказ же Липранди запомнился Пушкину. Настолько, что он, похоже, собирался его использовать в дальнейшем. Но, так

же, как в случае, когда его приняли за ревизора в Нижнем Новгороде²¹, рассказал о «бессмертных» (ну, хорошо – «мертвых») душах бендерских обывателей Н. В. Гоголю. Результат известен – Гоголь позаимствовал сюжет, Пушкину ничего не оставалось делать, как принять сей факт. Хотя, с явным раздражением, жаловался он П. В. Анненкову, о чем тот написал в своих воспоминаниях:

«Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль „Ревизора“ и „Мертвых душ“, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако ж в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: „С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя.“»²²

Двойник господина Х.

Будь я театральным режиссером, я бы непременно постарался восстановить справедливость. Хотя бы в отношении «Ревизора». В самом деле, действительно, если Пушкин не подсказал сюжет этой комедии, а *рассказал* его в присутствии Гоголя (именно такой вывод можно сделать из цитируемых Анненковым слов), то подчеркнуть связь пьесы с ее первоисточником можно было бы при постановке. Так вот, будь я театральным режиссером и надумай я ставить «Ревизора», я бы внимательнее отнесся к замечанию графа В. А. Соллогуба. Граф в своих воспоминаниях писал:

«Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена гр. В. А. Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского

²¹ По крайней мере, так утверждал граф В. А. Соллогуб в своих воспоминаниях.

²² Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года // Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников. М.: Гос. издат. худож. лит., 1952. – С. 255.

бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был «Ревизор», коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом»²³.

Конечно же, тут гораздо интереснее (для меня, как для якобы режиссера) случай второй: Пушкин – мнимый ревизор... Я знаю, что ряд современных специалистов оспаривают эту историю; некоторые же считают, что Н. В. Гоголь пользовался другими источниками (Г. Ф. Квитка-Основьяненко, А. Ф. Вельтман и пр.), но, в данном случае, предпочитаю версию Соллогуба. Просто она интереснее – ну, для рассматриваемого случая: если бы я был театральным режиссером.

Да, вот, кстати. Чиновники, проверяющие злоупотребления местных властей, появились впервые во Франции, в далеком-далеком XII веке, при короле Людовике Святом. А называли этих чиновников, тогдашних ревизоров – детективами. Так что «Ревизор» – комедия о детективе. Ну, это к слову.

Так вот. Будь я театральным режиссером и задумай я поставить «Ревизора», я бы, конечно, ни одного слова в тексте пьесы не поменял. Это, надеюсь, понятно. Вернее, поменял бы два слова в финале, но об этом позже. А так – нет-нет, ни одного. Будь я театральным режиссером, я поменял бы только грим и костюм одного персонажа. А именно: Ивану Александровичу Хлестакову я постарался бы придать внешнее сходство с Александром Сергеевичем Пушкиным. Никаких осовремененных вариантов, никаких нынешних костюмов и декораций, чем грешат многие постановщики, стараясь придать старой пьесе современное звучание. Нет. Вот только это одно. Собственно, такая деталь – она ведь ничуть не противоречит гоголевскому тексту.

Будь я театральным режиссером, я попросил бы главного исполнителя играть не Хлестакова, а Пушкина²⁴. Но при этом

²³ Владимир Соллогуб. Из доклада в Обществе любителей российской словесности. / А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х тт. Т. 2., 1974.

²⁴ М. И Будыко, анализируя образ Хлестакова, обнаружил множество отсылок к реальным привычкам А. С. Пушкина и фактам его биографии. По его мнению, это сделано намеренно и с согла-

произносить текст Хлестакова. Спросите: «А как же он будет говорить насчет того, что с Пушкиным на короткой ноге?» Отвечаю: говорить он это будет, подойдя к зеркалу, стоящему в гостиной. Подойдет к зеркалу и туда, в зеркало, собственному отражению – зеркальному Пушкину – скажет грустно: «Ну что, брат Пушкин?..»

И вот так, просматривая мысленно этот спектакль, ни разу я не улыбнулся. Потому что Пушкин – он же не вот такой: «...Пригласуют и, как говорят, без царя в голове, – один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно...»²⁵

И все, что теперь будет говорить он, обретет совершенно иной подтекст. Таким образом, мы меняем грим – и в результате меняется подтекст. При том, что текст неизменен. И превращается «Ревизор» в историю об очень странном, хотя и вполне типичном обществе, которое «разводит» некто приезжий, умный и проницательный. И не просто так, не для собственного развлечения только. Разводит, раскручивает, словно пытаюсь понять: а вот это съедят? Съели. А вот это? А вот если тридцать пять тысяч одних курьеров? Съедят? А вот если государь-император?.. И это съели! Ну, ребята...

Собственно говоря, ничего особенно нового я ведь и не предлагаю. Такое уже устраивал Борхес в своей новелле «Пьер Менар, автор «Дон-Кихота». Заменил Сервантеса на придуманного Менара – и, пожалуйста, текст бессмертного романа вдруг заговорил о другом...

Да, кстати, насчет государя-императора. Внезапно подумалось. Не приходило ли в голову Пушкину, когда слушал он письмо, полученное графом Перовским, когда граф Перовский зачитывал ему вслух письмо о Пушкине-ревизоре, который вовсе не сведения о Пугачевском бунте едет собирать, а про-

сия Пушкина. См.: М. И. Будыко. Друг Пушкина / М. И. Будыко. Путешествие во времени. М.: Наука, 1990. – С. 217 – 226.

²⁵ Н. В. Гоголь. Ревизор.

верить чиновников тайно, – словом, в тот самый момент, неужели не задумался А. С. Пушкин о том, что «анпиратор» его казачий, Петр Федорович, таким же был липовым «ревизором»? В самом деле, Емелька Пугачев – тот же Хлестаков, только в других обстоятельствах, разве нет? «Приехал к нему Иван Зарубин и объявил за тайну, что великая особа находится в их краю»²⁶, – далеко ли от новости Бобчинского-Добчинского? Разве далеко ушли от «тридцати пяти тысяч курьеров» его байки об обычаях при дворце или о том, что, мол, спал он с царицей Екатериной? Эка невидаль, если он уже представился царем Петром Федоровичем, мужем царицы Екатерины. Муж, понятное дело, с женой спит, в чем же тут хвастовство? Но по пьянке вот решил прихвастнуть, забыв, что речь-то о «жене» идет, ни дать, ни взять – Хлестаков, написавший «Юрия Милославского». Пугачевский армяк, конечно, не хлестаковский фрак. Но чем-то схож – может, сукном, может, размером, может, фасоном.

Правду сказать, с Пугачевым больно кровавой становится хлестаковщина. Лучше уж Хлестаков. Как представляю себе Хлестакова с бородой, остриженного в кружок, в армяке, входящего в салон Анны Андреевны Сквозник-Дмухановской... Анны Андреевны, надо же!.. Ну, тут уж точно совпадение. «Бес водит», не иначе... Так вот, как представляю себе это, так уж и вовсе не смешно становится. Нет, лучше хлестаковщина, чем пугачевщина – при том, что явления как бы и родственные.

Ну, ладно, ладно, я ведь так просто. Шучу. Уйдем от этой темы. А то я сейчас обнаружу скрытое влияние на гоголевского «Ревизора» пушкинской «Комедии о Самозванце». Это ведь так первоначально должен был называться «Борис Годунов»...

Да, а насчет двух слов, которые я бы, все-таки, заменил в тексте пьесы. Там, в самом конце, в письме Хлестакова, которое читает вслух почтмейстер. Я бы заменил «Душа Тряпичкин» на «Милый братец Левушка». Ну, и еще (но это уже не в тексте). После слов жандарма: «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице», и после немой сцены, вновь вхо-

²⁶ А. С. Пушкин. История Пугачева

дит Пушкин. Только это уже не Пушкин-Хлестаков. Это настоящий Пушкин, тот самый человек, который по прочтении ему Гоголем первых глав «Мертвых душ», печально заметил: «Боже, как грустна наша Россия...» Гаснет свет. Опускается занавес, скрывая от наших глаз застывшие в нелепых позах фигуры персонажей комедии (комедии ли?). И остается на авансцене один лишь герой – не персонаж! – Александр Сергеевич Пушкин.

Если бы я был театральным режиссером...

К счастью, я не режиссер. А то бы точно.

Двойник господина П.

Когда яркие, запоминающиеся ситуации повторяются дважды (или же минимум дважды, если повторений оказывается больше), говорят: закон парных случаев. Например, через неделю после оформления выписки пациента с очень редким диагнозом в той же больнице может оказаться второй пациент с аналогичным заболеванием. Или: украли кошелек, а через неделю – опять украли, причем сумма одна и та же.

Ранее говорил я о двух Иванах Петровичах, реальном – Липранди, и вымышленном – Белкине. Так вот. Лет сорок назад, работая над повестью «Двойное отражение», я обложился множеством книг по теме восстания декабристов, имевшихся тогда в свободном доступе. В один прекрасный день, делая выписки из воспоминаний современников о Пестеле, я вдруг услышал из-за стены, из комнаты, в которой работал телевизор, несколько раз произнесенное: «Павел Иванович, Павел Иванович!» Естественно, я сразу подумал о том, что по телевизору идет какая-то передача о моем персонаже, и выглянул посмотреть. Каково же было мое разочарование, когда на экране я увидел совсем другого Павла Ивановича – Чичикова, в исполнении Александра Калягина! И беседовал он, приятнейшим образом улыбаясь, с Маниловым, которого играл Юрий Богатырев. Центральное телевидение как раз транслировало сериал по «Мертвым душам», снятый Михаилом Швейцером, с прекрасным актерским составом.

Посмеявшись над совпадением, я совсем уж было вернулся к работе. Но никак не мог отвязаться от странного ощущения.

То и дело казалось мне, что из-за плеча сурового мятежного полковника выглядывает плутовская физиономия гоголевского авантюриста-афериста. Причем со временем они словно бы поменялись местами в моем воображении. Спустя короткое время на передний план вышел Чичиков; Пестель же лишь изредка хмуро поглядывал из-за его спины. В конце концов, я отложил работу над повестью (к слову сказать – альтернативной историей восстания на Сенатской, с победой «дворянских революционеров») и взял с полки «Мертвые души». Перечитав бессмертную поэму, посетовав на сожжение второго тома и полное отсутствие (не считая туманных намеков в письмах) третьего, я поначалу ничего сомнительного, что могло бы связать двух господ П., не обнаружил. Хотя... Нет, право, не о чем и говорить.

Но...

Нет-нет, не может быть. Давайте убедимся в том, что не может быть.

Вот первый «господин П.» – Павел Иванович Чичиков. Мошенник, путешествующий по России, задумавший и осуществляющий грандиозную аферу. Скупает за бесценок «мертвые души», вызывая то удивление, а то и страх мистический у помещиков, за которыми по старой «ревизской сказке» (налоговой ведомости») числятся эти самые мертвые души живыми крепостными крестьянами. И будут числиться до той поры, пока не пройдет новая ревизия. А ревизии еще ждать и ждать...

Суть аферы разъясняется в последней, одиннадцатой главе первого тома:

«Эх я Аким-простота, – сказал он сам в себе, – ищу рукавиц, а обе за поясом! Да купи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч капитала! А теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. <...> Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом, как следует

по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян: пожалуй, я и тут не прочь, почему же нет? я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова слободка или по имени, данному при крещении: сельцо Павловское»²⁷.

Потерпел он в итоге конфуз изрядный. История с покупкой «мертвых душ» просочилась, собрание благородное губернского города зажужжало, словно растревоженный улей, и в жужжании этом родились нелепейшие выдумки. Сначала почтмейстер здешний высказал подозрение, что, будто, Чичиков – разбойный атаман, капитан Копейкин. Копейкин, будучи героем войны 1812 года, справедливо обиделся на российскую бюрократию и подался в грабители.

«Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почтмейстер хватил уже слишком далеко. Впрочем, они, с своей стороны, тоже не ударили лицом в грязь и, наведенные остроумной догадкой почтмейстера, забрели едва ли не далее. Из числа многих в своем роде сметливых предположений было наконец одно – странно даже и сказать: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон...

<...>

...Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицеймейстер, который служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать чтобы слишком толст, однако ж и не так чтобы тонок»²⁸.

Ну и? Что здесь от трагического полковника, фактического вождя несостоявшейся революции, окончившего дни на виселице? Где афера с мертвыми душами, а где – каре на Сенатской и Черниговский полк? Ясное дело, ничего общего.

²⁷ Н. В. Гоголь. Мертвые души / Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т., – С.

²⁸ Там же. – С.

Вот он, второй «господин П.» – Павел Иванович Пестель. «Русский Брут», как назвал его А. С. Пушкин. Умнейший человек. Брут... Хотя вот, к примеру, некоторые соратники по заговору сравнивали его не столько с Брутом, сколько с Наполеоном Бонапартом. Например, К. Ф. Рылеев.

«Пестель неосторожно позволил себе похвалить Наполеона, назвав его «истинно великим человеком, и заявил, что если уж иметь над собою деспота, то иметь Наполеона. Конечно, политический опыт Наполеона Пестель учитывал, как учитывали этот опыт и многие другие деятели тайных обществ... Однако Рылеев... увидел в этом намек на собственную несостоятельность. Обидевшись, он сразу же заподозрил собеседника в личной корысти. Пестелю пришлось оправдываться, объясняя, что сам он становиться Наполеоном не собирается и рассуждает чисто «теоретически». «Если кто и воспользовался нашим переворотом, то ему должно быть вторым Наполеоном, в таком случае мы не останемся в проигрыше!» – так, по показанию Рылеева, Пестель пояснял свои слова.

Рылеев не поверил пояснениям Пестеля и на следствии показывал, что сразу «понял, куда все это клонится». Видимо, поэт был первым, кто уподобил Пестеля Наполеону, узурпатору, «похитившему» власть после победы революции во Франции. Слово было произнесено. О беседе с Пестелем Рылеев рассказал членам северной Думы. И в результате все «члены Думы стали подозревать Пестеля в честолюбивых замыслах».

Не желавшие терять своей власти и значения в тайном обществе северные лидеры вслед за Рылеевым заговорили о Пестеле как о честолюбце, мечтавшем воспользоваться плодами произведенной в столице революции»²⁹.

Надо же... И этого принимали за Наполеона. Герой войны 1812 года... Разбойником тоже считали, словно героя той же войны капитана Копейкина, только представители противоположного лагеря. Николай I в мемуарах написал: «Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелости в запирательстве; я полагаю, что редко найдется подобный изверг».

²⁹ Оксана Киянская. Пестель. М.: Молодая гвардия, ЖЗЛ., 2005. – С. 119.

Разбойник, одно слово. Пугачев Емелька. Или, все-таки, капитан Копейкин?

Ладно! Совпадение.

Словом, командир Вятского пехотного полка, душа заговора, кипучий и энергичный. Был арестован накануне восстания. Далее следствие...

«Он без тени сомнения называл все известные ему тайные организации – от возглавлявшегося им Южного общества до мифического общества Свободных Садовников...»³⁰

Ну что ты будешь делать! Мифического, то есть не существующего в природе! К такому выводу пришла следственная комиссия. Выходит, «мертвые души», вот незадача...

Ладно, пусть и это будет совпадение. Бонапартизм, несуществующее тайное общество... Совпадение. Именно так решил я, именно так я думал – пока не познакомился с весьма деликатным вопросом. Уже позже, много позже. Когда на тему эту деликатную можно было писать.

Откуда дровишки? В смысле, рубли? Тысячи рублей, на которые делалась будущая революция? Что, тоже будем искать какого-нибудь Гельфанда-Парвуса³¹ и германский генштаб? Ну, правда, откуда будущие декабристы брали деньги на восстание? При всем энтузиазме участников, заговор подобного масштаба требовал немалых расходов, меж тем как среди активных членов Северного и Южного обществ (среди Объединенных славян – тем более) миллионеров не было. Большинство декабристов происходили из обедневших, хотя и знаменитых семей, чьи имения давно были заложены в государственную казну. Скажу даже, что среди версий о причинах мятежа есть и такая: несостоятельные должники хотели радикальным образом разобратся с кредитором, каковым выступало государство. Конспирология бессмертна.

Так вот, о финансовых махинациях вождя Южного общества историкам известно. Другое дело, что в советские времена об

³⁰ Там же. – С. 302.

³¹ А. Гельфанд (Парвус) (1867 – 1924) – революционер и бизнесмен, связывавший германский генштаб с руководством партии большевиков в годы Первой мировой войны.

этом просто не говорилось. Бескорыстные романтики, рыцари демократии – какие финансы?! Но ведь бескорыстные – это те, которые не *берут* денег. А *давать* «презренный металл» приходится и бескорыстным – например, за пропаганду, за прокламации. За водку солдатам. Оплачивать переезды «по делам Общества». И так далее.

«Бескорыстный» и «честный» – не синонимы. Пестель, будучи командиром Вятского пехотного полка, нашел несколько способов использовать полковую казну... нет, разумеется, не в целях личного обогащения, но – на нужды Делу.

«Финансовая деятельность Пестеля в полку была практически бесконтрольной. Созданный в 1811 году специальный орган – Государственный контроль – был не в состоянии проверить отчетность каждой воинской части. Командир же 18-й пехотной дивизии, имевший право финансовой ревизии в полках, по ряду причин ... не был заинтересован в разоблачении полковника...

<...>

...Главными для Пестеля оказались операции внешние: они способны были принести полковому командиру наибольший доход. Операции эти были однотипными: используя свои связи, не останавливаясь перед дачей взяток, Пестель ухитрялся по два раза получать от казны средства на одни и те же расходы.

Первый известный случай такого рода относится к маю 1823 года. Тогда командиру вятцев было выдано из Киевской казенной палаты 4915 рублей – за купленные им материалы для сооружения экзерцицгауза, склада и конюшен для полковых лошадей. А несколько месяцев спустя —

6 сентября 1824 года – на те же нужды Пестель снова получил внушительную сумму: 3218 рублей 50 копеек. <...> Тысячу рублей ему пришлось отдать секретарю киевского губернатора Жандру в качестве взятки...

<...>

После окончания войны 1812 года пехотные армейские корпуса были прикреплены к определенным ... комиссариатским комиссиям, и только из этих комиссий обязаны были получать амуницию и деньги. Отношения армейских соединений с этими комиссиями регулировались высочайшими указами: последний перед назначением Пестеля на должность командира полка

такой указ датирован декабрем 1817 года. Согласно ему, входивший тогда в состав 22-й пехотной дивизии Вятский полк должен был получать средства из расположенной в украинском городе Балта Балтской комиссариатской комиссии.

... Два года спустя произошло крупное переформирование ... войсковых частей, и Вятский полк оказался уже в составе 18-й пехотной дивизии. Закон же, как это нередко случалось в России, изменить забыли: хозяйственное довольствование полка стало производиться как из Балтской, так и из Московской комиссариатской комиссии...

<...>

Только благодаря этим трем однотипным операциям – 1823 и 1825 годов – Пестель получил «чистыми» 14 218 рублей 50 копеек.

<...>

По количеству хищений Вятский полк в конце 1810-х годов занимал одно из первых мест...

<...>

Действия Пестеля были подобны действиям нескольких его предшественников – с одной, правда, оговоркой. Те, кто командовал полком до него, предпочитали делиться вырученными деньгами с ротными командирами, он же решительно замкнул на себе всю финансовую систему полка». ³²

Много совпадений. Финансовые махинации, «мертвые души», бонапартизм – все это, кажется, роднит двух персонажей – истории и литературы, двух «господ П.». Кто же чей двойник? Где тут копия, где оригинал?

Но нет, сейчас же ведь спросят меня: Чичиков – Пестель? Как так? Почему? Где сказано?

Никак.

Нигде.

Не слышал я, чтобы Н. В. Гоголь в какой-то рукописи или даже просто в частном разговоре случайно или неслучайно упомянул о такой связи. Да и с чего бы? Он ведь, скорее всего, и не знал вовсе о том, что говорил Пестель на допросах, какие

³² Оксана Киянская. Пестель. М.: Молодая гвардия, ЖЗЛ., 2005. – С. 189 – 191.

финансовые махинации проводились в Вятском пехотном полку и в каком-то бонапартизме подозревали члены тайных обществ полного тезку его героя. То есть, какие-то сплетни и слухи в обществе ходить могли, господа из следственной комиссии молчаливками не были. Но тут можно лишь догадываться, то ли было что, то ли не было. То ли ходили сплетни, то ли нет. Могли – не значит, что были. И выбрал Гоголь Чичикову своему имя и отчество, скорее всего, случайно, как говорится, наобум Лазаря. И не виноват он в том, что это самое случайное имя-отчество потащило за собой такую странную цепь ассоциаций.

Нет, не думаю. Это, скорее, у меня разыгралось воображение когда-то, в связи с телефильмом М. Швейцера, в связи с включенным так удачно телевизором. Гоголь же ничего такого не думал.

Или думал?

Когда-то, в статье «Мертвые души полковника Пестеля», я увлекся настолько, что даже и в помещиках, к каковым Чичиков ездил по «мертвые души», усмотрел реальных знакомцев Пестеля, которых то ли он, то ли товарищи его по заговору планировали во Временное революционное правление в России. Ну, право же, как не усмотреть в фантазере Манилове карикатуру на реформатора М. М. Сперанского?.. Насчет других – молчу, но и там кое-кого можно было бы записать в прототипы. Я и записал – например, Ноздрева посчитал злым шаржем на генерала А. П. Ермолова... За что, кстати, немедленно получил ярлык злобного русофоба. Хотя шарж не мне принадлежал.

Но – нет, конечно же, это не Гоголь, это не антисоветская фига в советском кармане, это странные ассоциации, которые, помимо желания писателя, возникают иной раз у читателя. Как известно, писатель пописывает, но ведь и читатель почитывает! И писатель, вроде бы, и не виноват в том, что взбредает в голову читателю.

Или же виноват?

Как-то вот совсем интересно становится, когда узнаешь, что, по сведениям из третьих рук, в последнем томе «Мертвых душ», не существующем даже вчерне, Гоголь, якобы, намеревался отправить героя своего на каторгу. А уж там случилось

бы так, что Павел Иванович П..., то есть, Чичиков, что Павел Иванович Чичиков нравственно преображается и становится полезным членом общества. И ведь не исключено, ведь и во втором томе Павла Ивановича начинает одолевать некоторая раздвоенность нравственного порядка. Так что...

Впрочем, русские писатели очень любили отправлять своих героев на каторгу – причем только и исключительно ради нравственного преображения. Вот и Родиона Раскольникова (еще одного, кстати, кандидата в Бонапарты) Федор Михайлович Достоевский на каторгу отправил. И ожидал, что «тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью»³³. Он еще и Алешу Карамазова собирался отправить либо туда же, либо на эшафот. Ну, склонность такую Федора Михайловича можно объяснить и личным опытом – сам-то он на каторге побывал, кстати, не без участия одного из наших героев... Но вот Л. Н. Толстой Катюшу Маслову отправил на каторгу, причем с той же целью, с какой Достоевский отправлял своих персонажей. А уж Толстого, слава богу, каторга миновала, не дожидая графа, не дожидая встречи с тем, что отражал. Похоже, каторга как место, где великие грешники в состоянии очиститься, где «мертвым душам» светит возрождение, в русской литературе стала выполнять ту же роль, что и Чистилище у католиков.

Так что я, конечно же, не настаиваю на том, что прочтение мое «Мертвых душ» или «Ревизора», равно как и «Повестей Белкина», равно как и «Тараса Бульбы», «Воскресения» или «Преступления и наказания», является единственно возможным. Не исключено, что все читают «Дон-Кихота», написанного Мигелем Сервантесом, а я, в силу уж не знаю, каких причин, может быть, от излишней любви к борхесовским играм, – уткнулся, напротив, в творение Пьера Менара того же названия. Хотя и всего-то обратил внимание на совпадение имен! Что же, рота шагает в ногу, только прапорщик не в ногу. Или на-

³³ Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание.

оборот? Запутался я. Будем считать, что прапорщик не в ногу, спотыкаясь.

Ну и ладно.

Значит, так тому и быть.

Dixi.

«ВЕДЬМА НА ИОРДАНЕ»

такого вы еще не читали

Израильский прозаик Яков Шехтер уверенно вошел в еврейскую литературу в конце XX века, заняв место рядом с Ш.-Й. Агноном и Исааком Башевисом Зингером.

На страницах книг Шехтера герои талмудических дискуссий встречаются с «инкарни-рованными» персонажами Набокова, Бунина, Умберто Эко и других.

Подчас это создает удивительные столкновения, параллели и конфликты, ранее не ведомые еврейской литературе.

В рассказах и повестях сборника «Ведьма на Иордане», выпущенного издательством «Книжники», обыденное и житейское нередко пронизано гротеском и соседствует с мистикой каббалы.

Поистине новаторским является стремление писателя решить теологическую задачу - увидеть Высшее присутствие в столкновении и переплетении человеческих судеб.

Книгу можно заказать на сайте издательства, в разделе «Проза еврейской жизни»

Марк Найдорф

ИЗОБРЕТЕНИЕ ИНТОНАЦИИ

Об исполнении. О том, что смысл/значение текста образуется с учетом его содержания (что было сказано) и его интонирования (как было сказано). И это касается не только музыкального исполнения

Вы могли бы на слух различить молитву верующего человека и чтение этой молитвы человеком не верующим – для какой-нибудь практической цели, например, для демонстрации текста или более тщательного его изучения? Многие могут. Но, что они различают? Текст-то в обоих случаях один! А розыгрыши? Вам говорят новость, которая вовсе не новость, а выдумка. Некоторые люди умеют «слышать по голосу», что их ради смеха дурачат. Что они слышат, помимо слов?

Тут нужна интуиция, обращенная не к словам, а к самому звучанию голоса. К интонации произнесения, которая, как видим, говорит об отношениях, в которые текст помещен между людьми. Смысл текста, таким образом, образуется с учетом его содержания (что сказано) и его интонирования (как сказано). И действительно, самый содержательный текст, произнесенный безразлично, может показаться слушателю не стоящим внимания, а банальность, высказанная «со значением» (например, по телевизору), может привлечь внимание как будто она новость.

«Интонация» – в самом широком смысле – постоянный элемент человеческого (не машинного!) общения. Можно сказать, что интонация – это смысловая характеристика поступка. Улыбка может быть интонационно искренней или деланной, приветливой или ироничной, победительной или подобострастной и т. д. насколько хватит разнообразия человеческих

отношений. Сидящий человек может подняться к вам торжественно, а может угрожающе, и вы это почувствуете. Но и картина, скажем, написанный художником «букет в вазе», интонационно может выглядеть мечтательным, будоражащим, умиротворенным и т.д.

Текст

Чаще всего интонация рождается вместе с текстом – под влиянием обстоятельств, вызвавших к жизни сам текст, и они тогда сливаются. Люди выражаются одновременно и словами, и интонацией: ругаются или восторгаются, или спрашивают – с соответствующей интонацией. Поэтому, отдельно интонацию мы обычно не осознаём.

Но бывают случаи, когда текст записан заранее. И тогда обстоятельства, его породившие, легко могут не совпадать с обстоятельствами, при которых текст, законсервированный в письменных знаках, приобретает свою новую живую сиюминутность. Впрочем, есть много текстов, которым «всё равно» как их будут озвучивать. Например, какая-нибудь инструкция или фрагмент из учебника химии сохранят свой смысл при любом интонировании. Но речь президента на юбилейном митинге должна прозвучать с надлежащими интонациями, хотя текст её написан заранее и, зачастую, не самим оратором, а его помощниками.

Назовём такое озвучивание заранее готового текста исполнением. А если текст создаётся в момент его озвучивания, то – импровизацией. Нет никакого сомнения, что президент мог бы сымпровизировать свою речь. Но было решено, что предварительная разработка текста сделает речь более содержательной и эффективной.

С давних времен тексты, церемониально произносимые от имени институций (властей или культов), импровизировали, со временем они стабилизировались в устной традиции, а позже – и средствами письменности. Значит, в звуковом публичном представлении их уже исполняли. Для нашего времени буквенный способ фиксации предпочтительней канонического, так как

позволяет при необходимости каждый текст, например, каждую речь президента, делать не похожим на другие. В традиционных обществах от владыки требовалась, наоборот, максимальная повторность. Полнотекстовое запоминание, поэтому, было необходимым навыком в профессии жрецов и высших администраторов в обществах Древности.

«Вещь» искусства

Вещи, которые мы относим к предметам искусства, иногда говорят сами за себя (например, здания, скульптуры, картины), но в некоторых случаях необходимо их живое исполнение. В театре чаще всего исполняют пьесу, которая предварительно существует в буквенной записи. Так же и в той музыке, которую мы называем классической (композиторская музыка Нового времени, XVII-XX вв.). Таким образом, и классический театр, и классическая музыка – это исполнительские искусства. За пределами собственно классики в мире музыки существуют различные традиционные и импровизационные практики (одна из них – джазовое музицирование). То же и в театре. Вспомним, например, ренессансный вид театральных импровизаций – комедия дель арте. Бывают и разные пограничные формы, например, репризы ковёрного в цирке.

Для нас важно, что в музыкальном искусстве последних к нам двух столетий наиболее уважаемыми были те формы музицирования, которые основывались на исполнении в условиях концерта полностью завершённого и письменно зафиксированного во всех деталях сочинения, «вещи» искусства. Такая практика позволяла автору создавать всё более сложный, содержательный и оригинальный текст ранга симфонии, например. Но живое интонирование такой «вещи»-проекта выросло в значительную проблему. Дело в том, что художественное произведение обсуждаемой эпохи не могло быть озвучено в одной единственной интонации. Сложное сопоставление и противопоставление в нем мотивов требует соответственно разнообразного интонирования каждого из множества элементов произведения.

Для сравнения можно напомнить об образной системе классического романа, общее настроение которого синтезируется из многогранного опыта переживания текста читателем, причем, один и тот же читатель в разное время своей жизни придаст разное значение разным элементам сочинения. Общеизвестно, что молодые читатели в большинстве своем пропускают описания, но зорко следят за любовной линией, например. Повзрослев, они с большим интересом вчитываются в систему мотивов и чувств персонажей, интересуются технологией социальных связей и т.д. На соотносительную значимость элементов текста для читателя могут оказать влияние также важные события окружающего мира.

В чем-то подобный интонационный выбор делает и исполнитель классической музыки. В революционную эпоху первой половины XX века соната Аппassionата Бетховена многим казалась бесспорным произведением революционного содержания, как и «революционный» этюд Шопена. Но со сменой доминирующих настроений интонирование этих произведений у большинства исполнителей перестало звучать в поэтике восстания, приобретя более личный, хотя и тот же страстный смысл.

А вот пример разнообразных интонационных прочтений последней части Седьмой симфонии Бетховена (заимствую с сайта Belcanto.ru): «Финал симфонии представляет собой «какую-то вакханалию звуков, целый ряд картин, исполненных беззаветного веселья...» (Чайковский). <...> Вагнер называл финал дионисийским празднеством, апофеозом танца, Роллан – бурной кермесой, народным праздничным гуляньем во Фландрии. В музыке слышатся отголоски плясовых песен Французской революции, в которые вкрапливается оборот украинского гопака; побочная написана в духе венгерского чардаша. Таким празднеством всего человечества заканчивается симфония (Л. Михеева)». От дирижера-исполнителя зависит, какая из этих или изобретённая другая интонация возобладает, задаст смысловые рамки при восприятии этой музыки в концертном зале.

Вывод

Стабилизация текстов средствами коллективной памяти (канон) и средствами алфавитной записи (буквами, нотными знаками) ставит разные задачи перед исполнителями. Традиция, социальный механизм передачи канона в поколениях, удерживает не только собственно слова, но и соответствующие им ритуальные жесты, мизансцены и интонации произнесения. Буквенная или нотная запись абстрагирует текст от условий его живой передачи, из которых важнейшее – это убедительное интонирование. Поэтому главной творческой задачей исполнителя оказывается изобретение интонации. Можно блестяще сыграть все ноты, но не угадать с исполнительской интонацией, и успеха не будет.

Без интонации живой коммуникации не бывает. Найти нужную интонацию артисту помогает опыт учебы, внимание к достижениям коллег. Но главное – интуиция, чувство своего времени. В ней – вся суть исполнительского творчества.

Вышла книга Сони Тучинской
"Вечный пропуск".

Чтобы ее приобрести, нужно просто
пойти на Amazon.com

и ввести там в поисковое окно: Sonia Tuchinsky.

Или - прямо к книге по этому линку:

<http://www.amazon.com/dp/1495373673/>

В книге 340 страниц разнообразнейших по стилю,
жанру и географии текстов на кириллице.

От прозы и публицистики до переводов.

Цена без стоимости пересылки \$ 13,49.

Яков Нелькин

ПРИЗРАКИ

Разум Вселенной – тончайший налет космического интеллекта на актах творения до-живой и живой Природы.

* * *

Призрак бродит по Европе – уже не научного коммунизма, а фанатичного диктата ислама.

И либо вы культивируете обычаи и установления (что часто бывает выгодным), отвергнутые ходом развития человечества – либо вы несовместимы с современным исламом.

Не все народы – братья, не все равнополезны в ходе истории.

Критерием полезности народа и человека принято считать его интеллект, расширяющий миропознание и отвергающий всякое свое заблуждение.

"Призраки" – это широкоохватные социальные предложения, при опробовании в реальных условиях способные раскрыться в катастрофические заблуждения.

Ислам подает свою новизну использованием богоявленных схем, куда он вводит полезное для себя на сегодня. Ни одна из двух частей этой формулы не попутна движению мысли Запада, – но Запад все равно выражает свое запредельное уважение диким нравам Востока.

"Мир рехнулся", – обреченно отмечает гражданин здравых мыслей, снимая нанос безумия с закипающего горшка последних известий, – надо же что-то делать, покуда не поздно.

* * *

Три программных произведения прошлых эпох могли бы подготовить участника "мирового прогресса" к неожиданным свойствам призраков. И, может быть, подсказать что-то дельное, покуда не поздно.

Итак, мы о трех попытках ускорения развития человечества.

* * *

Док.1, "Коммунистический Манифест", 1848, К. Маркс и Ф. Энгельс

В 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс издали учение о борьбе социальных классов вообще, капиталистов и рабочих в их время, и об ожидаемой перестройке буржуазного общества в мировое коммунистическое.

Через 70 лет влияния марксизма на мир программа Манифеста была реализована в России на практике (1917 год). Российская революция в единую ночь передала власть – народу и, как считалось, заменила капитализм – народным социализмом. На деле передача власти крестьянам и рабочим вызвала долгий период гражданской войны и хозяйственного застоя, непосильно жестоких действий и несчетных людских потерь, ценою которых народ отстоял равновесие в своем победившем социалистическом обществе, свою власть в руках – и голодную, разрушенную страну.

В следующие годы тяжелейшей восстановительной мирной работы, решая труднейшие задачи истории, рабочий народ упустил свою власть. В стране победившего всеобщего равенства народ обнаружил себя бесправным и разделенным по трем социальным уровням.

Уровень низший образовали "враги народа", заключенные под народную стражу в вечных буднях трудовых лагерей при кратком сне на барачной койке, минимуме питания и одежды, нуле свободы – и без надежды на лучшие дни.

Уровень средний – образовал основной народ, разрываемый жаждой нормального, не нищего существования и страхом внезапно опускания в уровень низший – к "врагам народа". В вечной боязни такого сдвига уровень средний и пробивался в

верха своей подчиненной жизни, добровольно неся охрану заключенного низшего уровня, с ним – заодно – и самого себя. Он честно спец-содержал Верхний уровень, – и мечтал как-нибудь разделить с ним его привилегии.

Уровень высший – это самоизбранный аппарат управления страной и народом, покорный воле несменяемого хозяина. Члены аппарата несут рабскую ответственность за точность понимания и выполнения распоряжений хозяина, включая и явно антинародные, – и за полное подчинение среднего звена управляющей воле Кремля, а точнее – Партии, а точнее – ее текущего самодержца. Члены его аппарата живут под вечной угрозой быть сведенными в средний уровень, а то – совершенно реально – и в низший, а потому они скрупулезно ответственны, малоинициативны, скованы и неоперативны.

Практическая реализация *Коммунистического Манифеста* ввела великий народ во внутреннюю войну, затем в тяжелейшую из внешних войн истории, отняла миллионы жизней и загнала живых в нужду и утрату гражданских прав.

* * *

Док. 2, Протоколы сионских мудрецов, год 1903

Брошюра страниц в 25, где автор лаконично, умно, даже мудро компилирует теорию "жидомасонского" овладения властью. Собранный текст так глубок и провидчески современен, что и через 120 лет читается с изумлением перед разумом и низостью не то "жидомасонов", не то автора компиляции.

Впервые опубликованные на русском языке в 1903 году, Протоколы лет через 15 появились и на других языках. Приписка гласит, что их подлинность "не удостоверена".

Брошюра сильно напоминает инструкцию для офицерского состава полит-полиции, обязанного к образованности в общении с революционерами, пусть хоть и заключенными. Отказываясь, однако, от беседы с ними на равных, инструкция стилизована под памфлет о 24 тайных собраниях, якобы проведенных в Базеле в некоем году. На них заговорщики выслушивают антисемитский проект финансово-политического (без вооруженного восстания) овладения миром.

Сильная сторона "Протоколов" – их глубокая философская база, передающая вечные мысли – от царя Петра Великого и "Коммунистического Манифеста", до политических писателей и статей времени своего написания. Правда, ни мест, ни имен, ни подробностей базельских встреч нигде не приведено, зато вот, пожалуйста, – коллективная психологическая отвратительность участников заседаний.

Написанные рукою высокообразованного составителя, "Протоколы" поднимают читателя над полицейской литературой, а потому могут быть восприняты и подлинным курсом "жидомасонства", выкраденым и переданным в руки издателя, как и гласит их официальная версия.

До "Протоколов" "идейная база" преследований народа евреев опиралась лишь на мистику "кровавых наветов". Хотел того автор или "шутил", но "Протоколы" стали основой дискредитации, преследования и смерти тысяч евреев во многих преступных актах – и генератором ненависти Гитлера к евреям в "Его борьбе".

Нас касаются, естественно, не дискуссии о подлоге наветов, "кровавых" или "жидомасонских", – а повседневная актуальная подлость приписывания евреям того или иного неподтвержденного "чудовищного злодейства" с вытекающим из него "правом" обвинения, погрома и уничтожения части народа.

Практическая реализация: *Низость наветов по наши дни чернит историческое чутье известных политиков мира – (ООН, ЮНЕСКО) и их попытки "не замечать", что 20 веков погромов не дали миру ни мира, ни воды и ни хлеба. Что в 1948 году в пустыне страна Израиля – свою пятую на свою пядь земли. Ее труд и знание обращены против враждебной народам лжи – к подъему систем Востока и международной интеллигентности человечества – и что они-то как раз и приносят и мир, и воду, и хлеб народам.*

* * *

Док.3, "Моя борьба", 1925-27, А. Гитлер

Главы книги "Моя борьба" написаны в заключении одиночной камеры на 5 лет (вместо 15) – за попытку государствен-

ного переворота в послевоенной (МВ1) Германии (1924). Заключение видит себя политиком – и всеми средствами рвется к личной свободной и властной жизни.

Одинокое заключение хранит его злобную сосредоточенность на силе миллионов избирательных голосов: какими бы ни были нужды людей, их голоса должны послужить его возвышению!

Страна Германия тоже ищет освобождения от наложенных контрибуций ее военного поражения в МВ1. Направления их поиска сроднены беспринципностью.

Через 9 месяцев его освобождают – без объяснений и без формальностей.

И вот он – при всяком случае перед публикой. Дешевый нацизм и льстивая лож развлекают посетителей мюнхенских городских пивных, шутовские наглость и агрессивность раздувают его риторику – и вовлекают бездумно-крикливую толпу в его обезчеловечивающее шоукарство. И вот он – с никем нежданною наглостью игнорируя выборные учреждения власти, охватывает эту впечатлительную некомпетентную массу своим горячего хмеля бредом. Он превозносит ее врожденное величие и вознесенность древне-арийской расы над всеми народами на Земле. Он дарит им достоинство Великой Германии, ее мировое национальное превосходство – а с ними и себя, вождя, личность, творца и объединителя морали и сил Высшей расы. Безосновательные лозунги воспаляют воображение нации и увлекают ее в край лжи, где всю ответственность за происходящее он заранее с них снимает и переносит на одного себя, на Великого фюрера, на идола создаваемой Германской Империи.

Шукарство? Но гениально-масштабное, ошеломляюще-нагло-дурачащее.

Освобожденная совесть страны требует его, его! – государственного руководства.

Он учит, что смешение рас снижает их силу и чистоту, что Высшей Германской расе положено жизненное пространство, что восточные земли, освобожденные от своего населения, должны быть подчинены германцам.

Фантазия и безответственность шулера перемалывают мечты его очарованного народа – в сотни тысячные парады под знаменами его великой агрессии.

Очередной гениальный трюк включает обратную логику веры: массы – миллионы людей – ошибаться не могут! – И следуют массы его путем.

2 августа 1934 г. скончался президент Германии Пауль фон Гинденбург – наутро, времени не теряя, Гитлер провозгласил себя фюрером Третьего рейха. Топча германские международные обязательства, он смешивает интересы и капиталы врагов Германии и союзников – и раскручивает современную агрессивную армию.

Он не родился антисемитом, но заметил в минувшем надежную, безотказно горящую подлость – на свой черный день. Он не родился и лидером нации, – но прогоревшее пустобрехство заставило его запалить обвинение против евреев Германии (1935). Он выгнал их, "не-арийцев" – сотнями тысяч с рабочих их мест, из домов, квартир, школ, мастерских, магазинов, ремонтных точек, из кабинетов врачей и юристов – и все отчуждимое – отдал "арийцам" как легкий способ поджога злобы к тем, чье он отнял и передал. Его экономика приобрела основу.

6-15 июля 1938 г. тридцать два государства съезжаются в Эвиан (Франция) – вместе продумать проблему германских евреев-беженцев: их – как врага №1 Германии – Гитлер из нее изгоняет. Не высказав ни протеста, ни слова дельного, – участники Конференции решение фюрера: "евреи пользуются в Германии единственным правом – правом на смерть" поняли, поддержали, сверили с политикой своих стран – и приняли к исполнению.

Затем хорошо организованный погром Хрустальной ночи (1938) открыл шибер выбросу всего не-арийского из страны. На этой вспышке он легко сжег все германские партии, кроме Национал-социалистической рабочей, которую и возглавил.

Еще год его успеха – и наглость германца разверзлась Второй мировой войной, унесшей из мира сверх ста миллионов солдат и мирных людей двух сторон. Года до 43 германский обыватель еще верил Гитлеру, но после Курска, в 1944, понял,

что раскрученную экономику уничтожения армий необходимо отнять у фюрера. Прозревший вермахт пытался его устранить – и многократно не смог, не сумел. Семьи прокляли Гитлера за гибель своих родных, городов, домов, быта, уклада, сада, – за весь итог его и своей лживой жизни. Было бы обывателю оглянуться пораньше – да и проклясть самого себя за собственный выбор пути в обман свободного человечества, в уничтожение и порабощение его своей "Высшей расе"... Было б... Но соблазнился германец чужим добром и чужим трудом ...

Практическая реализация: *В годы 1938 – 1945 германская соблазненность словом "Моей борьбы" и хамски-блестящей практикой реализации власти Гитлера выманила германского обывателя из человечности – на стрелочный перевод пути смерти, и вдвинула в будни взаимоуничтожения мирных – и атакованных фашизмом народов.*

* * *

Миллионы выживших честных людей сегодня пытаются осознать происшедшую катастрофу – но получают не слово науки, не Разум Вселенной – не тоненький слой космической интеллигентности мира, а грубые струи торговой лжи, где кнопка "delete" отрезала шестизначность загубленных жизней – что в исламских завоеваниях, а что и в фашистском победном марше в гитлерову личную империю рабства.

История без цифр и без совести – не оружие, не наука, а лишь карьера извратителя прошлого. Чуждая жизни свободного человека, она незаменима при заметании роли призраков – для повторения их пути.

* * *

И вообще: для отдаления человечества – от его вселенского предназначения – раскрытия космической интеллигентности мира.

Эдуард Бормашенко

ЕВРЕЙСКО-РУССКИЙ ВОЗДУХ

Особенный, еврейско-русский воздух.

Блажен, кто им когда-либо дышал.

Д. Кнут

Мне еще довелось подышать еврейско-русским воздухом, сейчас он, кажется, окончательно выветрился и пришло время подумать, из чего же он состоял. Ибо думать о том, чем дышишь, почти невозможно, а сейчас самое время; того самого воздуха нет уже и в России, а в Израиле и подавно, но ты его еще помнишь. Разговор о русско-еврейском воздухе как-то непреложно, нудно и тоскливо скатывается в визг, и сводится либо к «жиды уничтожили Россию» (возможны оттенки, любители под микроскопом отыскивают и находят разницу между Солженицыным и Прохановым), либо к «мы их учили, лечили, атомную бомбу им соорудили, а они нас...» В общем, плохо к нам относились.

Рефлексия на национальную тему сверх-тяжкое дело, но возможное. Национальный пласт сознания нависает вплотную над его темной, не проясненной и отчасти не проясняемой мифологической подкладкой. Кащеево царство национального вполне себя проявило в XX веке, ловко пристегнутое к политике хитренькими интриганами и полоумными визионерами, вроде Гитлера и Муссолини. В российско-еврейских отношениях все усложняется тем, что национальное не вполне отделимо от религиозного. Иудаизм и православие – национальные религии еврейского и русского народов, и в этом радикально отличаются от универсальных католицизма, ислама, буддизма и марксизма. Сращение национального и религиозного делает спокойное мышление на означенную тему почти невозможным, ибо упира-

ется в главнейший для живущего и мыслящего вопрос: *кто ты?* Философ, являвший высочайший уровень рефлексии, Александр Моисеевич Пятигорский, полагал этот вопрос не философским и ведущим к необратимой регрессии мышления: либо самоидентифицируйся, либо мысли. Но подобная позиция представляет собою лишь один из возможных философских выборов, не более того. И вся философия Пятигорского уже во многом задана отказом ставить этот вопрос и отвечать на него. Глубоко и спокойно (ведомый «non indignari, non admirari, sed intelligere») рассуждал на тему русское-еврейских отношений Александр Владимирович Воронель, добавил и свои две копейки.

А дело предстоит действительно трудное: елка в Военной Академии, где служил отец, драки на тему «жид пархатый», Девятое Мая, ордена деда, Пушкин, Толстой, Высоцкий, «Андрей Рублев» Тарковского, Трифонов, Алданов, красный диплом университета, «извините, нам физики не нужны», августовский путч, синий троллейбус, книги серии «Библиотечка Алия», «Пятеро» Жаботинского, хабадский раввин, плохо говоривший порусски, Тора, руки, расхватывающие с блюда пасхальную фаршированную рыбу, ночной аэропорт Бен-Гурион, интифада, убийство семьи Фогелей, Гуш Катиф, рождение Ариэльского Университета, борьба за Ариэльский Университет, Ариэльский Университет, управляемый бандой ликудовских мафиози, все это сплелось в застарелый, засохший узел, все комом, все слитно. И ладно бы все это были лишь факты моей жизни, куда как хуже и значительней то, что все они факты моего сознания. Но другого инструмента для осмысления, другого сознания мне не дано. Придется довольствоваться тем, что есть.

* * *

Тот самый, Кнутовский еврейско-русский воздух начал складываться, когда приказала долго жить российская мифология. Вера, царь и отечество скрепляли русскую жизнь веками. Примерно к 1916 году как-то разом подкосились все три опоры русского самодержавия; лучше всего об этом рассказал Александр Исаевич Солженицын в «Красном Колесе». Полковник Воротынцева пытается отыскать те самые, единственные слова, которые необходимо сказать солдатам перед боем с немцами;

боем, из которого вернутся немногие. Чем же пронять солдатскую душу: честью, союзными обязательствами, богом, царем, отечеством? «Уж конечно не честь» – думает Воротынцев – «честь непонятная, барская. Уж конечно не «союзные обязательства». Их не выговоришь. А призвать на смертную жертву именем батюшки-царя? – Это они понимают, на это они откликнутся. Вообще за царя – непоименованного, безликого, вечного. Но этого царя, сегодняшнего, Воротынцев стыдился, и фальшиво было бы им заклинать.

Тогда – Богом? Имя Бога – еще бы тронуло их! Но самому Воротынцеву и кощунственно, и фальшиво невыносимо было произнести сейчас заклинанием Божье имя – как будто Вседержителю очень было важно отстоять немецкий город Найденбург от немцев же. Да и каждому из солдат доступно, что не избирательно Бог за нас против немцев, зачем же их дураками ожидать?

И оставалась Россия, Отечество. И это была для Воротынцева правда, он сам так понимал. Но понимал и то, что они это не очень понимали, недалеко за волость распространялось их отечество, а потому и его голос надломило бы неуверенностью, неправотой, смешным пафосом – и только бы хуже стало. Итак, Отечества он тоже выговорить не мог». Александр Воронель об этом пассаже скажет так: «Здесь больше высказано о причинах гибели российской империи, чем вместил бы любой научный трактат». Рухнула вековая российская мифология. Отчего? Мы этого не знаем. Кого не изумляла агония Римской империи? Какие только объяснения не выдвигались для объяснения ее краха? Но мне представляется, что истинной причиной саморазрушения Рима была смерть традиционной римской мифологии, языческие боги более не убеждали, не вдохновляли и не устрашили римлян. Смерть богов повлекла за собой смерть империи. Формула инока Филофея «Мы есть Третий Рим» оказалась пророческой, вслед за православием пал под натиском новых мифов и третий Рим.

* * *

И тут на российскую сцену выступили евреи. Еврейский народ необычайно одарен. Этого не отрицают и те, кто припи-

сывает евреям дьявольские свойства, не забывая добавить, что и таланты еврейские несомненно внушены врагом рода человеческого. Тупое самодовольное пересчитывание нобелевских премий вызывает у меня тошноту, ибо я к нобелиантам никакого отношения не имею, и повода для гордости за них не различаю. А то ведь придется и разделить ответственность и за Азефа с Ягодой.

И тем не менее, еврейский вклад в мировую культуру в XX веке переоценить невозможно. Но главный талант, гений еврейского народа я вижу не в перелопачивании точного и гуманитарного знаний. Евреи – несравненный народ-мифотворец. И первый, и третий Рим были подточены еврейскими мифами, а второй, Константинопольский, пытался еврейский миф воплотить на земле. В своей замечательной лекции «Мифология XX века» Александр Пятигорский обстоятельно и проникательно говорит о марксизме и фрейдизме, накрывшими почти без пробелов земной шар, при этом умалчивая о том, что оба гениальных отца-мифотворца были евреями. Вот где еврейский талант разыгрался не на шутку. Русская версия марксизма легко опрокинула миф России, уже вполне утраченный даже кадровым полковником Воротынцевым. В торжестве этого нового мифа громадное значение имело другое качество еврейского народа – фанатизм, столь точно выписанное Фадеевым в «Разгроме»; Левинсон – совершенно еврейский тип. Не оказавшись в Израиле, я бы этого никогда не понял. Но здесь еврейский начетнический фанатизм подан столь явно, столь налицо, что ошибиться стало невозможно.

Фанатизм ответственен за львиную долю сверхчеловеческих несчастий, имевших место в еврейской истории, но без фанатизма не было бы и самой еврейской истории. Евреи обладают поразительной способностью срастаться с мифом, отождествляться с истиной мифа до последней капли, ведь истину мифа нельзя узнать, ее можно только прожить. Черток и Зельдович, Эйдельман и Лотман, Райкин и Раневская без остатка растворялись в «деле», превращая его в богослужение. Не обходилось и без смешного: презиравший самоидентификацию буддолог Пятигорский стал буддистом.

Марксистское и фрейдистское начетничество приводят в оторопь; Троцкий чуть было их не скрестил, этот гибрид, доведенный до государственной религии, возможно стал бы непобедим. Не спешите шельмовать фанатиков. Фанатизм не равнозначен гению, но совершенно ему необходим. Без фанатичного мучительства, издевательства над собственным оголодавшим телом не бывает Рамбер и Плисецких, без готовности провести жизнь над исчерканными клочками бумаги – Эйнштейнов и Ландау, без способности радостно убиваться над черно-белыми клавишами – Горовцев и Гилельсов. Еврейские фанатизм и способности к мифотворчеству в сочетании с безмерными русскими терпением, наплевательским отношением к своей и чужой жизни, готовностью страдать и породили тот сплав, которому было суждено сломать нацизм. Этот миф оказался сильнее гитлеровского. И слава Б-гу.

Из чего же состоял новый еврейско-русский миф? Его опорные точки: «отнять и поделить, все люди – братья, просветить народ наукой, мир – народам, землю крестьянам, заводы рабочим». Ну что же, вполне недурной набор, исполнить из него удалось лишь первый пункт. Люди оказались зверьем, с наслаждением истребляющим себе подобных, народ научили читать и писать, а думать научить позабыли, крестьян уморили голодом, рабочих загнали в бараки, народам предложили перманентную войну. Но разве миф социализма от этого пострадал? Мифы не фактами порождаются и не фактами могут быть разрушены. А чем же? Только другими мифами. Казалось, августовский путч навеки похоронил коммунистическую мифологию. Не торопитесь, ты ее в дверь, она в окно, теперь окно американское. Заступник американского пролетариата Берни Сандерс (и надо же, опять еврей) поднимет упавший в России факел.

Не совсем по теме, скажу, что все беды современной России обусловлены победой над фашизмом. Миф Победы оказался самым сильным, самым живым и жизнеобразующим в громадном осколке СССР. Ни в какой приличной немецкой компании не возможен такой разговор: «Да, конечно, Гитлер был негодяем, нацисты творили ужасные гадости, но мы жили, влюблялись, пили шнапс, пели песни...» А в российской не только

возможен, но почти неизбежен: «Сталин, конечно, злоупотребил доверием народным, но войну мы выиграли, и песни пели, и какие песни... Их, конечно, пели Бернес и Кристалинская, и написали их евреи, но какие песни...» «Ленин в Октябре», «Ленин в 18-м году», «Девять дней одного года», трилогия о Максиме, «Офицеры», песни: «Враги сожгли родную хату», «Русское поле», «Гренада» – великолепные примеры еврейского мифотворчества. Они-то и составляли еврейско-русский воздух, отнюдь не худший по качеству, как кажется очень многим. Не пытайтесь их переубедить, только рассоритесь на всю жизнь.

Все это уже было. Евреи в русской жизни сыграли роль афинянина Тиртея. Предание гласит, что во время Второй Мессенской войны (первая половина VII века до н. э.) дельфийский оракул повелел спартамцам попросить себе полководца у афинян. Издеваясь над заклятыми союзниками – спартамцами, афиняне отправили им облезлого, плешивого, хромого школьного учителя Тиртея. Тиртей сумел оказаться полезным, написав бряцающие железом, воинственные гимны, вдохновившие спартанцев и принесшие им победу. Всякий, знакомый с действительностью советской армии, знает, что фильм «Офицеры» не имеет к ней никакого отношения, зная-то мы знаем, но хлесткая фраза Бориса Васильева «есть такая профессия – защищать Родину» останется надолго. Керенский вовсе не бежал из Зимнего дворца, переодетый сестрой милосердия, но что делать с мифологемой картины Григория Шегеля?

На знаменитом фото «Знамя Победы над рейхстагом» запечатлены совсем не Берест, Егоров и Кантария, но мифологический пласт отретушированной фотографии чудом выжившего в 1918 году в еврейском погроме Халдея – великолепен: были добавлены розовые облака, подкрасили знамя, подчистили вторые часы одного из солдат; неровен час, заподозрят воина-освободителя в мародерстве. Совершенно неподражаем миф о 28 Панфиловцах, придуманный Зиновием Кривицким; а какова фраза «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва»? Въядливые историки выяснили, что на Волоколамском шоссе все было совсем не так, как талантливо сочинил Кривицкий, но историков вскорости позабудут, а подвиг

Панфиловцев пребудет вовеки; правда мифа всегда заслонит истину факта.

Алексей Федорович Лосев говорил, что миф и есть последняя, предельная реальность, доступная человеку, и был прав. Миф творит современную российскую жизнь с такой силой, что усомниться в его всемогуществе невозможно. Достаточно назвать нынешнее украинское руководство фашистами (человек мифа твердо верит в связь сущности вещи с ее именем), и все-народная, российская пятиминутка ненависти будет обеспечена. Евреям очень бы неплохо помнить о том, что ни реанимированному, российскому имперскому, ни тухлому, украинскому националистическому мифам евреи не нужны. Русские и украинцы прекрасно обходятся своими силами.

* * *

Впопыхах, чуть было не забыл третьего великого мифотворца двадцатого века, Эйнштейна. Теория относительности – интеллектуальное чудо, венец свободной научной мысли, а уверенность в том, что вся физика должна выматываться из геометрии пространства-времени – дистиллированный миф, но без этого мифа не было бы чуда теории относительности. Навивные люди думают, что наука может и должна победить миф, это – заблуждение. Миф может вытеснить только другой миф. Фанатическая уверенность Эйнштейна в единстве мироздания (так, как он его понимал) – совершенно религиозного толка. Витгенштейн говорил, что для того, чтобы дверь легко поворачивалась, петли должны оставаться неподвижными. Единство и простота уравнений математической физики и были для Эйнштейна теми петлями, вокруг которых вращается здание природы. Едва ли Эйнштейн знал, какой в точности смысл он вкладывал в смысл слов «единство» и «простота», они оставались в затененной, мифологической полосе его сознания, отнюдь не мешая мыслить.

* * *

Почему распался СССР? По той же причине, по которой распалась Российская Империя. Провонял марксистский миф, ловко, но ненадежно (напоминая Петровские реформы) пере-

саженный на российскую почву. Анекдоты о Брежневе больше расскажут о распаде СССР, нежели утонченный Гайдаровский экономический анализ-разнос (ах, какие были анекдоты!). Заметим очевидную деградацию, регрессию мифологии: как плоско, скучен, примитивен коммунистический миф, в сравнении с миром традиционных религий. Всем развитым религиям давным-давно известно, что препятствием к раю на Земле служит неисправимо кривая душа человека, а кто же выпрямит кривое? – спрашивал еще царь Соломон. А вот Марксу с Лениным это было невдомек. Они в самом деле были уверены в том, что, если отнять и поделить, все как-то само собой образуется. Оглушающе пошлая уверенность.

К восьмидесятым годам социалистическую мифологию начала теснить мифология советской интеллигенции, столь талантливо закрепленная братьями Стругацкими. Смысл и содержание жизни, оказывается, состоит в непрерывном познании мира (Михаил Ромм плавно спланировал от «Ленина в Октябре» к «Девяти дням одного года»). Стоит убрать коммунистических чинуш, и все само собой заколосится. Это и был беззлобный еврейско-русский воздух семидесятых-восьмидесятых. Я им вполне пропитался, и избавиться от его обаяния не смогу. Но осмыслить попытаюсь: легко видеть, что этот миф очень недалеко расположился от марксистского, и столь же убог и выхолощен: враг персонифицирован (бюрократы), и впереди – земной рай. Но именно этот миф погнал защитников Белого Дома под бронетехнику, и привел к власти вдохновенного, замечательного алкоголика-демократа Бориса Николаевича Ельцина. Коммунистов прогнали, но, как выяснилось, недалеко. А единственной структурированной силой оказалась тайная полиция (додуматься до этого было не сложно, но ведь мало кто додумался, во всяком случае, я их не припомню), принявшаяся не без успеха восстанавливать старых, проверенных, доброкачественных бога, царя и отечество. Круг замкнулся, и еврейско-русский воздух стек в канализацию истории: еврейское мифотворчество осталось невостребованным.

Миф не порожден человеческим разумом, но волей к смыслу. Ничто не заменит человеческой душе миф, обеспечивающий гармонизированное бытие. «Миф – это упакованная в образах и метафорах и мифических существах многотысячелетняя коллективная и безымянная традиция... Миф есть организация такого мира, в котором, что бы ни случилось, как раз все понятно и имело смысл. Вы скажите – метафорический. Да, конечно, метафорический, но это смысл (М. Мамардашвили, «Появление философии на фоне мифа»). Да, кто же откажется от смысла? И кроме того, не проясненная подкладка мышления всегда останется. Философу важно понимать, во что упирается его мышление, где граница? Свобода выбора философа сводится к свободе выбора неосвещенной, неотрефлексированной подоплеки мышления, свободе выбора мифологии. Не философ прекрасно обходится и без этого, а вот без смысла жизни никак не обойдется.

Это прекрасно понимал вполне ортодоксальный христианин Декарт, полагая веру результатом нашей воли к смыслу, не имеющей никакого отношения к разуму. Доказывать бытие Б-жие нелепо и непродуктивно. Я хочу, чтобы мир имел смысл, и мой личный смысл не есть нечто пред-заданное, но становящееся, возникающее вместе с моей личностью. Предопределенный смысл отрицал бы свободу выбора, а евреи верят, что человек награжден, наказан и приговорен к свободе. Высшей ценностью для меня служит свободная мысль. Далеко ли простирается ее свобода? До невесть откуда взявшихся аксиом моего разума, до его мифологических основ. Могу ли я жить без мифа? Определенно нет, но я свой миф выбирал сам. Когда-то «особенный еврейско-русский воздух» был его существенным ингредиентом; сегодня он занимает все менее места в моей мифологии, испарится ли окончательно? Не знаю. Ответ сильно зависит от продолжительности моей жизни, а беда, как известно, не в том, что человек смертен...

Нина Липовецкая-Прейгерзон

ИВРИТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫЙ

К 50-летию со дня смерти писателя Цви Прейгерзона

Перед нами предстает образ необыкновенного человека. Его можно назвать и еврейским Дон-Кихотом, и современным Иосифом Флавием. Результаты его литературного творчества поражают масштабностью и бесценностью исторического свидетельства.

Татьяна Лифшиц-Азас, Константин Бондар.
«Вести», «Окна», 03-05, 2018г

Цви (Цви-Герш) Прейгерзон, мой отец, родился в 1900 году в городе Шепетовка на Волыни, умер в Москве 15 марта 1969 года.

Он был один из немногих, а вернее, единственный еврейский писатель, который в течение всей своей жизни писал художественные произведения в Советской России только на иврите. И был лучшим по определению крупнейших писателей Израиля. Но вы не найдете в России ни одного напечатанного произведения Прейгерзона при жизни писателя, так как иврит при советской власти был запрещен и смертельно опасен. Прейгерзон писал «в стол».

Как известно, в России до революции было довольно много еврейских писателей, которые писали на иврите, на идиш, нередко на обоих языках. В хедере меламеды учили детей на лашон ха-кодеш (на иврите). Повседневным языком евреев в черте оседлости был идиш, в интеллигентных семьях говорили и на иврите. С началом революции иврит в России был запрещен, еврейским языком был признан идиш. Многие писатели

прекратили писать на иврите, иные были уничтожены, большинство эмигрировало.

Замечательные писатели: Хаим Нахман Бялик, Иосиф Клаузнер, Шауль Черняховский и другие с большим трудом под защитой Горького и Луначарского сумели вырваться из России. Некоторые перешли на идиш. Но советская власть требовала произведения о пролетарской культуре, литературу, социалистическую по содержанию. Они не могли объективно отразить еврейскую жизнь в стране. Однако всем известно, что и тех писателей, что писали на идиш, советская власть уничтожила в период борьбы с космополитизмом в начале 50-х годов. Не осталось бы никаких литературных свидетельств о жизни евреев в Советской России, если бы не писатель Цви Прейгерзон. Это понимал сам автор, нередко повторяя: если не я, то кто же?

Большие успехи мальчика в иврите, которые оценил даже Бялик, позволили отцу Цви отправить его в 13 лет в недавно созданную в строящемся в Тель-Авиве гимназию «Герцлия», где учеба велась только на иврите. Ее выпускники стали в дальнейшем крупными общественными деятелями Израиля. К сожалению, Цви учился там только один год – в 1914 году началась 1-я Мировая война. Но даже короткое пребывание в Эрец Исраэль на всю жизнь оставило у него глубокую любовь к этой стране, к ее народу, послужило основой формирования его сионистских взглядов. Здесь он углубил свои знания иврита, перешел с ашкеназита на сфарадит.

В начале войны Прейгерзоны, как и многие другие, стали «беженцами» с мест боевых действий в восточную часть Украины. Они поселились в городе Кролевец Черниговской области.

Немного о родителях Цви: отец, Исраэль Прейгерзон (1872 – 1922), уроженец Красилова был трудолюбивым ремесленником и прекрасным семьянином, хорошо знал и любил иврит, был основателем местной сионистской организации. Мать, Рейцел (Раиса) Гальперина – мудрая спокойная женщина происходила из семьи известного раввина Дова-Бера Карасика. Предки Исраэля «пришли более века назад из святой общины города Праги, известного еврейского места» (рассказ Цви Прейгерзона «Параной»).

Цви несколько лет до революции прожил в Одессе у родственников отца. Трудно даже себе представить, как много юноша успел освоить и изучить за это время. Выучив за несколько месяцев русский язык, он поступает в Люблинскую гимназию (тоже эвакуированную с мест боевых действий), где учеба велась на русском языке. Приобщается к русской классической литературе, полюбив ее на всю жизнь. Оканчивает знаменитую консерваторию по классу скрипки. Окунается в богатейшую еврейскую жизнь Одессы того времени. Но главным для него остается его безмерная любовь к ивриту. Вечерами он посещает светскую ешиву Рав Цаир, где слушает лекции Бялика, Иосифа Клаузнера, который стал для него не только учителем, но и воспитателем и другом, и который руководил его первыми литературными опытами.

С началом революции на Украине возникли многочисленные черносотенные банды, которые устраивали еврейские погромы. Жизнь стала чрезвычайно опасной. В 1919г. Цви после недолгой службы в Красной Армии поступил в Москве в Горную академию (в дальнейшем переименованную в Московский горный институт). Как и в любом деле, Цви, в Москве Григорий Израилевич Прейгерзон, очень серьезно отнесся к учебе, и по окончании был оставлен в институте. Со временем он стал замечательным и любимым учениками преподавателем, заведующим лабораторией обогащения угля. В 1935 году он получил степень кандидата технических наук и стал доцентом Московского Горного института, где проработал до конца жизни. Цви стал известным ученым в области обогащения угля, автором ряда учебников, монографий, изобретений. Три поколения студентов учились по его учебникам.

Но при всех своих успехах в науке, Цви главным в своей жизни считал свое литературное творчество на иврите, повествование о многострадальной жизни своего народа. Иврит был основной любовью всей его жизни. Его первые рассказы были напечатаны в зарубежных ивритских изданиях – «Ха-Олам», «Ктувим», «Ха-Доар», «Гильянут», «Ха-Ткуфа» и других. С наступлением «Большого террора» – после убийства Кирова в 1934 году – посылка за рубеж произведений на запрещенном языке стала невозможной, он стал писать тайно, по ночам, «в стол». Даже его дети не знали об этом.

Все его произведения были посвящены жизни евреев местечек в разные тяжелейшие для них периоды – погромы до и вовремя гражданской войны, полное уничтожение евреев в местечках в годы Холокоста, антисемитизм в послевоенной России. Целый ряд рассказов писатель объединил в цикл «Путешествия Вениамина четвертого» по аналогии с тремя известными ранее путешественниками-Вениаминами, которые описывали быт и нравы евреев своего времени. Последним был известный еврейский писатель Менделе Мохер Сфорим, написавший роман «Путешествие Вениамина Третьего». Мой отец также писал на основе своих впечатлений от путешествий по городкам и еврейским местечкам России.

Во время Второй мировой войны после недолгого пребывания в народном ополчении, откуда он был списан из-за резкого обострения язвы желудка, Прейгерзон был с семьей в течение 2-х лет в эвакуации в городе Караганда, в Казахстане, где работал главным инженером углеобогатительной фабрики. В самом начале войны он разослал всем родственникам, жившим на Украине, письма: срочно уезжайте на Восток, немцы убивают евреев! В Караганде я случайно увидела, что отец пишет что-то мелкими буквами, как я поняла на иврите, между строчками «Капитала» Маркса. Так он начал писать свой большой роман «Когда погаснет лампада» о судьбе евреев города Гадяч во время Второй мировой войны, где наша семья проводила летний отпуск в довоенные годы. Закончил он этот роман через ряд лет, продолжая писать рассказы на темы Холокоста.

15 марта 1949 года отец после ареста его близких ивритоговорящих друзей был арестован по навету его ученика, которого он обучал ивриту. Был осужден на 10-летний срок лагерей за «буржуазный национализм». Он прошел очень тяжелое следствие в Лефортово, карагандинский лагерь, Абезь, Инту, Воркуту. В Воркуте его использовали уже как крупного специалиста, дав ему возможность создать лабораторию по обогащению угля. В лагере он сделал изобретение специального угольного комбайна, на которое, к удивлению лагерного начальства, еще находясь в лагере, получил авторское свидетельство.

После смерти Сталина заключенных стали освобождать до срока. Прейгерзона освободили в конце 1955 года после почти

7-ми летнего срока заключения. Но будучи необыкновенно ответственным человеком, он приехал в Москву только через несколько месяцев – после окончания работы над запланированной темой его воркутинской лаборатории.

В Москве, сразу после возвращения, обладая исключительной памятью, он пишет «Йоман ха-зихронот 1949 – 1955» («Дневник воспоминаний» о лагере), где описывает встречи с заключенными: поэтами Галкиным, Керлером, Грубияном; Львом Стронгиным – директором издательства «Дер Эмес» в Москве, и многими другими евреями и не евреями. Заключенные очень уважали и доверяли отцу, они любили его за внимание, посильную помощь, интересные беседы, рассказывали ему свои истории ареста. В лагере он обучал (разумеется, устно) молодых евреев ивриту и рассказывал им историю еврейского народа. Его молодой лагерный друг Меир Гельфонд (в Израиле доктор Гельфонд) после освобождения создал в Москве один из первых ульпанов, а его ученики уже целую сеть. Как сказал проф. Михаил Занд, Цви Прейгерзон сохранил искру иврита и тем способствовал еврейскому возрождению 60-70 годов.

После возвращения из лагеря, читая ивритскую литературу, в связи с большими изменениями в языке, он переписывает ряд своих рассказов на современный иврит. В своем творчестве он применяет новые современные слова и выражения. Известный израильский писатель Аарон Мегед предложил даже издать словарь новых слов и выражений Цви Прейгерзона.

Последним произведением писателя стал его роман «Врачи», который должен был закончиться «Делом врачей», но не был окончен в связи со смертью писателя. Он вышел в печати под названием «Ха сипур шело нигмар» («Неоконченная повесть»). В этом замечательном романе, во многом автобиографичном, он описал единственное на всем свете историческое свидетельство «Суда над хедером», этого исключительного явления в процессе уничтожения иврита в Советском Союзе, на котором присутствовал сам автор.

В начале марта 1969 года Цви, несмотря просьбы продолжать работу, вышел на пенсию, сдал в печать последний учебник «Обогащение угля», купил струны для своей скрипки, на

которой давно не играл – теперь иврит, только иврит! 14 марта на проводах в Израиль еврейской певицы и большого друга Нехамы Лифшиц он передал данные семьи для репатриации в Израиль. А 15-го марта отец умер от инфаркта миокарда. Горе семье не знало границ. Мы получили сотни телеграмм из разных уголков страны, где добывали уголь, знали и читали труды крупнейшего специалиста в области обогащения угля Григория Израилевича Прейгерзона.

Кремация его была очень торжественной, неожиданно в крематорий Донского монастыря пришло очень много людей с большими венками – из министерства, сотрудников института, инженеров. Отец был чрезвычайно скромным человеком. Слушая речи его сотрудников, я поняла, каким значительным ученым он был, что он, как человек, пользовался большой любовью и уважением. Было так много траурных речей, что для родственников не осталось времени. Успело только прозвучать: «Гриша, ты обогащал не только уголь, но и наши души...»

После конца кремации родственники и друзья, взяв многочисленные венки, вышли на кладбище крематория. Все присутствующие последовали за ними. Но, увидев, что процессия остановилась у памятника Михозлсу, вся научно-техническая часть повернула обратно.

Последними словами Цви были: дети, поезжайте в Израиль и похороните меня там. Мы выполнили его просьбу. В течение 70-х годов его жена Лея и трое детей с семьями – две дочери: Аталия, Нина и сын Бениамин репатриировались в Израиль. Отец похоронен на кладбище кибуца Шфаим, недалеко от Герцлии. Каждый год в годовщину смерти Цви все его потомки (теперь это уже около 30 человек) собираются у его могилы.

Большую работу проделала семья Цви для сохранения и переправки его архива в Израиль. В то время это было почти невыполнимым делом (вспомним историю с романом Пастернака). Незадолго до ареста отца наша мама, верная помощница во всех его сионистских делах, сумела спасти рукописи мужа, спрятав их на чердаке дачи в Кратово, где мы отдыхали летом.

Особо трудной была пересылка всего архива в Израиль. Эта работа выпала на меня, уезжавшей из Москвы последней. Не

найдя безопасных путей, я решилась, несмотря на безумный страх, пронести рукописи отца в огромном портфеле через строй милиционеров в голландское посольство при оформлении документов. Консул голландского посольства просмотрел рукописи и сказал:

– Да, это важно для Израиля!

Радости моей не было границ! В Израиль прибыл весь архив писателя. Он находится в одном из институтов Тель-Авивского Университета.

Как я уже говорила, в России не было в печати никаких публикаций о Цви, как о еврейском писателе, только в 2002 году стали появляться о нем отдельные сообщения, и была проведена в Москве, в Еврейском центре на Никитской, конференция, организованная Михаилом Членовым. В Израиле с течением времени были опубликованы все произведения Прейгерзона на иврите под редакцией проф. Тель-Авивского университета Хагит Гальперин.

Произведения Прейгерзона высоко оценили израильские писатели. Помимо исторического значения творчества Прейгерзона отмечена огромная литературная ценность его произведений. Известный писатель Моше Шамир сказал, что если бы Прейгерзон приехал из России раньше, вместе с другими ивритскими писателями, то вся литература Израиля возможно была бы другой. Те, кто читал Прейгерзона (даже в переводах), считают, что его произведения буквально захватывают, не оставляя сомнения, что это большой писатель.

В 2002 году мэрия Тель-Авива одной из улиц города присвоила имя Цви Прейгерзона. (Снимок этой улицы изображен на обложке моей книги «Мой отец Цви Прейгерзон», написанной в Израиле в 2015 г.)

В 90-е годы прошлого века, в связи с большой аליей из России, семья решила перевести основные произведения писателя на русский язык, тем более, что все они о судьбе евреев России. Первыми переводами стали книги: «Дневник воспоминаний» о лагере (переводчик Исраэль Минц), сборник рассказов «Время имени» (переводчик Лили Баазова). Сын писателя Бениамин перевел роман «Неоконченная повесть», который получил премию им. Нагибина в 2012 г.

Особая судьба у романа «Когда погаснет лампада». Он впервые был опубликован в Израиле на иврите в 1966 году, еще при жизни автора. Отцу удалось переправить его в Израиль тайно, через посла израильского посольства Иосефа Авидара, который был папиным двоюродным братом. В Израиле он был напечатан под псевдонимом А. Цфони (северный) и под названием «Эш ха-тамид» – «Вечный огонь». Книга имела очень большой успех, но никто не знал настоящего имени автора.

Как мне уже здесь, в Израиле, рассказал Давид Бартов, бывший в то время секретарем израильского посольства, на концерте Нехамы Лифшиц в Москве в зале им. Чайковского он наблюдал за Цви, сидящим в зале, когда его жена Эстер передала ему пакет, где была эта книга, завернутая в газету. Отец был потрясен, увидев, наконец, более чем через 30 лет, напечатанным плод своего труда.

Нельзя не сказать о замечательном писателе и переводчике Алексее Тарне, который прекрасно перевел этот роман, изданный на русском языке в 2014 году известным московским издательством «Книжники» в серии «проза еврейской жизни». Переводчик ставит этот роман в ряд таких романов, как «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, хотя действие в "Когда погаснет лампада" происходит не в большой стране, а в городках и местечках, не менее важных для евреев.

В 2017 году вышла также в издательстве «Книжники» книга переводов всех рассказов Цви Прейгерзона, составляющих значительную часть творчества писателя. Книга названа по одному из рассказов «В лесах Пашутовки».

И в конце не могу не сказать несколько слов о замечательной личности моего отца. Поскольку я, его дочь, осталась последней из его детей, то скажу его же словами: «кто, если не я?» сможет рассказать о его исключительной скромности, благородстве, мягком юморе, умении слушать, о его глубоких знаниях и интеллигентности, о его необыкновенном человеческом обаянии – словом, о всех тех качествах, которые делали его уважаемым и любимым и в угольной шахте, и в лагере, и на университетской кафедре.

Михаил Юдсон

ДОВЕРИЕ К ПЕРЕВОДУ

У. Х. Оден, «Избранное»

(перевод А. Ситницкого) – Сан-Франциско, 2018, 240 стр.

Александр Ситницкий – поэт-переводчик, родился в Харькове, живет в Сан-Франциско, автор работ по культурологии и литературоведению. Переводил с английского, в частности, Одена и Паунда, с польского – Шимборску, Ружевица, Галчинского и других.

О своем обращении именно к Одену Ситницкий пишет так: «Почему, собственно, Оден? Потому что Бродский, ясное дело! Сказавший: “В английском языке нет ничего лучшего, чем поэзия этого человека”. Прочсть Одена через призму творчества Бродского, включая все его аспекты. В том числе – мировоззренческие. А потом еще раз перечитать Бродского. С этого и началось».

Тяготение к одному поэту погружает в мир другого, в иное языковое измерение, уводит за околицу кириллицы. И Александру Ситницкому на диво удается трансляция оттуда: «Я шуму внимал в шезлонге, в саду, / И думал – слова навлекают беду. / И как же разумно – порядок вещей / Скрывать от птичек и овощей. / Вдали некрещеный щегол пролетел, / Щеголий псалом, пролетая, пропел, / Цветок, шелестя, искал себе пару. / Если найдется, то спариться впору».

Когда Пастернак переводил на свой лад белостишья «Потрясающего Копьем», то получалось вольно и плавно, но утверждают, не слишком адекватно. Тут же всегда важно сохранить стержень конкретного поэта, «копье Одена» – и по-видимому, Ситницкому это удалось.

В предисловии к книге философ и эссеист Эдуард Бормашенко отмечает: «Слово Александра Ситницкого – подлинное, отобранное и отборное. В наше время вымирают две ключевые цивилизационные традиции – традиция медленного чтения и традиция внимательного слушания. Упорно читать некогда, а уж терпеливо слушать – совсем недосуг. Оден в переводе А. Ситницкого требует и того, и другого».

Поэт, как известно метафизически, «вселенское ухо» – в случае с У. Х. Оденем на мифодиче сие наиболее наглядно: «И все ветра, неважно / Какой он слышит из Твоих двенадцати, / Шторма Эквинокса в полночь, / Воюющие в тростнике, / Или слабый шорох / Сосен в безоблачный / Полдень середины лета, / Пусть он ощутит Твое присутствие, / Чтоб каждый обряд слов / Был свершен достойно...»

В книге представлена и эссеистика Одена – она ритмична и метафорична тож, напоминая окружающий многостраничный верлибр. Ситницкий замечает, что «русские философы обычно цитируют поэтов, английские поэты часто цитируют философов». Вообще, перевозить с других берегов иноземную философскую прозу, переводить вброд природу вещей в себе на язык родных осин и классических кислых щей – задача для толмача труднейшая. И Александр Ситницкий, надо признать, справляется с ней блестяще – познавать эту книгу нелегко, но крайне интересно. Хочется входить в ту же реку многожды, влечет вчитываться. Конечно, Оден (как и Элиот, к примеру, навскидку) – поэт элитарный, не для пролов и полых людей, а для тех, кто так понимает, «Избранное» – для званных. Однако его сгущенная интеллектуальность одесную и сложность слога ошую вовсе не мешают ощущать красоту стиля.

Вернемся к предисловию Бормашенко: «Искусство восполняет изначальное несовершенство, недовыпеченность мира. Но поэзия Одена ничего не восполняет, не балует читателя гармонизированным бытием. Так чем же она берет? Весомостью груженого, медленно ворочающегося и разворачивающего сознание слова».

Когда мы поглощаем англоязычие по-русски, со всеми вытекающими «ща» («В ярких плащах для вящего рвения / Собирались духовная и мирская власть») – очень важно доверие к

переводу. А также к личности труженика, перелопачивающего строчки. Скажем, джойсов «Улисс», явившийся нам в переложении усилием воли С. С. Хоружего, во многом отражение «чувственного опыта» и тезауруса самого Сергея Сергеевича, по его признанию («Блум – это я»), а уж кто прочувствует пытливо «Поминки по Финнегану» – видно, и не дождусь... Тут не поденная работа, а вековой труд.

Зато Александр Ситницкий и его Оден меня неподдельно порадовали. Причем, при чтении этой книги постепенно и, пожалуй, неожиданно возникает интерес собственно к переводчику, к его манере складывать слова, упаковывать мысли, делать сложное красивым. За Одена спасибо, конечно, но и самого Ситницкого теперь уже трудно забыть.

Новая книга **Михаила Юдсона**
ЛЕСТНИЦА НА ШКАФ

(Сказка для эмигрантов в трех частях)

Москва, издательство "Зебра Е", 2013. - 560 с.

"Давно я не получал такого удовольствия от прозы. Тени Джонатана Свифта и Джорджа Оруэлла витают над этим текстом, одновременно смешным и страшным. Большое счастье - появление нового талантливое голоса. Спасибо, Миша, дай вам Бог удачи и в дальнейшем".

Игорь Губерман

Книгу можно заказать по телефону: 050-908-03-48

Цена 120 шекелей с пересылкой.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Роман Кацман

ИНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

Некод Зингер. Мандрагоры: Роман.
Salamandra P.V.V., 2017. – 408 с.

Роман Некода Зингера «Мандрагоры» поражает неподдельной, редкой в новейшей литературе свежестью. В двух предыдущих романах – «Билеты в кассе» и «Черновики Иерусалима» – Зингер показал себя выдающимся стилистом и мастером интеллектуальной прозы. В «Мандрагорах» он преодолевает соблазн фрагментарности и концептуального эклектизма ради нового синтеза в псевдо-канонических рамках романного жанра. Секрет этого поэтического достижения – в игровом сопряжении и синхронизации двух слоев культурно-языковой стилизации: с одной стороны, вписывание в русскую словесность дискурсивных и риторических практик ивритской литературы конца 19 – начала 20 века, и с другой стороны, имитация стиля адекватного перевода той же литературы на русский. Другими словами, новый роман Зингера звучит так, как если бы Ш. Й. Агнон, вспомнив вдруг, что русский язык мог бы быть его вторым родным языком, сам перевел на русский один из своих романов и сумел, наконец, влиться в традицию европейского или русского романа. Или так: это воображаемый русский «палестинский роман» времен первой волны еврейской иммиграции, вместо тех, которые не были написаны в действительности. И дело вовсе не в обильной диглоссии, а в особом латентном двуязычии (и двукультурности) письма – оборотной стороне явленного двуязычия Зингера, автора текстов на русском и иврите. В этом отношении, поэтический мир «Мандрагор» пред-

ставляет собой своего рода антипод миру его ивритского романа «Картисим бэ-купа» – переписанного и перекодированного на иврите двойника «Билетов в кассе». «Мандрагоры» органично вписываются в предпринимаемые современной русской литературой «поиски жанра», в ее попытке справиться с демоном постмодернизма его же средствами. Хотя «Мандрагоры» – это псевдо-ретро роман, он насыщен автобиографическими элементами и вдохновением «духов места и времени», свободно витающих в самых разных исторических и культурных пластах.

Сюжет, разворачивающийся в 1884-1885 годах в Иерусалиме и прошитый отрывками из палестинских еврейских газет того времени (Зингер перевел множество статей из этих газет для его рубрики «В те дни, в наше время» на сайте Booknik.ru), служит фоном для духовных и идейных блужданий героев, как и пристало интеллектуальному роману. Герои романа – мандрагоры, но не растения, а люди, дарящие друг другу свою страсть – эротическую, творческую, магическую, мессианскую. Мандрагоры, символизирующие темное, хтоническое начало, преобразуются, словно на фотопластинке (тоже своего рода героине романа), в свет последнего огня, сжигающего все и порождающего «иное существование». «Мандрагоры» – это «конструктор конца времен», размышление о женской и мужской жажде плодородия, медитация на «Песне песней» о кабалистическом единении всех начал и любовей, притча о мученике языка – переводчике и о его не горящих рукописях. И наконец, это роман-исследование о возвращении мандрагор-возлюбленных в землю обетованную, в их нео-нативную цивилизацию, буйно цветущую разнообразными языками, красками, лицами, одеждами, а главное – иерусалимскими “прожекторами”, столь же гениальными, сколь и безумными, составляющими особую разновидность иерусалимского синдрома. И потому этот ретро-роман (по словам повествователя – не состоявшийся документальный роман) оборачивается эсхатологическим романом-мифом о будущем; не о той или иной его версии, а о самой его возможности, о возможном вообще как о том реальном, что обуславливает всё символическое и воображаемое. «Мандрагоры» – это POSSИБИЛИСТСКИЙ роман, открывающий

новые возможности существования языков, дискурсов, риторик и их взаимных алхимических превращений в самой гуще исторического делания.

И наконец, поскольку сегодня любое письмо априорно лишено презумпции невинности в социологизме, нужно заметить, что «Мандрагоры» – это не эмигрантский роман, ибо, хотя и написан эмигрантом со стажем и некоторые из его персонажей эмигранты, ни в коей мере не страдает эмигрантскими комплексами. Далее, хотя иные из его персонажей колонисты, роман отнюдь не позволяет причислить его к постколониальной литературе или, каким бы соблазнительным это ни казалось, к постколониальному изводу «ретроспективного космополитизма». Любые попытки имперских жестов преодолеваются, как бы отражаясь в зеркале, ироническим многоязычием перевода, а космополитизм был основательно проработан и укрощен Зингером еще в его предыдущем романе, где все великие метрополии знакомого нам геоментального пространства-текста были осознаны как «черновики Иерусалима», как подступы к первоначальному тексту, всегда пишущемуся набело после, как завершение и окончание письма в конце времен. И потому в шутку, пародируя научный жаргон, «Мандрагоры» можно было бы назвать ретро-эсхатологическим метаколониальным романом. Возможно, этим текстом Зингер начинает свой «чистовик» Иерусалима. То, что это только начало письма, следует хотя бы уже из того, что завершается роман сценой ритуального (хотя и спонтанного) жертвоприношения, мифического (хотя и комичного) небесного брака, а это служит несомненным признаком начала существования или, по крайней мере, эпического похода или странствия. А посему в завершение, рискуя оступиться на шатких ступеньках поспешных обобщений, могу предположить, что «Мандрагоры», наряду с некоторыми другими романами 2000-х и 2010-х, сигнализируют о метафизическом повороте в современной русской литературе.

Андрей Зоилов

ДВЕ КНИГИ ДЛЯ ИЗБРАННОГО НАРОДА

Осознавать себя евреем в Израиле сравнительно несложно, а зачастую и выгодно. В нашей маленькой стране, не претендующей на мировое величие, но вполне его достойной, иногда можно уютно устроиться. Особенно достоверно это знают те, кому устроиться не удалось.

Это государство возводили деятели, родившиеся за его пределами. Ужасающее давление окружающего мира на еврейский народ было таково, что часть народа погибла, другая часть скрылась и ассимилировалась, а уцелевшие и не желающие отречься от самих себя построили Израиль – со всеми его нынешними чиновными организациями, идейными проблемами и социальным расслоением. И тот журнал, который вы читаете сейчас, есть один из крохотных ярких цветков, растущих из единого сионистского корня на необъятной ниве культуры еврейского государства.

В конечном итоге, практически все книги, написанные людьми – это книги о техниках достижения счастья, персонального или коллективного. Евреи заслуживают счастья ничуть не меньше прочих народов, но можно ли достичь этого призрачного состояния? И отличается ли еврейское счастье от счастья других наций? Давайте предположим, что на оба эти вопроса существует утвердительный ответ. Это поможет мне познакомить вас с двумя новыми книгами, которые написали в Израиле на русском языке авторы, искренне уверенные в том, что знают такой ответ, и он безусловно положителен.

В конце минувшего года израильское издательство «Ам Левадад» выпустило две необычные книги. На первый взгляд они кажутся разнородными, различающимися и по жанру, и по

стилю изложения материала, и по насыщенности образами. На второй же, более пристальный взгляд, выясняется, что в обеих книгах есть очень важный общий посыл: родиться евреем – великая честь и громадная ответственность перед Богом и народом. И это налагает на оказавшегося евреем многотрудные обязанности, не обязательные к исполнению, и одно важнейшее, столь же необязательное право – право следовать заветам Всевышнего, в точности тем, которые тысячи лет хранит еврейский народ. Две новых книги: «Сынок, женись на еврейке!» Нафтоли Шрайбера и «Воспоминания о прозелите» Асафа Бар-Шалома.

Нафтоли Шрайбер, «Сынок, женись на еврейке!» с подзаголовком «Будущее еврейского народа зависит от тебя», 228 страниц, твёрдый переплёт. В книге приведен раздел «Приложения», содержащий, в частности, переведенные на русский язык письма Любавичского ребе М.-М. Шнеерсона, статьи раввина Меира Кахане и страницы литературной классики, подкрепляющие авторскую позицию.

Эта книга – доверительный разговор еврейского отца с сыном, который ещё не выбрал себе спутницу жизни. Очень важно, будет ли сын лично счастлив в браке, но гораздо важнее то, что его будущая семья непременно должна стать частью еврейского народа. «Еврейские семьи, готовые посвятить значительную часть своей жизни рождению и воспитанию детей, получают естественную награду за свои труды. Они становятся основой для будущего народа. Они непосредственно участвуют в построении цепочки еврейской генеалогии и продолжении её в вечность. Это – наши герои. Наравне с великими праведниками, мудрецами и царями, надлежит помнить о еврейских родителях, папах и мамах, дедушках и бабушках, тихо и неприметно творящих великое таинство на протяжении многих веков, и чествовать их. Они свершают таинство приведения в этот мир новых евреев и воспитания их в еврейском духе». Так пишет раввин Шрайбер.

Вся книга пронизана любовью к своему народу и тревогой за его судьбы. Автор задаёт резонный вопрос: «Куда подевались евреи? Нашему народу три тысячи триста лет... Наш древний

народ хорошо знает свою историю и мог бы претендовать на размах и численность других древних народов, например, китайцев или индусов. Почему же евреев не миллиард? Почему, согласно самым оптимистичным подсчётам, нас сегодня не более пятнадцати миллионов? Физические истребления евреев не могут в данном случае служить достаточным объяснением. Как бы ни старались историки, у них не получится учесть более двадцати миллионов погибших, включая в этот страшный мартиролог и Катастрофу европейского еврейства, и погромы казаками Хмельницкого, и крестовые походы, и даже разрушение Второго Храма? Так где же наш миллиард? Ответ очень прост – смешанные браки». Вот против них со всей энергией и выступает автор. Сексуальное влечение, приязнь и даже чувство любви может возникнуть к знакомой и даже малознакомой женщине любой национальности. Но никакое чувство не способно сделать «гойку» еврейкой. И для счастья нашим мужчинам придётся научиться направлять своё чувство по правильному адресу.

Асаф Бар-Шалом, «Воспоминания о прозелите», 288 страниц, твёрдый переплёт. Книга снабжена глоссарием, примечаниями и приложением, и рассказывает о первом после падения советской власти еврейском учебном заведении («бейт-мидраше») в Риге.

Эта книга посвящена памяти рижанина Ицхака (Владимира) Митина, русского человека по рождению, который прошёл ортодоксальный гиюр и стал религиозным евреем. Ему удалось возродить в родном городе первую в постсоветские годы активно действовавшую религиозную общину и стать руководителем молодёжного учебного заведения. К прискорбию, Ицхак Митин руководил «бейт-мидрашем» сравнительно недолго. В 1989 году он вернулся в Ригу из Израиля в качестве религиозного эмиссара организации «Швут Ами», а умер в июле 2000 года. Ему было тогда только 55 лет. Автор своими глазами наблюдал жизнь рижского «бейт-мидраша», сам учился там, был последователем и соратником Ицхака Митина, а впоследствии репатриировался в Израиль, где продолжает изучение иудаизма и соблюдение его традиций.

История еврейского народа состоит из миллионов историй самых разных его представителей. Живо, оригинально, с нена-

вязчивым юмором написанная книга «Воспоминания о прозелите» рассказывает о современных рижских евреях – обыденных и экзотических, стремящихся только к знаниям или нуждающихся преимущественно в деньгах, щепетильных или бесцеремонных, правдивых или не очень. И писатель любит их всех, любит взыскательной и строгой любовью, на которую способны только духовно щедрые близкие люди. Каковы бы ни были изнанка некоторых поступков и подоплека сложных и неловких ситуаций, автор «Воспоминаний о прозелите» отважно приводит все известные ему факты. Эта искренность подкупает и выводит книгу на новый уровень, делая её чем-то большим, чем обыкновенные мемуары. Асаф Бар-Шалом следует мысли раввина Меира Кахане, которую его коллега Нафтоли Шрайбер взял одним из эпиграфов к своей книге: «Если любишь еврея – скажи ему правду».

СПИХИ И СПРУНЫ

Ирина Морозовская

КОЛДУНЯ

О песнях Ирины Левинзон

Ирина Левинзон вызывает у меня глубочайшее почтение, увесистую признательность и пронзительную нежность.

Этот благородный коктейль чувств сильно усложняет мою задачу, ведь решительно невозможно выразить словами всё, что накопилось за десятилетия живого участия её песен в моей жизни.

Началось всё на архипелаге Валаам, в последние мои школьные каникулы. Я тогда хвостиком ходила за старшим товарищем по походу, умевшим играть и петь. Списывала на листки слова и аккорды песен, зацепивших накануне у костра. Песня Ирины Левинзон

ОСЕНЬ https://www.youtube.com/watch?v=cH2-bL_wN4w запомнилась со второго услышания почти точно, да так и пелась много лет. Пока не услышала со сцены авторское исполнение и привела своё поближе к нему. Потом в мою жизни пришли

ДОЖДЬ <https://www.youtube.com/watch?v=L5IAiUXIa18>

и АСТРЫ https://www.youtube.com/watch?v=xqruE_OiPfA

Ирина выросла, я тоже, а появлявшиеся песни оказывались мне тогдашней впору – и старые не теряли магии.

В песнях Ирины Левинзон много деликатности и достоинства, бережности к слову и мелодии, но главное – глубинной, внутренней радости бытия и восхищения перед самыми простыми его проявлениями. Для меня Ирина – певец повседневной романтики или романтики повседневности, как бы это поточнее выразить. Хотя, послушав песни Ирины, и так понимаешь, что это – такое волшебство. Обманчиво простое, потому что Ирина –

КОЛДУНЬЯ <https://www.youtube.com/watch?v=4QPEnaq5IT8> высокой пробы. Слушая её, становишься прачкой, отмывающей души в

ПРАЧКА <https://www.youtube.com/watch?v=8pv-O0h4IZc>, гуляешь вместе по ПЕРЕУЛКАМ

<https://www.youtube.com/watch?v=VbFK9s12qUA>, летишь стрелой в

СТРЕЛА <https://www.youtube.com/watch?v=fK9FNlgqUwY>, а потом в

ГОЛУБКЕ <https://www.youtube.com/watch?v=C0a-oTHrA0A>, серьёзнеешь до предела в ОПОЛЧЕНИИ

<https://www.youtube.com/watch?v=Jw-3-kguGVY>

и смеёшься в голос от МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ ЖАБИЙ ВАЛЬС <https://www.youtube.com/watch?v=Y7a4a9ff9BY>

И от всего этого, после концерта Ирины Левинзон становишься не просто лучше – добрее, щедрее, внимательнее к деталям, но и бежишь писать собственные небольшие песенки. Потому что постоять рядом с Мастером – вдохновляет и окрыляет.

Ещё Ирина пишет детские стихи и песенки, с которыми забываешь о возрасте, точнее – выплываешь, вылетаешь из него и некоторое время паришь в той детской безмятежности и свободе, о которой тоскуешь всю жизнь. Это я о себе – мне Ирина, которая живёт непостижимую для меня жизнь, помогает окунуться в пространство-время, где все живы, юны и беспечны... Редкий дар, божественный и земной.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Катя Капович – поэт, литератор, преподаватель. Живет в Бостоне.

Татьяна Манова – программист. Живет в Нетании.

Ольга Сирота – программист, блогер. Живет в Нью-Йорке.

Давид Маркиш – писатель. Живет в Ор-Йегуде.

Давид Шехтер – журналист, прозаик. Живет в Ришон ле-Ционе.

Григорий Подольский – врач-психиатр, прозаик. Живет в Иерусалиме.

Исаак (Игорь) Шихман – издатель, журналист, прозаик. Живет в Нью-Йорке.

Яков Шехтер – писатель. Живет в Холоне.

Ирина Маулер – поэт, художник. Живет в Ришон ле-Ционе.

Дина Березовская – филолог. Живет в Беэр-Шеве.

Танда (Татьяна) Луговская – журналист. Живет в Варне.

Михаил Сипер – поэт. Живет в кибуце Кфар-Масарик.

Павел Лукаш – поэт. Живет в Бат-Яме.

Андрей Торопов – поэт, историк. Живет в Екатеринбурге.

Ингвар Донсков – поэт. Живет в Томске.

Александр Царовцев – композитор, певец, поэт. Живет в Ашдоде.

Дмитрий Рябоконе – поэт. Живет в Екатеринбурге.

Валерий Скобло – поэт, публицист. Живет в Санкт-Петербурге.

Ехизель Фишзон – поэт, экскурсовод. Живет в Шомроне.

Наталья Новохатняя – поэт, прозаик. Живет в Кишиневе.

Алексей Сальников – писатель. Живет в Екатеринбурге.

Илья Корман – поэт, литературовед. Живет в Тель-Авиве.

Александр Крюков – филолог-гебраист. Живет в Москве.

Даниэль Клугер – писатель, автор песенных баллад. Живет в Реховоте.

Марк Найдорф – культуролог. Живет в Реховоте.

Яков Нелькин – инженер, публицист. Живет в Тель-Авиве.

Эдуард Бормашенко – философ, физик. Живет в Ариэле.

Нина Липовецкая-Прейгерзон – врач-педиатр. Живет в Иерусалиме.

Михаил Юдсон – литератор. Живет в Тель-Авиве.

Роман Кацман – филолог, переводчик. Живет в Гиват-Шмуэле.

Андрей Зоилов – псевдоним журналиста, живущего в Израиле..

Ирина Морозовская – психолог, бард. Живет в Одессе.

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»:**

Стихи и проза Тани ГРИНФЕЛЬД

«КВЕСТ»

«ЭСКИЗ»

«ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПЕРЕПИСКА»

«КРУГИ ВРЕМЕН»

«ЗОЛОТИСТЫЙ МЕАНДР»

«В ТЕНИ СТЕБЛЕЙ»

ЗАКАЗАТЬ КНИГИ (БУМАЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ)

МОЖНО ПО АДРЕСУ:

<http://litgraf.com/shop.html?shop=1>

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

**Яков Шехтер
Михаил Юдсон**

Ответственный секретарь

Михаил Сидоров

Редколлегия:

**Ирина Маулер (раздел поэзии), Ирина Морозовская
(раздел “Стихи и струны”), Анна Мисюк,
Эдуард Бормашенко, Роман Кацман,
Денис Соболев (раздел литературной критики),
Давид Шехтер (раздел публицистики)**

Компьютерная обработка:

Амнон Пасхин

Почтовый адрес:

**Michael Yudson, Journal “Article”. P.O.B. 44050,
Tel-Aviv 61440, Israel**

Телефон: 050-908-03-48 (в Израиле)

(972)-50-908-03-48 (для заграницы)

Электронный адрес редакции:

articreda@gmail.com

Сайт журнала:

<http://www.sunround.com/club/journal.htm>

Фейсбук:

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Стоимость годовой подписки (с пересылкой):

**в Израиле – 200 шекелей,
за рубежом – 100 долларов.**

